КНЯЗЬ

АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢЕВИЧЪ

МЕНШИКОВЪ

1853-1869.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Во время Крымской войны (1854-1856 гг.) Николай I назначил А. С. Меншикова главнокомандующим над военными сухопутными и морскими силами в Крыму. Неудачи на Альме, под Балаклавой, Инкерманом и Севастополем заставили Николая I усомниться в полководческих талантах своего главнокомандующего, и в феврале 1855 года Меншикова освобождают от всех должностей с оставлением в звании генерал-адъютанта и члена Государственного совета, а в апреле 1856-го его окончательно отправляют в отставку. Умер А. С. Меншиков 19 апреля 1869 года на 73-м году жизни.

Аркадий Панаев был адъютантом Александра Сергеевича Меншикова и оставил о нём книгу воспоминаний.

Издание 1877 года, текст приведен к современной орфографии.

- Князь Александр Сергеевич Меншиков
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII
  - XXIV
  - XXV

- XXVI

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34

Князь Александр Сергеевич Меншиков
в рассказах бывшего его адъютанта Аркадия Александровича Панаева

I

1853–1854.

В исходе декабря 1853 года, мною было получено приказание от кн. Меншикова прибыть к нему в Севастополь. Накануне моего отъезда, по обычаю адъютантов князя, я отправился к его другу Алексею Федоровичу Орлову, за могущими быть от него поручениями.

Граф Алексей Федорович принял меня в своем кабинете, где я застал его лежащим на диване. Встав с него, он перелег на другой.

— Да, кажется, нужного-то ничего нет, — сказал он мне, — а вот передай, что я по прежнему, переваливаюсь с одного дивана на другой, — прибавил он улыбнувшись. — Впрочем, если что придумаю, напишу.

На следующий день граф Орлов прислал мне письмо для передачи князю Меншикову. Уложив депеши в сумку, я надел ее себе на грудь, и благословясь, покатил на Московскую железную дорогу. Выехал я 6-го января 1854 года, при жесточайшем морозе, и от Москвы до самого юга ехал сопутствуемый не менее лютыми, истинно «крещенскими» морозами. Верст, помнится, за сто не доезжая Перекопа, я пересел на перекладную телегу и, по временам, обгоняя войска, достиг предпоследней станции к городу. Здесь наехал я на встречный обоз верблюдов, до того времени мною невиданных. Издали этот обоз показался мне отрядом исполинов, в стройном порядке, мерною поступью выступающих.

Симферополь я проехал ночью, а на рассвете приблизился к Бахчисараю. Здесь внимание мое приковал вид рощи прелестных пирамидальных тополей. После долгого однообразного путешествия по степным пространствам, нельзя не очароваться живописными местностями Крыма, начинающимися к югу от Бахчисарая. Горы, зеленеющие долины — в половине января, после снегов и морозов, — слишком резкий и с тем вместе приятный переход, производящий на путешественника обаятельное впечатление.

В Бахчисарае я несколько оправился от дороги, приформился — и вот уже я на Бельбеке, последней станции до Севастополя, о котором я не имел никакого понятия. С большим любопытством и нетерпением желал я увидеть наш военный порт, владычествующий на Черном море. Ямщик вез меня прямо на перевоз через бухту и когда мы поднимались в гору от реки Бельбек, то вид моря обдал меня холодом: в мрачных его водах

было что-то гнетущее, невыразимо тоскливое. Вскоре дорога уклонилась от моря, а я, под гнетом безотрадного впечатления, пробормотал про себя: «настоящее черное море!..»

Ямщик, полагая, что я обращаюсь к нему, сказал, указывая рукою вперед:

— А вот, видите на горе стоит фура? С этого места как раз увидите и Севастополь, и весь флот, как на ладони… Очень красиво посмотреть!

Желая, так сказать, одним взглядом окинуть общую величественную картину, я поджидал, скоро ли достигнем места, указанного ямщиком. Внезапно он остановил лошадей, с криком: «задавили! задавили!!»

Я встрепенулся, соскочил с телеги — и что же увидел? Та самая фура, про которую мне говорил ямщик, придавила возничего колесом и шея его затормозила воз; вместо ожидаемой картины Севастополя и Черного моря, я увидел лужу крови, хлынувшую из гортани несчастного! С трудом мы высвободили его; он, как видно, спускаясь с горы, хотел придержать молодых волов, но, слезая с фуры, попал ногою в развилки дышла, опрокинулся, а волы его и придушили на смерть. Мне так и не удалось взглянуть на Севастополь. Положив труп на воз, мы спустили его к пристани и сдали на гауптвахту…

Кровь задавленного человека упредила мой взгляд и преградила его в ту самую минуту, когда я напрягал его, чтобы увидеть Севастополь. Это обстоятельство породило во мне суеверную, безотвязную мысль: не ожидает ли меня впереди кровь задавленного Севастополя? Когда севастопольцы сомневались в возможности видеть у себя неприятеля, у меня не выходила из памяти кровь, которою, на моих глазах, был облит порог этого города.

Переправясь через бухту на Екатерининскую пристань, я вошел во двор маленького, скромного дворца Екатерины II, в котором тогда помещался князь Александр Сергеевич. Он меня очень ласково встретил, принял депеши и сказал, что ожидал меня. В это время уже приводили в порядок северное укрепление; князь ездил туда ежедневно и, вследствие этого, после обеда 16-го января, по поручению его светлости, я отправился в Балаклаву, к начальнику города, полковнику Манто, для совещания с ним о закупке лошадей. Ввечеру я был в городе и застал Манто за чаем. Полковнику была очень лестна доверенность князя и он употребил всевозможное старание, чтобы угодить его светлости.

Матвей Афанасьевич Манто, градоначальник Балаклавы и командир тамошнего греческого батальона, родом грек, почтенных лет, роста небольшого, но крепкого телосложения,

любил свой родимый уголок. С одушевлением рассказывая мне про Балаклаву, Манто просил доложить его светлости, что, в виду военных событий, можно ожидать покушений неприятеля на город и, потому, ему необходимо иметь несколько мортирок, которые Манто располагал разместить у входа в бухту. Говоря об удобствах, какие может представить Балаклавская бухта, Манто заметил, что наши моряки почему-то считают вход в нее военных судов почти невозможным, ссылаясь на то, что и самый малый военный пароход должен осторожно в нее втягиваться. Между тем Манто убедился, что мнение моряков не совсем верно: был случай, что раз, в бурю, купеческое судно довольно значительного размера вошло в бухту даже ночью, никем не замеченное, и Манто только утром увидал нежданного гостя вблизи своего балкона. Балкон его дома висел над водой. Он вывел меня на него и, показывая бухту, утверждал, что в водах её и поныне видны мачты затонувших судов, по местным преданиям, принадлежавших генуэзцам.

— Это может дать вам понятие о значительной глубине бухты, — заметил Манто при этом, — и ход в нее, хотя и труден, но всё-таки возможен, особенно если взять в соображение, что шкипер упомянутого судна, который ввел его в бурю и ночью, знал этот вход только потому, что шестнадцать лет тому назад, еще мальчиком, живал в Балаклаве. Бывали и кроме того случаи появления судов, окончательно утвердившие меня в моем мнении.

На следующее утро, мы, вместе с Манто, отправились осматривать бухту.

— Жаль, что у меня нога болит и я не могу проводить вас на скалу, где у меня стоит пост, — говорил дорогою мой любезный хозяин, — оттуда можно видеть и вход в бухту, и Черное море во всей их красе…

Между тем, сам того не замечая, Манто карабкался, легче меня, на скалу и вместе со мною достиг площадки, на которой были поставлены часовые. С этого места действительно был прекрасный вид и если бы не резкий ветер, то здесь приятно было бы остаться и подолее. Указав мне места, на которых он предполагал расставить мортирки, мой спутник не только с прежней легкостью спустился со скалы, но еще и мне подсоблял.

Успокоив его обещанием походатайствовать у князя о присылке ему мортирок, я сдержал слово и, в первый же день моего возвращения, за обедом, передал светлейшему просьбу Манто. Командиры пароходов, в этот день обедавшие у князя, услыхав о том значении, какое Манто придает Балаклавской бухте, принялись над нею трунить, называя ее лужей и

подтверждая, что вход в бухту для военных судов невозможен. Я, более или менее проникнутый мнением Манто, отстаивал его, имея в виду скромные требования предусмотрительного балаклавского старожила… Моряки восстали на меня, перечисляя множество опытов, сделанных для изучения пролива, т. е. входа в бухту. Адъютант его светлости, барон Вилебранд, сказал мне: «если бы речь шла о лошади, вам и книги в руки; но, что касается до морского дела, то предоставьте нам знать лучше этот предмет». Я замолчал, но князь серьезнее отнесся к моему сообщению и тут же, за столом, распорядился о доставлении к Манто медных мортирок. Впоследствии, когда, 14-го сентября, англичане атаковали Балаклаву, эти мортирки ввели в заблуждение неприятелей и они не отважились войти в город, пока командир батарей, поручик Марков, не выпустил всех, до единого, снарядов. Прав был старик Манто: тотчас по занятии Балаклавы, в бухту её вошла английская эскадра, за нею — три больших корабля, буксируя за собою еще транспорты. Удобства Балаклавской бухты обнаружились; англичане, оценив ее по достоинству, воспользовались бухтою как нельзя лучше и устроили в ней прекрасный военный порт.

В Балаклаве я дождался назначенного мне в проводники, из деревни Карань, прапорщика Николая Бамбука. Мы переехали Байдарскую долину, южным берегом достигли Ялты и, татарскими селениями, чрез Бахчисарай, возвратились в Севастополь.

В Бахчисарае я остановился в чистеньком домике балаклавского комиссионера Василия Подпати. Побродил по базару, сделал некоторые покупки и, припомнив «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, полюбопытствовал взглянуть на эту достопримечательность. Я спросил моего спутника: «где фонтан?» и получил ответ, что фонтанов в Бахчисарае много, и в подтверждение своих слов он указывал мне на водоемы — каменные корыта, в которые с соседних скал струятся родники. Наконец он привел меня во дворец бывших ханов, в покоях которого было несколько иссякших фонтанов и в их числе «фонтан слез», мраморный, с крестом наверху, именно воспетый Пушкиным. Сознаюсь, ничего особенного не сказал он моему воображению…

Впоследствии Бахчисарайский дворец пригодился нам для склада доставленных из России полушубков: ждали-то мы их к зиме, но поспели они к лету. Их свалили в дворцовых покоях, где они и сгнили, после чего долгое время во дворец, вследствие отвратительного смрада, нельзя было и носу показать.

О тогдашнем житье-бытье крымских татар я сказал бы — если

б только речь не шла о магометанах — что жили они, как у Христа за пазушкой. Погубил их религиозный фанатизм, следствием которого было их переселение в Турцию. Народ они, большею частью, были весьма достаточный; жили в чистеньких саклях, успешно занимались хозяйством и разными сельскими промыслами…

Поручение, возложенное на меня князем, заняло почти шесть дней. Он с нетерпением ожидал моего возвращения и немедленно после него приступил к последовательному изучению Севастополя и его окрестностей. День его обыкновенно был расположен следующим образом:

До полудня князь занимался в кабинете; потом уезжал, до обеда; под вечер опять садился на лошадь, совершая свои разъезды до чаю; вечером опять принимался за работы в кабинете, просиживая далеко за полночь. У князя был особый способ съемки местностей в его карманную памятную книжку, с которым он очень скоро и легко меня ознакомил. Листки записной книжки были разлинованы клетками известного масштаба; князь, не сходя с коня, наносил на эти листки очерк обозреваемой местности, для необходимых справок в случае надобности. Он никогда не пропускал без внимания не только направление дорог, но и их отклонение, стараясь доискаться причины этих отклонений, и часто пересекая местность напрямки. Устье и потоки каждой балки скоро стали ему совершенно известны; все проходимые балки он переезжал по разным направлениям, желая узнать насколько они приспособимы для передвижения войск. В балках, берега которых, по своей крутизне, не допускали переходов, он изучал русло. При подобных исследованиях, князь не ограничивался исключительно окрестностями Севастополя; он объезжал берега и долины рек: Бельбека, Качи, Черной и, наконец, Алмы. Когда прибывали войска, в особенности кавалерия, князь предлагал начальникам частей делать те же изыскания, какие делал сам, советуя, при этом, совершать объезды целыми частями, дабы приучать войска к пересеченной местности. Ожидая в этих местах военных действий, светлейший делал, по временам, маневры, то на южной, то на северной сторонах Севастополя.

Разъезжая верхом, князь не разбирал дорог и очень часто рисковал. Раз нам встретился подъем по хрящеватой почве, и до того крутой, что лошади затруднялись вскарабкаться. Князь слез со своего «Подласого», намотал себе его хвост на обе руки и, приказав мне вести своего коня в заводу, поднялся на крутизну.

До прибытия моего в Крым, его светлости указали на *единственного* офицера, хорошо знакомого с окрестностями

Севастополя: то был инженер морской строительной части Старченко… так мало прежде интересовались севастопольцы этим предметом. Этому-то Старченко принадлежит та заслуга, что, при князе, он первый ударил киркой на оборонительной линии.

В описываемое время при князе находились: Николай Карлович Краббе, Иван Григорьевич Сколков, Виктор Михайлович Веригин, барон Вилебрандт, в качестве ординарца мичман Томалович, Александр Дмитриевич Камовский и Грот.

Озабоченный приведением укреплений в порядок, князь часто сходился, толковал и занимался с Корниловым; очень ценил его способности, исполнительность и готовность на всё, что только касалось обеспечения Севастополя и флота; но князя постоянно беспокоило предубеждение, питаемое к светлейшему моряками. Он их очень любил; был к ним не только ласков, но, можно даже сказать, предупредителен. Из одиннадцати мундиров, право носить которые было ему предоставлено, он избрал и предпочитал морской, и носил его постоянно, в знак уважения ко флоту. Желая сблизиться с моряками, князь приглашал их к обеду, по кружкам сверстников и лиц одинаковых чинов, дабы младшие не стеснялись собеседничеством старших, а начальники — присутствием подчиненных. При всем том, старания князя были мало успешны: моряки постоянно его дичились. В этом был много виноват Корнилов. Человек развитой, умный, много работавший с князем, хорошо знавший его намерения, мысли, предположения, — от него светлейший ничего не скрывал, — Корнилов мог содействовать его сближению с моряками, но, к сожалению, он этого не только не делал, а еще колебал к нему доверенность, как моряков, так и сухопутных войск. Светлейший, впрочем, никогда не осуждал Корнилова, так как ценил его хорошие качества, но только досадовал на холодность и натянутость отношений к себе этого полезного деятеля. Эту досаду я нередко подмечал в князе.

С самого моего приезда в Севастополь, светлейший посоветовал мне сблизиться с моряками; приказал представиться всем высшим морским властям и, помню, говаривал: «прекрасные, братец, есть ребята между моряками. Ты с ними сойдись… меня они не любят, — что делать: не угодил!» С целью этого сближения я ходил на берег бухты, где, недалеко от Екатерининской пристани, подымали затонувший турецкий пароход «Первваз-Бахры». Работы водолазов привлекали сюда моряков и целый день, сменяя одни других, они подходили, толковали, делали свои замечания. Здесь, встречаясь, с ними я знакомился; по вечерам искал случая сойтись где нибудь с моряками у наших

общих знакомых, но они, по большей части, уклонялись от сближения с адъютантами князя, даже не ходили во флигель, в котором мы помещались, и осуждали того из своих товарищей, кто отступал от этого предвзятого правила.

Снабдив князя лошадьми, я занялся, по поручению его светлости, заготовлением вьюков, на случай военных действий вне города, Из этого можно видеть как заблаговременно он думал о том маневрировании, за которое впоследствии севастопольцы, по подстрекательствам Корнилова, так на него негодовали.

Скудные средства и недостаток рук на работах сокрушали светлейшего: многие работы были затеяны, а производить их было некому; войска, между тем, прибывали, но князь не имел права обращать их на инженерные работы. Раз, объезжая очертание оборонительной линии, князь остановился, кажется, против 5-го бастиона возле помещения вновь прибывшего Волынского полка. Люди были на учении; поздоровавшись с ними, князь заговорил с полковником Хрущовым. Когда его светлость выразил ему затруднения свои в недостатке рабочих рук, Хрущов, долго не думая, попросил его предоставить некоторые из работ Волынскому полку. Лицо князя просияло от радости; но он спросил при этом: не навлечет ли этим Хрущов на себя неудовольствия своего начальства? Но полковник брал всю ответственность на себя, прибавив, что работа будет людям полезна, тем, что разовьет в них силы. На другой же день Хрущов поставил людей на работу и во всё её продолжение сам был за инженера.

Так отрекомендовал себя Александр Петрович Хрущов с первых дней прибытия своего в Севастополь… Имя его занимает видное место в летописях обороны многострадального города. Приведенный мною случай может служить веским доказательством тому, каких усилий стоила князю подготовка Севастополя к обороне: светлейшему приходилось вымаливать себе и средства, и рабочие силы, как будто дело шло о каких-то частных постройках, в которых никто незаинтересован, кроме самого строителя! Князь никогда не забывал услуги, оказанной волынцами, и этот полк был, из пехотных, его любимейшим.

С весною усилилось прибытие войск в Севастополь. Когда гусарский герцога Лейхтенбергского полк вступал в город, светлейший выехал к нему навстречу. Командир полка Халецкий, узнав князя издалека, молодецки подобрав лошадь, лихо, в лансадах, подскакал к князю. Он произвел на светлейшего приятное впечатление и князь громко поздоровался с полком. Гусары грянули дружно и с того времени он полюбил этот полк, хотя и неопытный, еще незакаленный, но хороший полк, полный

рвения и готовности. В день встречи лейхтенбергцев, князь ехал рядом с полком; Халецкий, рисуясь на борзом коне, представлял его светлости эскадронных командиров поодиночке. Светлейший был видимо доволен. После холодности моряков, ему особенно отрадно было видеть сочувствие к себе войск.

Начальников прибывавших частей войск светлейший в первый же день прибытия приглашал к обеду, сажал возле себя, расспрашивал их, беседовал с ними и потом делал о них почти безошибочное заключение. Не утомляя солдат смотрами, князь зорко всматривался в их быт, вникал в дух полка, верно оценивал его достоинства. Солдатами он вообще был доволен; командирами — не всегда.

3-го июня, в обеденную пору, когда мы были за столом, кто-то внезапно прибежал сказать, что невдалеке крейсируют три неприятельских парохода. Князь вскочил из-за стола и тут же, сколько мне помнится, вошел Корнилов и стал просить князя разрешить ему выйти с шестью пароходами атаковать неприятельские крейсера. Все мы отправились на кровлю библиотеки (или «на библиотеку», как говорили севастопольцы), откуда постоянно делались наблюдения над морем.

С библиотеки князь увидал, что неприятельские пароходы — больших размеров, и советовал Корнилову не выходить в море, чтобы не подвергать сравнению наши паровые суда с большими неприятельскими и тем не обнаружить недостатков первых. Корнилов — человек пылкий — настоял на своем. Уважая отвагу адмирала, светлейший дал ему свое дозволение, не разделяя однако же его надежд… Корнилов дает сигнал и спешит ударить на пароходы; князь остался на библиотеке. Пароходы вышли и, в сравнении с неприятельскими, показались нам еще меньших размеров. Светлейший тревожно следил за ходом дела, угрюмо ворчал… но когда пароходы союзников, не принимая боя, увели наших на горизонт, а наши, после перестрелки, повернули назад, светлейший только сказал мне:

— Пойдем пить чай.

Подали чай. Князь сел на одном конце балкона, я на другом; он молчал. Этим временем пароходы вернулись, бросили якорь, и Корнилов поспешил в Екатерининский дворец. Только что князь вышел в залу, чтобы встретить адмирала, как тот, в свою очередь, стремительно распахнул дверь и, не переступая порога, громко и с горячностью произнес:

— Вы правы, ваша светлость! У нас нет пароходов… Они нас не подпустили, да и борта у них настолько выше наших, что сцепиться невозможно!

Лето шло. Оборонительная линия была сомкнута и

вооружена; изыскивались средства, чтобы ее еще по возможности усилить; работы продолжались. Тут кстати прибыл к нам гость — инженер, явился к светлейшему и с первой же встречи расположил его в свою пользу. Гость этот был саперный подполковник Тотлебен.

В южной армии Тотлебен состоял при генерале К. А. Шильдере и после его смерти, будучи свободен и не получая определенных занятий у кн. М. Д. Горчакова, отпросился в Севастополь «посмотреть, — как он сам мне рассказывал, — *вооруженную крепость*, ожидающую неприятеля, чего никогда еще не видал». Кто знает Тотлебена, кому известна его любознательность, тот не усомнится, конечно, что намерения этого инженера не имели иной цели, кроме той, которую он мне высказал. Зная военные способности князя Александра Сергеевича, Тотлебен говорил мне, что *приехал у него поучиться* и высказывал это чистосердечно.

Тотлебен прибыл в Севастополь 10-го августа и просил у его светлости позволения осмотреть укрепления во всех подробностях; любовью своею к науке он заинтересовал князя, который выразил ему свое расположение еще и за то, что Тотлебен был преданным и любимым сподвижником покойного Шильдера, которого светлейший знал за способнейшего инженера и глубоко уважал. Здесь замечу, что князю очень хорошо было знакомо инженерное дело; он любил его, интересовался им всегда, был в курсе производства инженерных работ во всём свете и обладал в своей библиотеке редким собранием древнейших и новейших книг по части инженерного искусства.

По уходе Тотлебена, что было уже в сумерки, князь послал за мной.

— Сюда приехал из южной армии, — сказал мне князь, — саперный офицер и очень мне понравился. Он там состоял при Шильдере и, кажется, был его любимец, что само по себе уже выгодно его рекомендует. Кроме того, он по фамилии Тотлебен, а я знаю, что был на Кавказе генерал Тотлебен — очень практичный и способный человек: он там провел войска по такому пути, которого теперь и отыскать не могут[1]. Об этой заслуге своего предка приезжий Тотлебен и не знал, но ему очень лестно, что они родственники. Ты сходи к Тотлебену; он остановился в номерах гостиницы; познакомься, он тебе понравится. Предложи ему мою лошадь и завтра же поезжай с ним; покажи всё по порядку.

Я исполнил приказание князя: познакомился с Тотлебеном и на следующий день мы начали объезды по оборонительной линии, от 6-го бастиона. На первый случай ездили до обеда, но

осмотрели немного, потому что Тотлебен, не торопясь, вникал во все подробности произведенных работ. Посвященный во всё, что было у нас по этой части сделано, и будучи хорошо знаком с местностью, противолежащей нашей оборонительной линии, я объяснял моему спутнику всё то, что знал. Внимание, с которым Тотлебен меня выслушивал, обстоятельные его расспросы, уважение и доверенность, выказываемые им к познаниям князя Меншикова в инженерном искусстве, всё это расположило меня в его пользу. Возвратившись с первого объезда, я поспешил передать князю о впечатлении, произведенном на меня Тотлебеном, прибавив к тому, что наш гость непохож на тех инженеров, которые были тогда в Севастополе: он, в случае надобности, не станет ожидать разрешений от строительного департамента на производство тех или других экстренных работ в военное время, а сумеет найти сподручные к ним средства. Это последнее обстоятельство особенно порадовало князя.

Поручив мне продолжать знакомство Тотлебена с интересующим его предметом, князь уволил меня от сопутствия его самого в ежедневных поездках. Так, в течение целой недели, мы с Тотлебеном объезжали оборонительную линию. Он не раз бывал приглашаем светлейшим к обеду, во время которого и сам гость успевал всё более и более снискивать расположение князя. Наконец светлейший, убедись, что Тотлебен достаточно посвящен в предмет, сам повторил с ним осмотр всей оборонительной линии с моря и с сухого пути и, сообразив, что Тотлебен будет ему весьма полезен, предложил ему остаться при себе, выразив надежду, что князь Горчаков препятствовать этому желанию не будет. Тотлебен изъявил со своей стороны полнейшую готовность состоять при светлейшем, причём шепнул мне, что главнокомандующий южною армиею не жаловал Шильдера, а по нём и им, Тотлебеном, не подорожит. Так и вышло: лишь только князь написал об этом предмете Горчакову, как тот выразил совершенное свое согласие.

Посвятив нового нашего инженера во все подробности произведенных работ, светлейший поспешил дополнять и усиливать их, пользуясь содействием и услугами Тотлебена. Наконец, придумано было, на Зеленой горе, вне севастопольских укреплений, устроить редут, для тресировки которого, 31-го августа, князь с Тотлебеном въехал на эту гору и при себе приказали его разбить. На следующий день после расстановки рабочих, предположено было начать осмотр местности, лежащей впереди оборонительной линии. К сожалению, я не успел показать Тотлебену окрестностей Севастополя, так как 1-го сентября получено было известие о появлении неприятельского

флота с десантом.

Изучая устройство оборонительной линии, Тотлебен ознакомился и со всеми затруднениями, которые встречал светлейший; при этом он не один раз выражал свое удивление тому, что князь еще успел так много сделать. Линия была сомкнута и посильно вооружена; все более доступные места были означены возведением усиленных батарей; самое же главное — линия была обдумана и очерчена так, что впоследствии оставалось только возвести на ней то, чего не успел возвести светлейший. Сочувствуя князю, Тотлебен указывал ему на подручные средства, которыми в минуту крайности можно будет произвольно воспользоваться, и вполне сознавал, что князем было сделано всё то, что только можно было придумать для предупреждения внезапного нападения неприятеля на Севастополь. Со своей стороны, Тотлебен предполагал начать с того, чтобы осыпать землею каменные завалы.

Конечно, укрепления, найденные Тотлебеном при его приезде, не могли идти в сравнение с теми, которые возникли впоследствии, во время долговременной обороны; но, во всяком случае, они были закончены в такой мере, что неприятель устрашился их — и, при всех своих громадных средствах, не решился атаковать Севастополь открытою силою, а приступил к осадным работам. Спрашивается: чья тут заслуга, если не князя Александра Сергеевича?

Многие замечательные, официальные сочинения обвиняют его, будто бы он не ожидал важных действий союзников против Севастополя и вообще Крыма… Прошу прислушать:

21-го января 1854 г., в секретном своем донесении (за № 233) Императору, князь выражает опасения, что неприятель предпримет атаку на Севастополь с моря и суши в значительных силах для овладения городом и для истребления флота. 27-го числа того же месяца, в другом секретном донесении (№237) Государю же, он выражает предположение о покушении неприятеля в значительных размерах — на Крым. В донесении того же дня (№ 241), предостерегает о могущем быть, по вышесказанному поводу, возмущении крымских татар. Февраля 16-го (№259), сообщает его величеству о соображениях, делаемых татарами на случай высадки турок в Крыму. Марта 25-го (№ 288), повергает на благоусмотрение Императора мысль об ограждении северного берега бухты оборонительной стеною. Марта 31-го (№ 296), испрашивает дозволение об употреблении войск для обережения от нечаянного нападения и для наблюдений за окрестностями Севастополя. В донесении от 9-го апреля (№ 299), подтверждает свои опасения на счет предприятия союзников на

Крым.

В переписке с военным министром, в марте (№№ 297, 344 и 362), светлейший прилагает попечение — за неимением войск — обратить на действительную службу льготных ногайцев Крымского полуострова; вооружить государственных крестьян русского народонаселения в Крыму; присоединить две роты Балаклавского греческого батальона, поручив им наблюдение за южным берегом Крыма. Апреля 9-го (№ 393), пишет военному министру, чтобы во ожидании военных действий на полуострове — травяное довольствие лошадей отменить. Апреля 10-го (№ 406), пишет атаману Хомутову и совещается с ним о том, чтобы он, в случае высадки неприятеля, расположил свои войска так, чтобы они могли поспеть на известные пункты Крыма. Апреля 18-го (№ 455), предписывает полковнику Залесскому поспешить перевозкою провианта из Евпатории в более безопасное место. Апреля 21-го (№ 484), просит главноуправляющего путями сообщения графа П. А. Клейнмихеля дать в его распоряжение роту рабочих для исправления дорог, по которым должно ожидать передвижения войск в окрестностях Севастополя.

В мае месяце, пользуясь прибытием сапер, князь прокладывает новую дорогу, которая ведет от Инкерманского моста через реку Черную, по скатам южного берега бухты, совершенно прикрытая, на корабельную сторону. Эта дорога значительно сокращает сообщение северной стороны Севастополя с южной, обеспечивая движение по ней войск. Действительная польза этой дороги была не оценена: она не раз выручала нас во время обороны Севастополя.

Продолжаю перечень документов, свидетельствующих о деятельности и предвидении светлейшего:

Июня 15-го (№ 782), он совещается с атаманом Хомутовым о мероприятиях на случай высадки неприятеля. Июня 21-го (№ 806), предсказывает военному министру о высадке союзников, а 29-го числа того же месяца (№ 384), во всеподданнейшем донесении Императору, предусматривает место высадки и количество сил, в которых неприятель совершит ее, и заключает донесение следующими словами: «мы положим животы свои в отчаянной битве на защиту святой Руси и правого её дела; каждый из нас исполнит долг верного слуги Государю и истинного сына отечества; *но битва эта будет одного против двух*, чего, конечно, желательно избегнуть».

Июля 7-го (№ 903), светлейший пишет военному министру, что, в виду ожидаемой им высадки вблизи Евпатории, полезно позаботиться о возможности подвоза провианта к армии через

Геническ. Июля 11-го (№ 399), доносит Государю, что, в виду спешной необходимости, он, светлейший, просит князя Горчакова прислать ему 16-ю дивизию, не испрашивая предварительного разрешения у его величества. Вместе с тем докладывает, что он советует главнокомандующему южной армией распустить слух, будто мы имеем намерение действовать против Варны, затем, чтобы этим слухом задержать сосредоточенные там неприятельские войска. Заключая свое донесение изложением крайней необходимости в этой дивизии, князь говорит… «в этой дивизии (в южной армии), может быть, нет такой там необходимости, как здесь, в Севастополе, на который *неприятель смотрит*, конечно, как на *венец всех своих достижений*. Июля 13-го (№ 957), уведомляет Реада о намерении союзников действовать в Крыму. Июля 14-го (№ 401), просит перевезти на подводах передовые войска 16-й дивизии. Июля 20-го (№ 405), пишет Государю, что неприятель, как он думает, ранее месяца не соберется еще в тех силах, в каких намерен сделать десант. Июля 21-го (№ 996), пишет начальнику 16-й дивизии генералу Квицинскому, чтобы он спешил с дивизиею сколь возможно. Июля 28-го (№ 407), уведомляет Императора о средствах, принятых для ускорения марша войск. Августа 5-го (№ 1069), отдает бригадному командиру Щелканову приказание следовать с 1-й его бригадой на Алму; того же числа (№ 1070), предписывает Квицинскому пододвинуть 2-ю бригаду. Августа 17-го, князь, в ожидании высадки неприятеля, к бригаде Щелканова на Альме присоединяет бригаду 17-й дивизии.

Из содержания всех этих донесений и распоряжений, с января по сентябрь 1854 года, очевидно, что князь не только ожидал высадки, но даже определял время, место и размеры сил, в которых она будет совершена в Крыму. Можно ли обвинять князя Александра Сергеевича в беспечности его отношений к этому важному вопросу? Он оборонял Севастополь крупицами из-под ног инженерного департамента; собирал разбросанные, никому не нужные обрывки войск. Серьезный взгляд князя на покушение союзников на Севастополь приписывали малодушному желанию светлейшего придать случайному своему посту большее значение.

Если некоторые писатели обвиняли князя Меншикова в том, что он до высадки неприятеля подготовлял оборону Севастополя единственно в ожидании какого нибудь незначительного отряда, выброшенного неприятелем вблизи города, то они не так его поняли. Он застал Севастополь совершенно открытым к доступу неприятеля со стороны суши — и в такой мере, что если бы турки (не говорю уже о их союзниках) предприняли какую нибудь ночную экспедицию, то и они могли бы овладеть не только

некоторыми укреплениями с тыла, но даже и самым городом, при том отсутствии войск, при котором находился Севастополь во всю зиму с 1853 на 1854 год. Считая таковое событие вполне возможным, князь, за неимением больших средств, пользовался средствами наличными, едва достаточными против тех мелких покушений, в исходе 1853 года, которых можно было ожидать только со стороны турок, в отплату нам за Синоп. По этому-то князь, обозревая береговые батареи, как например, Константиновский форт, в виду необеспеченной его горжи, говорил Корнилову, что и горсть турок, выброшенная позади этого форта на берег, может без труда овладеть горжею, да так, что покуда мы опомнимся, неприятели успеют заклепать все орудия и даже взорвать самый форт. Точно в таком же положении был и 10-й № батареи, по своей уединенности, и должен был опасаться нечаянного нападения.

Светлейший приехал из Николаева единственно затем, чтобы попристальнее взглянуть на существовавшие в то время береговые укрепления и сделать свои о них заключения. Между прочими их недостатками он заметил, что симметрически прорезанные амбразуры лишали возможности направлять огонь некоторых орудий куда следует. Поэтому он приказал эти недостатки немедленно исправить, форты же усилить вооружением их верков. Усматривая при этом, что при их постройке не имелось в виду нападений на них с тыла, сделал распоряжения о защите горж во всех тех местах, где угрожала возможность овладеть фортами с берега. Этим князь начал распоряжения свои по укреплению Севастополя.

Князь прибыл из Николаева, так сказать, налегке, с одним саквояжем; увидел беспечность, в которой пребывало инженерное ведомство, и не решился оставить Севастополя.

В Николаеве у светлейшего был приспособленный рабочий кабинет, ожидавший его в надлежащем порядке, снабженный всем необходимым для обычных его занятий. Впоследствии я узнал, что повсюду, где князь, время от времени, имел местопребывание, там ожидал его кабинет со всеми принадлежностями для письма и научных справок. Иметь кабинет в порядке было для светлейшего существенною потребностью, — в Севастополе у него такового еще не было. Никому не доверяя перевозки своего кабинета, князь, пребывая в Севастополе, всё надеялся улучить досужее время и, по собственному его выражению, «скатать в Николаев»… Досужего времени не оказывалось и поездку свою он откладывал со дня на день. Наконец, потеряв всякую надежду отлучиться, светлейший, 20-го февраля 1854 г., послал в Николаев меня, со своим человеком,

для перевозки в Севастополь его кабинета и оставленных вещей. Передал мне ключи, рассказав подробно каким последовательным порядком забирать бумаги, книги и проч. так толково и ясно, что в Николаеве я мог распорядиться, будто кабинет князя давно был мне знаком. Я не мог достаточно надивиться и памяти и аккуратности князя.

Когда Тотлебен приступил к осуществлению предначертаний князя Меншикова, то светлейший увидал, что новый инженер хорошо его понял и с любовью предался делу. Это несказанно радовало князя и он, располагаясь совершенно на Тотлебена, имел возможность поотдохнуть от мелочных забот. У него стало более времени: он мог навещать лагеря, расположенные тогда на видных местах, затем, чтобы неприятель не рискнул высадиться вблизи Севастополя. Лагерь на южной стороне, около Камышовой бухты, был генерала Моллера; а на северной — генерала Кирьякова.

Подошел день Бородинского праздника (26-го августа). Отслушав в лагере молебен, князь поздравил Бородинский полк и уехал; мы же, адъютанты, остались пировать: ели, пили, пили, ели — наконец, добрались до шампанского. Председателем пира был Кирьяков; подле него сидел старый герой Бородина — отставной, слепой генерал Бибиков, живший на Бельбеке в своем небольшом имении. Начались заздравные тосты; провозглашал Кирьяков… Дошла очередь до гостя-ветерана: Кирьяков встал, значительно взглянул на соседа и протяжно, с расстановками произнес:

— Выпьем теперь, господа, за здоровье нашего почтеннейшего гостя… (Бибикова подтолкнули, он встал)… настоящего бородинца, — продолжал Кирьяков, — и… старого… *вете-ри-нара*!!

Сконфуженный *ветеран* поспешил опуститься; тоста не подхватили; мы, чуть не лопаясь со смеху, салфетками зажимали себе рты… но Кирьяков, хотя ему и подсказывали: «ветерана! ветерана!!» не замечая своей ошибки, залпом осушил бокал и, довольный своим возгласом, сел.

Это была первая неловкость, сделанная Кирьяковым…

II

За две недели до высадки неприятеля на берег Крыма, общее количество сухопутных войск, бывших в распоряжении князя, состояло из трех бригад пехоты: мушкетерской — 14-й, егерской — 17-й и резервной 13-й дивизии, из 6-го саперного и 6-го стрелкового батальонов; из бригады гусар 6-й кавалерийской дивизии и трех батарей артиллерии. При этом все упомянутые части войск были далеко не в полной численности… Очень немного; особенно если принять в соображение, что и в мирное время, для содержания караулов в Севастополе, находилась постоянно дивизия.

Без малого за год до высадки, светлейший уже заботился о подготовке для содействия себе дельных офицеров. Для этого он не пропускал без внимания ни одного из мало-мальски способных, к какому бы роду оружия или ведомству ни принадлежал офицер. Способностью разгадывать человека по первому впечатлению князь был одарен в высшей степени. Ожидая от моряков большой помощи при предстоявшей обороне города, он нечувствительно, исподволь, знакомил морских офицеров с инженерными работами и подробностями гарнизонной службы в стенах осажденного города. Он приглашал их сопутствовать себе при разъездах; всегда умел привлекать их внимание на множество предметов, имевших отношение к обороне, но, до того времени, почти неведомых морякам. Князь давал им поручения — сначала косвенные, с целью только заинтересовать предметом, а потом, вовлекая в полное участие, возлагал на избранников своих и ответственные должности. Этот способ обращения с людьми, которых князь желал развить, ему постоянно удавался. Светлейший отлично умел пользоваться свежим взглядом моряков на условия сухопутной службы — взглядом, чуждым рутины и не отуманенным общепринятыми воззрениями на эти условия.

Шестнадцатая дивизия вступила в Крым недели за две до высадки неприятеля. В ожидании её прибытия, светлейший поехал прямо на реку Алму; отсюда, с остатков старинных окопов, над устьем реки[2], открывался вид верст на пятнадцать.

— Здесь, — сказал князь, — между Алмой и Евпаторией, союзники — если они только не опоздают — должны сделать высадку, заняв, разумеется, одновременно и Евпаторию… Но, чтобы они не вздумали высадиться где-либо поближе к Севастополю, я расположу на Алме, в виду с моря, одну бригаду 16-й дивизии. Сюда мы придем с остальными войсками —

позадержать неприятеля.

Едва мушкетерская бригада успела расположиться лагерем на Алме, на позиции, избранной светлейшим, едва он успел ее объехать, как неприятельский флот был уже в море на высоте Евпатории — то было 1-го сентября.

На Алминскую позицию князь Александр Сергеевич, со всеми лицами, состоявшими при нём на службе, выехал 3-го сентября. Настоящего, правильно сформированного штаба у него еще не было, да и сам он собственно не имел никакого назначения: ему, как старшему лицу из находившихся тогда в Крыму, подчинялись прибывавшие туда войска — и только. Таким образом, находились при светлейшем: в качестве дежурного штаб-офицера, подполковник Вунш, присланный к князю командиром береговой линии, адмиралом Серебряковым; в качестве секретаря — Александр Дмитриевич Камовский; чиновник от министерства иностранных дел — Грот и мы, пять адъютантов: Сколков, Веригин, Вилебрандт, Грейг и я, Панаев.

В конце лета 1854 года, когда войска стали прибывать, Вунш в помощники себе взял капитана Лебедева, который занял должность дежурного штаб-офицера; должность начальника штаба занял сам Вунш. За ординарцев при князе состояли: лейтенант Стеценко, мичманы: князь Ухтомский и Томилович. Двух последних светлейший отдал на попечение мне, как бы дядьке. Кроме того для исправления должности офицера генерального штаба, в конце лета был прислан князю кирасирского полка штаб-ротмистр А. И. Жолобов, только что кончивший курс в военной академии. Доктором при светлейшем состоял Таубе.

В таком-то составе двинулся штаб — если только можно назвать его таковым — из Севастополя, и, сделав первый переход до правого берега реки Качи, расположился отдыхом на помещичьем хуторе. Мы собирались в обеду, как во двор вошел вновь прибывший в армию доктор: фамилии не помню, знаю только, что он был назначен в один из гусарских полков. Он пришел явиться к князю, о чём и просил меня доложить светлейшему. Зная как он, в это время, был озабочен, я уже думал отклонить неуместное соблюдение формальности, как светлейший, в окошко, сам увидал доктора и позвал его к себе.

Долго мы дожидались выхода нежданного гостя и уже порядочно проголодались; наконец, он выскочил на двор, красный как рак. Пыхтя и отдуваясь, подошел он к нам; мы все с любопытством на него смотрели, не понимая причины этого волнения. «За что, — думал я, — светлейший его распек? Небывалая вещь!»

— Я как из бани! — произнес наконец доктор, отирая пот и не смотря ни на кого в особенности, — светлейший задал мне такой экзамен, какого я и в академии не держал… И откуда у него столько сведений, и всё такие существенные, чисто научно-практические вопросы?.. Мог ли я предполагать: адмирал и такой старый человек — и столько сведений в медицине. Я насилу собрался с мыслями и ежели бы он сам не ободрял меня, я бы, просто в тупик стал. После, я уже оправился и разговорился с князем, как с *коллегой*. Главное — неожиданность: я никогда не слыхивал, чтобы князь Меншиков был так сведущ в медицине. Я ему — просто: «честь имею явиться» — а он и пошел меня пытать, так что в пот бросило, — продолжал доктор. — Интересный, господа, человек, — произнес он с одушевлением после минутного молчания, — но, кажется, светлейший остался мною доволен, к обеду пригласил… Теперь я буду посмелей!..

— Да, батюшка, — шутливым тоном заметил ему Веригин, — мы никого не пропустим без внимания…

Отобедав наскоро, светлейший ушел к себе; распоряжениям у него не было конца. Беспрестанно приезжали с наблюдательных постов казаки с донесениями о том, что было особенного замечено при высадке неприятеля. Так как нам, адъютантам, поручений еще не было, то я и предложил товарищам воспользоваться большой диванной комнатой и соснуть, в виду того, что ночь может быть очень тревожная. Мы все полегли, однако никому не спалось… Веригин и Грейг шутили; другие притаились, притихли; я всё хотел мысленно изобразить себе картину предстоящего боя: однако это мне не удавалось… Поднялись и стали балагурить.

Когда стемнело, князь позвал меня и поручил принимать присылаемых с постов и докладывать по усмотрению. Как я ни сторожил подъезжавших, чтоб спросить их ранее, чем светлейший мог заслышать движение на дворе, — он всё-таки каждый раз выходил на крыльцо и прислушивался к опросам.

Ранним утром 4-го сентября, светлейший поднялся, поспешил сделать все необходимые распоряжения, сел на коня и поехал на Алму. Отъехав версты три, мы услышали канонаду: то неприятель с пароходов обстреливал место своей высадки. Князь прибавил ходу своей лошади, и без того уже бежавшей крупной рысью. Войска, которые мы обгоняли, спешили сколько могли; при всём том отсталых было много. Подгоняя и ободряя их, мы едва поспевали за светлейшим. День был ясный, веселый. Раскаты выстрелов возбуждали наше нетерпение, мне показалось, что бой уже начался… Однако, приехав на Алму, мы увидели, что здесь всё тихо: войска занимают позиции и устраивают бивуаки.

Князь, быстро объехав расположение войск, пристально осмотрел позицию, передвинул некоторые части и велел тотчас же приступить к возведению двух земляных укреплений для батарей, обстреливающих брод и мост на Алме, — против нашего правого фланга. Потом он выбрал высоту на площадке, на которой велел мне расположить его ставку. Это была маленькая, для помещения одного человека сделанная палатка; подле неё другая, солдатская, для прислуги, и третья — для ефрейторского караула. Возле ставки князя и мы разбили себе несколько палаточек.

Приказ всем нашим отрядам собираться на Алму был отдан князем вскоре по появлении в море неприятельского флота. Войска спешили на позицию, предусмотренную светлейшим, как могли и кто только мог, так что 8-го сентября, на заре, едва успели дотянуться хвосты Московского и Углицкого полков и, по мере прихода, вступали на приготовленные им места уже в боевой позиции. К полудню 8-го сентября порядок расположения её приблизительно был следующий:

Против моста на Алме — Владимирский пехотный и Казанский егерский полки; правее — Суздальский пехотный и Углицкий егерский. За Владимирским, в скрытом месте, был батальон моряков, определенного назначения не имевший: его участие в деле зависело от случая крайней необходимости. Сзади, несколько левее Казанского полка, стояли четыре батальона бригады 13-й резервной дивизии; за нею, бригада 17-й дивизии была расположена так, что, принимая атаку, могла сама, в случае надобности, поддержать резервные батальоны 13-й дивизии; левее от упомянутой бригады — Московский пехотный полк, занимавший, частью в рассыпном порядке, огороды и высоты над бродами чрез реку. За Московским в резерве стояли — Волынский, в полном составе, и 3 батальона Минского полка. Последние имели в виду поддерживать свой второй батальон, командированный для наблюдения за левым флангом позиции. Наблюдение за правым флангом всей позиции поручено было двум полкам казаков. Гусарская бригада была в закрытом резерве; употребить ее предполагалось для атаки правого фланга того неприятельского отряда, который — бы мог устремиться на наш левый фланг.

7-го сентября, часов около четырех пополудни, неприятель, с первоначального своего расположения сделав движение вперед, оттеснил наши аванпосты версты на две, до того, что цепь снялась и собралась в лощине Булганак. Цепь составлял гусарский герцога Лейхтенбергского полк, в поддержку которому князь Меншиков немедленно послал гусарский Веймарский.

Чтобы внушить неприятелю, что мы далеко не так слабы, как были на самом деле, а с тем вместе и для ободрения кавалерии, светлейший, следом за веймарцами, послал казачью батарею, полки Тарутинский и Бородинский с 4-ю пешею легкою батареею. Этот небольшой отряд, по наружности, был цветом всего воинства, собравшегося на Алме. Действительно, в строю, было чем полюбоваться: егеря, подобранные «на чистоту», могли быть украшением гвардейских полков. Командир Бородинского полка казался человеком положительным, но, как впоследствии оказалось, лишенный военных сведений, был весьма не находчив; что касается до командира Тарутинского полка, то он более похож был на полкового попа, да таковым оказался и на самом деле. Казачья батарея была очень подвижна, а четвертая легкая, с своим командиром, была, что называется — «настоящая» батарея. Веймарский гусарский полк был отлично надутый мыльный пузырь: наливные, вороные, хорошо подобранные кони с рослыми, краснощекими всадниками — имели очень нарядный вид и с восемью батальонами егерей представляли поистине грозную массу, озаренную, пред глазами неприятеля, лучами заходящего солнца. Пользуясь этим эффектом, князь поручил генерал-лейтенанту Кирьякову — искусным маневрированием выказать этот отряд в угрожающем положении, на видном месте и в численности, большей противу настоящей. С этой целью светлейший приказал, раздвинув весь отряд так, чтобы он занял наибольшее пространство, производить им такие движения, чтобы одни и те же части отряда показались неприятелю вдвойне.

Что же сделал Кирьяков? Поспешно перейдя мост в первой лощине, он сжал отряд в резервный боевой порядок, чем скрылся от глаз неприятеля, и, выдвинув несколько наизволок 3-ю легкую батарею, снял ее с передков… да тут и остался! Веймарский гусарский полк он послал атаковать неприятельскую кавалерию, которая выказалась на левом фланге их позиции в весьма слабом составе. Эта атака, удачно выполненная, в совокупности с ударом двух казачьих полков, бывших наготове обогнуть левый фланг неприятеля — могла истребить всю жалкую его кавалерию. Следом за гусарами понеслась казачья батарея и остановилась на спуске в Булганакскую лощину, на противоположной стороне которой была, как раз, неприятельская конница; гусары же, спустившись в самую лощину, остановились в ней — не зная зачем. Между тем казачья батарея, снявшись с передков, несколькими выстрелами через головы своих гусаров успела привести неприятеля в замешательство и тогда-то на его стороне пали первые жертвы Крымской экспедиции. Как жаль, что не состоялся удар гусаров! они ждали, что начнут казаки, а казаки

смотрели на гусаров; последних, бывших в весьма щекотливом положении в лощине и не видевших неприятеля, — обуял страх неизвестности. Англо-французы, пользуясь возможностью оправиться, пустили два ядра по казакам, которые тотчас же скрылись. Этим временем, командир Лейхтенбергских гусар генерал Халецкий, видя, что веймарцы поскакали на левый фланг неприятеля, поспешил присоединиться к своим: повернув повзводно направо, он покатил Булганакской лощиной на рысях — но свои его не признали: под влиянием тяжелой неизвестности о том, что кругом их творилось, слыша только пушечные выстрелы, веймарцы, завидя гусар Халецкого в белых куртках (что для них не было новостью: они и сами носили такие же), крикнули «неприятель!» повернули — и драло… Видно, у страха глаза велики. Лейхтенбергцы, не ожидая этой прыти — так как полагали, что наша взяла, — в недоумении остановились, и, подумав немного, поспешили присоединиться к отступавшим… Батарея, не понимая причины улепетывания гусар, осталась на позиции одна, без всякого прикрытия.

Между тем, Кирьяков, полагая, что веймарцы отступили от неприятельской конницы, ударившей их во фланг, внезапно завидел один эскадрон лейхтенбергцев, который несся на рысях прямо к отряду, и, приняв его за неприятельский, скомандовал батарее: «пли!» Батарейный командир не решался, сомневаясь, чтобы этот эскадрон мог быть неприятель; но Кирьяков настаивал так упорно, что батарея мигом выпустила 8 снарядов. Посыпались свои, эскадрон бросился врознь. Жалости достойная картина этой кровавой бестолочи была как на ладони перед глазами светлейшего… Все бывшие у ставки князя видели это, ломали руки, тужили — а помочь было невозможно. Из опасения, чтобы генерал-лейтенант Кирьяков опять чего не напакостил, князь поспешил воротить его в свое место. Но, как бы вы думали? Эта к… (своими ушами слышал!), подходя к светлейшему с донесением, еще издали закричал:

— А, какова батарейка, ваша светлость?! С одного выстрела положила одиннадцать человек, и что-то двадцать лошадей!..

Первая мысль моя была, что он говорит про казачью батарею, палившую по неприятелю, но Кирьяков поспешил разъяснить, прибавив:

— Правда, что это были свои, но мог быть и неприятель; следовательно, это не отнимает достоинства у артиллеристов… Батарейный командир в отчаянии: хлопочет теперь над убитыми и ранеными гусарами!..

Светлейший только махнул рукой, давая этим знать генералу, чтобы он удалился.

Таковы были наши первые жертвы первого дня Крымской кампании! Правда и казаки потеряли двух убитыми — но неприятельским ядром. В молодом полку Попова, как он сам мне после говорил: «взвыли ребятишки, когда увидели сорванные черепа станичников… Что станешь с ними делать? — заключил Попов, — еще никогда убитых не видали».

Как бы в утеху за неудачи этого несчастного дня, судьба послала нам пленного французского полковника генерального штаба, Ла-Гонди (La-Gondie), состоявшего в распоряжении лорда Раглана. Ла-Гонди был куда-то послан; ехал довольно шибко, но, по близорукости, принял наших лейхтенбергцев за своих: наткнулся прямо на командира (генерала Халецкого), который и велел его взять своему ординарцу. Гонди не сопротивлялся и этот живой трофей достался нам даром. Пленника с торжеством повели к светлейшему, который очень хорошо видел, что подвиг тут не геройский, но так как к ставке его сбежался чуть не весь лагерь — взглянуть на первого пленного, да еще и полковника генерального штаба, — то князь, в поощрение ординарца, похвалил его за удаль, пожаловал ему знак военного ордена и за призовую лошадь, очень старую и изнуренную, 150 руб. сер. деньгами. К чести ординарца, унтер-офицера Зарубина, замечу, что деньги он брал неохотно: «куда они мне? — говорил он, — убьют, так пропадут».

Эти слова оправдались: 13-го октября, под Балаклавою, он погиб от неприятельской пули: полез в свалку за валявшимся на земле револьвером… Товарищи кричали ему:

— Эй, не лазь, убьют!

— Авось! — отозвался он, — пистолет-то хорош…

Пуля угодила ему прямо в лоб и грохнулся смельчак наземь, не пикнув.

Возвращаюсь к пленнику. 8-го сентября, ординарец князя, лейтенант князь Ухтомский, рано утром, отвез Гонди в Севастополь. Дорогой, желая прокатить француза по-русски, на тройке, опрокинул его где-то на бугре, однако благополучно, и доставил его на место здравым и невредимым.

Вечером 7-го сентября, светлейший послал меня на казацкий бивуак передать казакам, чтобы они не ограничивались охранением нашего правого и наблюдением за левым флангом союзной армии; помимо этой обязанности, князь приказал казакам: направлять свои разъезды к Бахчисараю и Симферополю, на случай каких либо покушений врага на эти пункты; ночью иметь пикеты перед фронтом неприятельского лагеря, прикрывая одновременно и аванпостную цепь наших гусар, которые, находясь таким образом во второй линии, будут бодрее себя

чувствовать. О назначении казаков на линию впереди гусар последние были уведомлены своевременно.

Передав это приказание князя, я получил от двух полковых командиров казацких, Попова и Тацина, такие уверения в их бдительности, что, несмотря на непроглядную темноту ночи, можно было, казалось, спать спокойно в нашем лагере. Отправляясь в обратный путь, я захватил за собою казацкого юнкера Хомутова[3], который был наряжен к светлейшему на посылки. Отправляя его, командир наказывал двум его дядькам, старым казакам, беречь юнкера как зеницу ока. Они, действительно, чуть не на руках его несли.

К ночи с 7-го на 8-е сентября неприятель не воротился на старую позицию, а ночевал тут же, т. е. верстах в шести от нас, за небольшим возвышением. Вследствие этого, наши аванпосты в две линии далеко не уходили: казаки находились в Булганакской лощине, а гусары на том месте, на которое с вечера выходила бригада 17-й дивизии.

Атаку со стороны союзной армии надо было ожидать утром; поэтому войска, рано позавтракав, отправили обозы к реке Каче, а сами стали готовиться к бою. Тогда-то, на месте, отведенном для перевязочного пункта, совершенно случайно, для всех неожиданно, явилась наша *первая* русская «сестра милосердия» — Елизавета Михайловна Хлапонина. Не могу не посвятить нескольких слов воспоминанию об этой достойнейшей женщине.

Одним из лучших батарейных командиров тех войск, которые постепенно прибывали в Севастополь летом 1854 года, был подполковник Дмитрий Дмитриевич Хлапонин. Недавно повенчанный, он приехал к нам с молодой женою, очень красивой наружности. Елизавета Михайловна Хлапонина, рожденная Борисова, возбудила живейшее внимание севастопольского общества. По вечерам, когда на Екатерининской пристани играла музыка и в числе гуляющих бывала Хлапонина, то собирался оживленный кружок людей, дороживших милою, приятною беседою Елизаветы Михайловны. Непременным участником этого кружка бывал генерал Кирьяков, имевший притязание на любезность и остроумие. При тогдашнем настроении духа всего общества на заносчиво-воинственный лад, удалые рассказы Кирьякова, громогласные его обещания «шапками закидать» союзников, наконец, георгиевский крест в петлице — расположила в пользу генерала общественное мнение и снискали ему, довольно дешево, права авторитета. Севастопольцы не выключая моряков, даже самого князя Александра Сергеевича, возлагали надежды на такого лихого генерала. Отвлеченный служебными занятиями, я не успел еще проведать о появлении в

Севастополе красавицы Хлапониной, как князь, проезжая как-то со мною мимо Екатерининской пристани, сказал:

— Здесь появилась красавица, которая вскружила голову нашему Кирьякову. Надо взглянуть…

Мы сошли с лошадей и князь, спустившись по ступенькам на пристань, присоединился к кружку, образовавшемуся около Елизаветы Михайловны и где во всеуслышание разглагольствовал Кирьяков. Светлейшему представили Е. М. Хлапонину; он поговорил с ней несколько минут и когда опять сел на лошадь, то сказал мне: «миловидная и умненькая особа!» Я, издали, не вгляделся в нее.

В другой раз, еще до высадки неприятеля, светлейший, объезжая расположение войск на северной стороне, завидел вдали амазонку, совершенно одну.

— Это Хлапонина! — сказал он мне, подъезжая ближе; — как же это она одна… Не случилось ли чего? Надо спросить…

Когда же князь, осведомившись у неё, узнал, что муж её, которому надо было зачем-то заехать на батарею, оставил Елизавету Михайловну на несколько минут, то сказал: «в таком случае мы будем охранять вас до его возвращения».

И действительно, светлейший не тронулся далее, пока не возвратился Хлапонин.

Ранним утром 8-го сентября, когда мы выпроваживали обозы с Алминской позиции, Елизавета Михайловна была на бивуаке, простилась с мужем и отправилась к Севастополю. Проезжая мимо перевязочного пункта, она увидела собрание полковых докторов, остановилась и спросила, что тут такое будет? Ей отвечали, что сюда, когда начнется сражение, будут приносить раненых для перевязки. Первою мыслью Хлапониной было: что, если вдруг да принесут сюда её мужа? Далее она не поехала и осталась на перевязочном пункте. Дело началось: снаряды и пули залетали даже и сюда, раненых несли, но между ними не было мужа Хлапониной. Сознавая, что и она может приносить посильную пользу, Елизавета Михайловна засучила рукава, опоясалась салфеткой и принялась за дело не замечая ни усталости, ни голоду, ни опасности. Облитая кровью, она перевязывала раны с необыкновенною энергиею и только отступление наших войск увлекло Хлапонину вместе с перевязочным пунктом к Севастополю. Бог услышал молитвы этой великодушной женщины: муж её не был ранен, но у лошади его ядром оторвало голову и — замечательная вещь! лошадь, без головы, устояла на ногах несколько, секунд, покуда Хлапонин успел соскочить с нее… тогда только труп коня рухнулся на землю. Уцелев под Алмою, Хлапонин принес в жертву отчизне

свое здоровье при обороне Севастополя: во время бомбардировки он был сильно ранен в голову и контужен в ноги. Однажды, на обратном пути с князем от Бельбека к лагерю, мы встретили экипаж, в котором наша прекрасная *сестра милосердия* везла раненого мужа в Симферополь… Не забыть мне этого ужасного зрелища! Сильно контуженный и раненый, Хлапонин сидел подле жены вытянувшись, с вытаращенными глазами и открытым ртом. Князь пристально всмотрелся в путников, потом быстро отвернулся: глаза его наполнились слезами.

— Хлапонин жив, — произнес он, — но какой ужас… И чем эти бедные женщины виноваты?

Выражение лица Елизаветы Михайловны неизгладимо врезалось в мою память; проникнутое скорбью, оно как будто говорило: «муж мой жив, и еще не всё потеряно».

Прошли годы: Хлапонин поправился было настолько, что получил место в комиссариате; служил насколько дозволяли силы; но контузия взяла своей Дмитрий Дмитриевич, помаявшись, принужден был наконец и вовсе отказаться от служебной деятельности. Ныне муж и жена бедствуют в Петербурге, забытые всеми: она, первая, по времени, *сестра милосердия*, не напоминает о себе по скромности и, для поддержки своего и мужнина существования, недавно еще искала места или работы[4].

III

Около девяти часов утра 8-го сентября 1854 г., союзники выдвинули первую боевую линию из-за высоты, так, что нам была видна некоторая глубина их боевого порядка. Все войска их были развернуты; колонн мы не видали, что нам казалось загадочным: мы понять не могли, как можно вести войска в атаку развернутым фронтом. Рассуждая между собою, мы положили, что цель такого порядка заключалась в том, чтобы, при ударе, охватить наши колонны с флангов. Средина неприятельского развернутого батальона была вдвое глубже, что нас и укрепляло в этом предположении. Но вышло не то, что мы ожидали: англо-французы и не думали о нашем штыке, да и свои штыки отомкнули, возлагая — и весьма справедливо — всю надежду на огонь. К полудню вся неприятельская линия тронулась к наступлению.

Против самого того места на горе, где был наш наблюдательный батальон, заблаговременно выдвинулась, версты на три вперед, неприятельская походная колонна, держась морского берега, так, чтобы быть под прикрытием своих пароходов… Внезапно она остановилась в ожидании чего-то. Не понимая причины подобной медленности, ибо как эта колонна, так и вся неприятельская боевая линия более трех часов недвижно стояли пред нашими глазами, — князь, имея в виду короткость осеннего дня, послал меня сказать Кирьякову, что ежели мы дождемся ночи, а дела не будет, то чтобы он приказал там, на горе, которой угрожает неприятель, — к ночи развести костры и придать этому месту вид нового бивуака, дабы отклонить неприятеля от флангового движения: при нашей безвыходно растянутой позиции, оно с трудом могло быть отражено *силою*. Явясь к Кирьякову с этим приказанием, я застал его за сытным завтраком.

— Вы уже не первый посланный от светлейшего, и всё об этом левом фланге! Что он беспокоится? — так встретил меня Кирьяков. — Слезайте-ка лучше с коня, да закусите, а мы их угостим, как кур перестреляем; кто на подъем вышел — тот тут и лег… Да не пойдут, бестии; они только делают отвод. У меня там Ракович (подполковник, командир 2-го батальона Минского полка); он всё подкрепления просит. Куда ему? Там и батальону-то делать нечего! А вот вечером велю развести огни, а нет — так пошлю отсюда команды. Доложите светлейшему: не пропустим! Я сейчас послал князю сказать о том, что мне Ракович доносит. Неприятель, видите ли, притащил к берегу моря какой-то

огромный ящик и положил его на самой Алме, со своей стороны, против подъема на гору, а сам ушел. Я думаю, в этом ящике — чумные; они нас поддеть хотят: думают — вот так мы и побежим рассматривать… ан нет! Я послал сказать Раковичу, чтобы он к этому ящику никого отнюдь не посылал… Вот, возьмите трубу: этот каторжный ящик виден отсюда. Однако, надо убрать завтрак и отправить телегу, — заключил Кирьяков перед моим отъездом.

Я возвратился к светлейшему, а Кирьяков, плотно закусив, поехал по батальонам кричать «ура!» — вовсе некстати.

Здесь к слову замечу, что Алминская наша позиция, для обороны и по подчинению расположенных в ней войск, вверена была: правый фланг и центр генералу от инфантерии князю Петру Дмитриевичу Горчакову[5], левый фланг и резервы генерал-лейтенанту Василию Яковлевичу Кирьякову.

Замедление неприятеля, о котором я упоминал выше, было не без причины. Союзники послали особый отряд, по самому прибою моря; видеть его нам ниоткуда не было возможности — они же ожидали пока он приблизится к подъему. Тогда тронулась фланговая колонна и вся неприятельская армия. Мы так долго ждали решительного наступления неприятеля, что светлейший, предполагая, что бой не состоится, послал сказать в штабной обоз, что бы там, где оный находится (верстах в двух, на горе), разбили ему палатку и варили обед, — что и было исполнено.

Здесь считаю уместным рассказать о событии, по существу своему маловажном, но в свое время возбудившем много шуму и нелепейших толков.

Во время нахождения нашей главной квартиры на Алминской позиции, было сделано распоряжение, для срочного сообщения с Севастополем — об отправке каждый вечер с позиции, в сопровождении жандарма, крытого татарского фургона, запряженного четверкою, который обыкновенно возвращался на другой день, утром. Так точно и 7-го сентября вечером, фургон с писарем князя Меншикова, Яковлевым, был, по обыкновению, отправлен в Севастополь. Этот Яковлев обладал дарованием, свойственным большинству наших полковых писарей, а именно: умел переписывать бумаги совершенно машинально, не понимая их содержания. Поэтому Яковлев в канцелярии светлейшего употреблялся обыкновенно для переписки секретных бумаг. Утром 8-го сентября, как раз во время дела, Яковлев со своим фургоном, по переезде реки Качи, каким-то образом наткнулся на неприятельский разъезд. Жандарм, сопутствовавший Яковлеву, выстрелил в нападающих, сам был ранен — и, вместе с фургоном и писарем, попал в плен. К счастью, в переписке, которую везли в захваченном фургоне, не было ничего такого важного, чем бы

неприятели могли воспользоваться. Опрашивая писаря, они, благодаря непонятливости переводчика, переименовали писаря в секретаря князя Меншикова, срочную переписку — в депеши, а самый фургон — в карету светлейшего.

Не придавая этой потере особенно важного значения, мы, в течение нескольких дней, совершенно о ней позабыли; но иностранные газеты вскоре протрубили, будто бы союзные войска завладели важными трофеями: секретарем князя Меншикова и его экипажем со всеми важными бумагами. Мы и не подозревали отчего сыр-бор горит, когда в Петербурге поднялась тревога по поводу этих газетных выдумок! Император в беспокойстве писал светлейшему, спрашивая разъяснения этого обстоятельства… Весьма многие и в Москве и в Петербурге видели в захвате фургона и писаря военную хитрость князя Меншикова: «в переписке-де нарочно положены были превратно составленные планы расположения войск и в таком же роде составленные предписания» и т. д. Другие обвиняли князя в оплошности…

Поставщиком фургонов при нашей главной квартире был татарин Темир-Хая. Материального вознаграждения за свой утраченный фургон он никогда не искал; за преданность же, бескорыстие и усердие к интересам царской службы, был впоследствии награжден государем, по личному ходатайству светлейшего, серебряною медалью с надписью: «за усердие», для ношения на шее на Станиславской ленте.

Возвращаюсь к дальнейшему рассказу о тяжелом дне 8-го сентября.

Светлейший, накануне расстроенный Кирьяковым, не надеясь на аванпосты, с 7-го на 8-е число провел бессонную ночь, наблюдая, с горы, за огнями неприятеля. Это его до крайности утомило; он смотрел в трубу, лежа на бурке, и сказал:

— Некстати нездоровится!..

Вдруг, вижу, бросил трубу, спросил лошадь и поскакал по направлению к левому флангу, проворчав как бы про себя: «посмотреть, что там наделал Кирьяков!»

После вчерашней проделки Кирьякова, светлейший уже сомневался в нём и лишь только что заметил не фальшивое движение неприятеля на левый фланг, как поспешил туда. За ним следовали, кроме меня: Кишинский, Сколков, Веригин, Грейг, Жолобов, Вунш, Комовский, Грот, Томилович, князь Владимир Александрович Меншиков, несколько казачьих юнкеров (Хомутов в их числе), человек 17 казаков, балаклавский грек и 4 крымских татарина, а сзади всех казаки, с заводными нашими лошадьми.

У левого фланга войск, помещенных в центре, Кирьяков встретил князя и поехал за ним. У того места, где Алма

пробирается возле очень крутых, почти непроходимых берегов, светлейший указал Кирьякову на важность отлогостей, находившихся в смежности с обрывами: Кирьяков, с самодовольным видом указал на подъемы, занятые ротами Московского полка, сказав с особенным выражением:

— Залегли, залегли!

Однако князь заметил ему, что они вовсе неудачно были размещены и наскоро приказал перевести их, прибавив, что у Кирьякова ничем не предупреждаются подъемы, есть мертвые пространства — почему, приказав спустить батальон, указал оному занять крайние к стороне моря виноградники на левом уберегу Алмы; части разбросать по подошве в закрытых местах. Затем, поднявшись на площадку горы, спросил у Кирьякова — «что у него у подъема»?

— Ракович! — отвечал тот с уверенностью.

Тут уже светлейший ничего не сказал, но, как стрела, поскакал к подъему. Еще не было видно 2-го батальона Минского полка (Раковича), как послышался батальный огонь и князь поручил Виктору Михайловичу Веригину привести к батальону Раковича остальные три батальона Минского полка. Проезжая далее, светлейший послал еще и меня за самым ближайшим батальоном, который мне попадется. Я скоро нашел батальон Московского полка, бывший в резерве; при нём оказался и полковой командир, генерал Куртьянов. Сообщив ему приказание князя, я просил спешить. Батальон тронулся, а командир полка, пешком, едва пошевеливался. Я поскакал обратно к светлейшему, но, оглянувшись, заметил, что колонна топчется, неся на брюхе своего генерала. Я не утерпел, воротился и просил Куртьянова не задерживать людей своей мешкотной походкой, заметив при этом, что впереди его есть уже батальон Минского полка в ротных колоннах и чтобы он, подходя, также перестроился, заняв места за минцами. После того я поскакал, крикнув людям, что бы они не мешкали, иначе минцы успеют отбить нападение и без них… Вдруг, сзади себя слышу сигнал: «застрельщики вперед». Это меня взбесило. Вторично повертываю лошадь и вижу, что генерал опять торчит во фронте, прикрываясь густой цепью стрелков. Что бы не терять времени, кричу ему издали:

— Что вы делаете?! Во второй линии вызываете застрельщиков?.. Уберите их!

Куртьянов, вместо того, приказал трубить: «резерв рассыпься».

Тут уж я налетел и, без церемонии, разогнав застрельщиков, повел батальон сам: при себе велел батальонному командиру разбить батальон на ротные колонны и, указав ему

соответствующие роты минцев, присоединился к светлейшему, который, отделясь от свиты, стоял один на кургане, впереди отряда. Пользуясь этим и моим отсутствием, казаки начали, один за другим, помаленьку исчезать, да так, что когда я подъехал доложить князю о прибытии батальона во вторую линию, то в свите его остался только один казак, Кузьма Кудрявцев, именно тот, которому я заранее навесил на шею сумку с картами и тем, как бы силою, привязал его к месту. Кроме этого казака, были тут еще урядник Чеботарев, грек Георгий Панаго и юнкер Хаперский.

Наступление наше только что тронулось, как первое неприятельское ядро, направленное на курган, просвистало над головой светлейшего. Затем огонь усилился: открылась канонада и с суши и с моря; а пуще всего — французские штуцера стали донимать нас немилосердно.

Батальный огонь, заслышанный нами до подъема на гору, был наш; князь, подскакав к батальону, приказал прекратить пальбу: пули не досягали. Затем, подведя батальон ближе, светлейший положил его за бугры в ожидании резерва.

Любопытно, каким образом Ракович очутился так далеко от подъема, по которому теперь, не видя препятствий, неприятель поднимался, доходя быстро и плотно. Случилось это вот почему: Ракович, находясь в наблюдательном положении и заметив намерения неприятеля, рано утром послал сказать Кирьякову, что ежели он, в случае натиска, рассчитывает на один его батальон, то ошибется, потому что он, Ракович, сознает себя слабым и просит прислать еще батальон и хоть два орудия. Кирьяков отвечал Раковичу, что он и своими штыками сбросит врага с кручи. Этим Ракович не успокоился; опять прислал серьезно просить о помощи, прибавив, что тут не худо было бы иметь весь Минский полк и целую батарею. Кирьяков не дал никакого ответа. Тогда Ракович в третий раз послал ему сказать, что ежели он не подкрепит его надлежащим образом, то он ограничится одним наблюдением, и, при появлении неприятеля, присоединится к общей боевой линии. Кирьяков отвечал, на этот раз, что вслед за посланным отправляет к Раковичу то, чего он требует; однако отправкою и не думал распорядиться, а Ракович, напрасно ожидая подкрепления, начал, наконец, принимать свои предосторожности. К самому моменту появления французов на горе, батальон был уже на таком расстоянии от неприятеля, что едва мог, в отдалении, разглядеть его… Но не утерпел и начал бойко палить, да так и катал до приезда князя.

Кирьяков, заметив, что дело неладно — удрал!.. я его встретил, ведя батальон Московского полка, одного в поле, едущего шагом. Узнав меня, он сконфузился и сказал:

— Еду отыскивать Минский полк… Он должен быть — там, — и Кирьяков указал в неопределенное пространство.

Я удивился и сказал ему:

— Поспешите, ваше превосходительство!

Наши наступали. Они шли, выбирая места, прикрываясь где было возможно небольшими отлогостями. В это время прискакала казачья батарея и поместилась между ротами. Несообразительные ротные командиры, толкаясь из стороны в сторону, никак не могли с должной скоростью открыть место артиллерии; особенно памятен мне один офицер, старый поляк: сидит во фронте и не дает роте двигаться… я был вынужден прогнать его за фронт. Он после прикинулся контуженным в ногу, скрылся — и, как говорил мне Ракович, во фронт более не показывался. Когда батарея открыла огонь, князь поехал шагом, за фронтом первой линии, к её левому флангу. Дорогой, наблюдая за направлением артиллерийского огня, светлейший заметил, что французы сильно обстреливают отлогую балку, тянущуюся от нашего левого к их правому флангу; мы, в ту минуту, в нее спускались. Подозвав Жолобова, князь, на ходу, отдал ему приказание привести два дивизиона гусар, направить их против правого фланга французов и при себе сбить их батарею с позиции. Не успел Жолобов на полу-лошади выехать вперед от князя, как ядро, пронизав ее, вырвало Жолобову поджилки правой ноги и контузило левую. Лошадь упала на левый бок и не дохнула; Жолобов, неведомо как, очутился на земле сидя, возле седла. Все проехали мимо. Я оглянулся на урядника и на грека; мы трое слезли… Лошадей отдать некому. Я подскочил к Жолобову, не замечая его раны, хотел предложить ему лошадь грека, но когда стал его поднимать, он показал мне ногу, говоря:

— Кажется, у меня тут что-то вырвало…

Я посмотрел, но, кроме изорванного белья и рейтуз, ничего не успел разглядеть. Надо было поторопиться оттащить его из-под ядер, которые то и дело сновали в этом месте. Насилу удалось нам поймать ехавшего мимо нас казака: ему отдали мы лошадей, побудив его к тому крепким словцом. Урядник заметил мне на это:

— Полно, ваше благородие! того гляди срежет и помрете с скверным словом на языке…

Слова эти показались мне весьма убедительными; поукротив свое красноречие, я стал помогать Жолобову. Мы потащили его, я за плечи… в нескольких шагах от раненого я поднял большой обрывок от сбруи его лошади, на случай надобности подвязать его ногу. Вынеся Жолобова с большим трудом из балки, мы положили его за бугор. Во всё время переноски страдалец ни

вздохом не выразил боли, но всё просил меня передать его последнюю просьбу светлейшему, чтобы он по возможности берег себя.

— Он мог бы, — говорил Жолобов, — как нибудь выбирать места побезопаснее, откуда, всё равно, можно видеть и распоряжаться.

Я обещал Жолобову; хотел уже ехать догонять князя, весьма за него беспокоясь, так как свита его значительно уменьшилась, — но Жолобов попросил взглянуть на его рану и распорядиться перевязкою. Увидев рану, я ужаснулся и, в то же время, подивился терпению раненого: она казалась как бы обожженной, крови не шло; Жолобов даже не изменялся в голосе.

Завидев вдалеке фуру, я послал за ней грека, но он не понял меня и понесся в большой обоз. Боясь потерять также и урядника, я поскакал к фуре сам, привел, уложил в нее Жолобова, причём он сам укладывал свою раненую ногу, обертывая ее полой своей шинели солдатского сукна. Потом он сам объяснил какой дорогой его везти; фура тронулась, сопровождаемая урядником, а я поскакал догонять князя. При расставании моем с Жолобовым, он, благодаря меня, не забыл и о распоряжении светлейшего касательно кавалерии: раненый говорил, что если бы я оставил его тут, то он был бы раздавлен конницей, которая из резерва должна была проскакать самым этим местом.

Так как светлейший ехал шагом, то мне удалось довольно скоро его настигнуть. Он остановился на левом фланге под страшным огнем, — подле него стояли казак с сумкой, Александр Дмитриевич Комовский и Грот[6], — и наблюдал за французской батареей, ожидая какое действие произведет на нее появление наших гусаров, за которыми, вместо Жолобова, послан был Грейг. Заметив, что французская батарея снимается, князь прежним путем направился к правому флангу отряда. Здесь к светлейшему подскакал гусарский офицер, с донесением, что лишь только гусары показались во фланге французов, как их батарея снялась.

— Я это видел, что она снялась, — отвечал светлейший, — повторяйте же атаки, не давайте им покоя!..

— Слушаюсь, — отвечал офицер и ускакал.

Но гусары и не думали делать ни одной атаки: не смотря на то, что батарея снялась, гусары, из опасения выказать себя неприятельским пароходам, укрылись за бугром, где и простояли всё время… французская же батарея, не видя опасности, заняла прежнюю свою позицию, и снова начала обстреливать балку. Между тем, подошел Минский полк, подъехали еще две батареи и «жарили» преисправно; казачья батарея, потерпевшая от огня, снялась и стала за бугром оправляться.

Следуя по линии за светлейшим, я просил его, не от себя, но от имени Жолобова, быть осторожнее; указывал на места, удобнейшие для проезда… но князь как бы не слыхал моих увещаний: безопасные места проезжал рысью, а где особенно была сильна пальба — там ехал шагом, спокойно наблюдая за тем, как ложились снаряды. В Жолобовской балке светлейший остановился, соображая: каким родом французы опять стали ее обстреливать? что же гусары?[7]. Никому в голову не могло прийти, что бы гусары или, вернее сказать, их командир могли сделать такую гадость.

Проезжая далее, светлейший останавливался за каждым нашим орудием, поверяя его направление, подвергаясь штуцерному огню и другим снарядам, направленным исключительно на батареи. Доехав до правого фланга отряда, князь, наблюдая с кургана заходом дела, убедился, что оно идет на лад: наши подаются вперед, артиллерия действует славно, французы заметно в нерешимости; ряды их редеют, так что мы, приблизясь еще немного, можем ударить и в штыки. Тогда светлейший потребовал Кирьякова с тем, чтобы, отдав ему окончательное приказание, самому поспешить по линии уже загоревшегося общего боя на позиции… но Кирьякова нигде не оказалось. Ожидая напрасно его прибытия, светлейший, обратясь к нам, заметил, что ему необходимо наблюдать за общим ходом сражения, а между тем он не видит ни одного генерала, которому мог бы поручить «покончить дело». Тогда я доложил, что видел Кирьякова в поле отыскивающего Минский полк, откуда его превосходительство еще не возвращался; что здесь есть один только генерал, Куртьянов, который стоит возле батальона своего полка. Князь, подозвав его, сказал:

— Генерал, я еду по линии общего боя к правому флангу позиции. Не вижу Кирьякова, чтобы оставить на него левый фланг: примите же вы начальство здесь и, продолжая наступление, выберите удобный момент для дружного удара в штыки… Дело здесь идет так хорошо, что момент этот должен наступить скоро.

Куртьянов отвечал обычным: «слушаю-с», а князь поскакал к правому флангу. Лошади наши стали уставать; не мешало бы переменить их, но я не знал, где были заводные. Принимая в соображение, что казаки очень осторожны, я боялся, не выбрали ли они такого безопасного места, что их и отыскать нельзя будет до окончания дела.

IV

Мы ехали по-над горой. Крутые её подъемы были частью заняты зуавами и их штуцерные пули пропускали нас как сквозь строй… Одна из них сорвала щиколотку у «Кабардинца» (лошади князя); Кабардинец присел на задние ноги, однако, оправился и продолжал идти шагом, не хромая. Вслед затем мы подъехали к двум батальонам Московского полка. Один из них, влево от нас, лежал на самом спуске горы, на выдавшемся мысе, стрелял и был наготове предупредить подъем неприятеля. Другой батальон стоял за первым в резерве, занимая небольшую лощину. Немного не доезжая до них, я заметил цепь зуавов, человек из двадцати, подымавшихся по крутизнам и стрелявших вверх: судя по направлению, которого они держались, я понял, что, поднявшись вверх, зуавы, совершенно неожиданно для себя, очутятся сзади лежащего батальона Московского полка и противу левого фланга батальона, находящегося в резерве. Я улыбнулся при мысли о том, как не по вкусу придется зуавам эта не совсем приятная для них встреча; но зная вместе с тем, что эта нечаянность может всполошить и наших, когда они в тылу у себя завидят удальцов в красных шароварах, я подъехал к командиру бывшего в резерве батальона и, указывая на то место, на которое взбирались зуавы, сказал ему, чтобы он со своей стороны принял меры, дабы французы внезапным своим появлением не переконфузили наших. При этом я предложил ему послать роту, которая, залегши за верхней точкой подъема, могла бы захватить сорванцов, попавших как кур во щи. Батальонный командир выразил живейшую готовность «обработать» зуавов; — я, чтобы побудить его к исполнению, спросил номер батальона и имя его командира, полагая в том для последнего побудительную меру. Батальон был, кажется, второй; имени командира теперь не припомню.

Впоследствии Ракович сообщил мне рассказ командира Минского полка Приходкина, служащий дополнением предыдущему. Отступая с левого фланга нашей позиции, Приходкин был удивлен бегством батальона Московского полка. Солдаты его, улепетывая в беспорядке куда глаза глядят, наткнулись на минцев и не только не остановились, увидя своих, но с усилием стали пробиваться сквозь ряды их. Приходкин, взбешенный дерзостью московцев, приказал своим выбить их прикладами. В это самое время наскакал на него удиравший во все лопатки штаб-офицер бежавшего батальона: пригнувшись на седле, он несся во весь дух, без оглядки!

Приходкин, без внимания к штаб-офицерскому чину наездника, схватил его за шиворот и отлупил его полоской своей полусабли. Ординарец Приходкина, молодой офицер, полагая, что его полковник ошибается в личности того, кого так усердно угощает фухтелями, сказал ему с беспокойством:

— Полковник, ведь это майор!!

— А сойдет за горниста! — отвечал Приходкин, выпуская наконец свою жертву и крикнув майору в след: — пошел! догоняй своих беглецов, да приведи их в порядок, бездельник!

Продолжая наш путь со светлейшим, мы встретили волынцев, расположенных в резервном порядке. Князь сказал им приветствие, получив в ответ удалые возгласы. Далее, за волынцами, на самом обрыве горы, стояла батарейная батарея. Снятая с передков, она палила по французским стрелкам, большая часть которых была в мертвом пространстве. Заметив бесполезное, глупое назначение батареи, светлейший спросил — кто ее тут поставил? — ответ был: «Кирьяков». Тогда же встретилась нам на пути еще казачья батарейная батарея, которая, именем Кирьякова, шла, сама не зная куда, и искала этого генерала. Некоторые отозвались, что он скоро должен попасться нам — и в самом деле, проехав несколько, мы увидели Кирьякова на дороге пешком; подле него лошадь и ординарец-офицер. Такое странное местонахождение командующего половиной боевой линии, в самый разгар дела, всех нас крайне удивило. Подъехав к нему, светлейший сказал:

— Генерал, где я вас вижу?! Вы так далеко от вашего места… я искал вас, чтобы поручить вам кончить на левом фланге, но вас не оказалось. Я оставил там генерала, которого совсем не знаю, он как-то и не весело смотрит… поезжайте поскорее туда: атакуйте, преследуйте французов; а мне надо видеть поближе, что делается у князя Горчакова.

— Ах, ваша светлость, — отвечал сконфуженный Кирьяков, — я был здесь… тут такое происходило, что у меня убили лошадь!.. вот она!..

Я действительно узнал убитую лошадь генерала, распростертую на земле, саженях во ста от нас.

— Но подле вас другая! — возразил светлейший, — садитесь и скорее поезжайте в свое место.

Впоследствии оказалось, что Кирьякова никто и не видел там, куда его посылал князь, едучи далее, узнав от встречного казака, что наши заводные лошади в обозе, обоз — возле, я предложил его светлости пересесть на свежую лошадь, так как раненый «Кабардинец» крепко изнурился. Подъехав к обозу, который оказался почти на пути нашем, светлейший очень удивился,

найдя его под неприятельским огнем. Около обоза лопались бомбы, долетавшие с моря и жужжали штуцерные пули: одна из них при наших глазах навылет пронзила конвойного из пограничной стражи.

Причиною задержки обоза на этом месте был приезд верхом флигель-адъютанта, Ивана Григорьевича Сколкова, с раздробленной правой рукой. Ему тут же на лугу доктор Таубе делал ампутацию; помню с каким геройским терпением переносил Сколков жестокую боль: ни стона, ни вздоха. Будучи ранен, Иван Григорьевич спокойно поручил другому передать приказание, которое вез; встретив меня, попросил уладить ему поводья и уложить больную руку на здоровую, и поехал, как ни в чём не бывало.

Пересев на другую лошадь и выпив стакан воды с вином, князь приказал обозу отъезжать далее, назад, а сам понесся напрямик, к центру дела. Его настиг саперный офицер Дьяченко с донесением, что подпиленный им мост чрез Алму рухнул под переправлявшимися англичанами; многих перебило и передавило; озадаченные неприятели по обломкам моста упрямо лезут, не замечая брода, и так много теряют от нашего артиллерийского огня, что река в том месте загружена трупами.

Спустившись с горы около Севастопольской дороги, мы увидели вправо от неё, вышедшую из боя, оправлявшуюся батарею и морской батальон, который, от навесно-долетавших штуцерных пуль, не мог даже укрыться за высотой, выбранной для его прикрытия. По подгорью валялись убитые, ползали раненые; всё направление усеяно было ретировавшимися поодиночке егерями Казанского полка: между ними были раненые, оцарапнутые, относящие и провожающие раненых… вообще — картина плачевная! Всё это тянулось от места жаркого батального огня. Светлейший направил своего коня на ту высоту, которая лежала справа от страшной свалки. Тут я заметил ясно, что второй и третьей линий нашего боевого расположения не оставалось и следов: пространство от места боя до горы было пусто… И куда всё подевалось? спросить было не с кого. Высота, на которую мы с князем вскочили, была перед боем местом ставки светлейшего… Теперь штуцерные пули тут просто одолевали. Надобно полагать, что англичане, не теряя времени, из задних рядов палили вверх. Здесь наши четыре легкие орудия, лишь только подъехал князь, неведомо зачем снялись с позиции. Светлейший спросил офицера: кто ему велел сниматься? Тот отвечал что-то неудовлетворительное и заключил командою: «с передков!» В прикрытии у орудий, если не ошибаюсь, было что-то около батальона; не помню только — какого полка.

Взглянув с горы на место жаркого боя, я увидел, что враги почти в упор друг другу палят самым частым батальным огнем. Легко может быть, что к нам, на гору, достигали пули от неприятелей, которые стреляли — лишь бы только выпалить куда ни попало и чем чаще, тем лучше… Поэтому у них пули вылетали ранее нежели они успевали приложиться — и, разумеется, летели вверх. Наших видна была только горсть солдат Владимирского полка: стреляя, она, однако, еще подавалась вперед; но неприятель, переправясь большими массами, напирал густо, донимая наших штуцерным огнем.

Прежде мы всё надеялись на штыки; теперь увидели, что огонь англичан решительно не допускал до удара. Наши брали на руку несколько раз… но перебежать пространство, нас разделявшее, как оно ни было мало, не удалось. Лишь наши умолкнут, бросятся в штыки, неприятель отступит и удвоит огонь; тогда владимирцы спешат опять открыть огонь, и опять!.. Владимирцы сделали больше чем могли, но удержать напор неприятеля нельзя было и думать.

Ежели бы даже нашим удалось оттеснить передовых — и то было бы бесполезно, потому что храбрых владимирцев поддержать было некому: наших задних линий уже не существовало: они, как я уже сказал, исчезли, а у англичан сзади была туча несметная. Чтобы доискаться — куда исчезли с позиции войска и, по возможности, найти средство поддержать владимирцев, светлейший, спускаясь с горы, послал приказание Бородинскому полку, который был виден в полу-горе, по правую сторону Севастопольской дороги. В это время мы заметили, что снаряды стали ложиться со стороны нашего резерва и штуцерные пули засновали оттуда же… Вунша контузили в живот; затем у В. М. Веригина ранили лошадь.

Первой нашей мыслью было — не свои ли нас потчуют? Взглянув вверх, мы увидели, что противу нас, по горе, рассыпаны стрелки Бородинского полка; левее их, за оврагами и гораздо выше — батарея, оказавшаяся потом неприятельскою. Опустясь к самой подошве горы, около того места, где стоял морской батальон, князь приостановился; я же, соскочив с лошади, хотел рассмотреть, что это была за батарея. Едва я раздвинул трубу, как светлейший тронулся навстречу направленного на нас огня и я поспешил прекратить обсервацию, опасаясь потерять из виду начальника. Подъехав к Бородинскому полку, его светлость заметил командиру, что его стрелки палят по своим; но полковник Шалюта-Веревкин отвечал с уверенностью, что огонь его штуцерных направлен против неприятельской конницы, которая строилась, переправясь в это время через Алму. Этим

объяснялось, что пули, летевшие в нас через головы бородинцев, были с неприятельской батареи. «Неужели наш левый фланг отступил?» произнес князь и возвратился на высоту, с которой удобнее было определить момент сражения.

Не успел светлейший подняться на гору, как к нему подъехал князь П. Д. Горчаков — доложить, что Казанский егерский полк весь рассыпался, что он сам, лично, несколько раз порывался вести его в штыки, но люди решительно не пошли: не подействовали на них ни угрозы, ни плеть, ни фухтеля.

— Плеть избил, — говорил князь Горчаков, — полусаблю сломал, двух лошадей потерял… всю шинель мне пулями изрешетили — всё напрасно! Полк разбрелся, потеряв при отступлении более двух третей — пораженных в спины!!

Был четвертый час пополудни. Светлейший приказал князю Горчакову выводить владимирцев, прибавив, что другие уже ранее сами о себе позаботились. Мне кажется, что после этого остальная горсть Владимирского полка уже не поспела присоединиться к своим, потому что все наши войска уже спешили с поля… Сзади всех медленно и грустно ехал светлейший. Владимирцев я более не видал… Бородинцы тянулись в гору, по удобопроходимой балке, густой четырехбатальонной колонной. Увидев это, князь, подскакав к Шалюте-Веревкину, заметил, что не следует вести в «ящике» (как он назвал балку) такую массу людей открытою на жертву неприятельскому огню, и приказал ему скорее занять высоты. Как бы в подтверждение слов светлейшего, неприятельское ядро влепилось в хвост колонны. Шалюта, догнав меня, спросил: что значит занять высоты? Я отвечал ему, что, в данном случае, полку следует двигаться по тому месту, по которому он едет сам, т. е. по берегам балки.

— Но, помилуйте, — возразил он, — как же я теперь перестроюсь?

И это говорил старый полковник, отличнейший фронтовик.

Я должен был растолковать Шалюте, что ежели он скомандует, например: «четные батальоны направо, нечетные налево», то солдаты, легко поднявшись на отлогие возвышенности балки, укроются от глаз неприятеля.

Совершенно поднявшись на гору, по левую сторону Севастопольской дороги, на площади у подъемов от правого фланга нашей позиции, увидели мы большую толпу егерей, в крайне затруднительном положении: люди метались из стороны в сторону, всячески виляли от снарядов, через них перелетавших. Подъехав к ним, мы узнали Углицкий полк. Он не понес, кажется, потерь, но мы не могли толком добиться, где начальники угличан

и кто их ведет? Никто не отозвался, хотя по флангам и виднелись офицеры, но они были совершенно безгласны; большая часть из них прилегли; светлейший скомандовал им: «на свои места!..» Никакого действия. «Стройся!..» Они не понимают команды. «Стой!» Офицеры ни с места.

Потеряв всякое терпение, я заскакал в ту сторону, куда тянулись егеря, и, крича во всё горло, остановил их, поставил четыре знамени в резервный порядок, и погнал людей нагайкой к своим знаменам, а офицеров толкал, чуть не по шеям, чтобы скорее рассчитывали ряды. Когда они несколько поопомнились, светлейший поехал по рядам, ободряя солдат. При этом, один ротный командир указал на рядового, который, будучи ранен в ухо, никак не хотел выйти из фронта. Князь с большим чувством благодарил его, заметив при этом, что ежели бы сегодня у него было побольше таких молодцов в строю, так дело не было бы проиграно. Отыскав залегшую в овражке музыку Углицкого полка, я спросил у его светлости разрешения — играть музыкантам для ободрения егерей. Скомандовали: «марш!» музыка грянула и дело пошло на лад.

Наблюдавший за нашим отступлением неприятель, видя строй этого полка и услыша торжественную музыку, приписал это тому, что якобы мы отступали под прикрытием нашего северного укрепления, а оно было от Алмы в 30-ти верстах, за двумя реками и четырьмя горами.

Когда полк тронулся, мы, оглянувшись во все стороны, заметили вдали, на месте наших резервов, линию развернутых войск в значительной массе. Трудно было допустить, что бы это были французы… Оказалось, что это они! Чтобы рассеять всякие сомнения, казак Илия Сякин, Попова полка, вызвался подскакать поближе. Вернулся минуты через две, в продолжение которых успел уже с убитого француза стащить красные штаны и седло со своей лошади… «Французы! — крикнул он, — убили лошадь»!

Тут мы убедились окончательно, что вся наша позиция была занята союзниками. Мы могли очень явственно рассмотреть, как по Севастопольской дороге, с Алмы, поднялась на гору английская кавалерия и наблюдала за нашим отступлением, которое французы провожали ядрами и гранатами. Отвернувшись от неприятеля, князь проговорил: «Первое дал сражение — и проиграл! Обидно!..»

V

Тяжело было настроение князя: он сознавал безвыходное положение предводителя войск, столь мало знакомых с войною. Потерять сражение, — со смешанными, сборными частями войск, — было нетрудно, но нелегко было придумать средства, как выйти из этого непостижимо тяжкого положения. Где войска, и что, и как? — нам не было известно… они разбрелись. По счастью, в эти минуты, в уме князя уже слагался план дальнейших действий. Видя, что на силу надеяться нечего и лучше употребить хитрость, он ехал молча и крепко задумавшись. Раз только спросил меня: «известна ли мне дорога на Мекензиеву гору и что там за лес?»

Проехав под музыку около версты, мы спустились в лощину, в которой нашли в развернутом фронте бригаду гусар; командир Лейхтенбергского полка Халецкий, завидев князя, скомандовал: «сабли вон!» Бригада дернула: «ура!» Халецкий с азартом подскакал к светлейшему, отрапортовал ему и готовился поздравить с победой! Каков генерал? Он участвовал в Алминском деле: стоял-де на позиции и заключил, что войска наши, истребив неприятеля, шли праздновать победу в Севастополь. Неуместное «ура!» до того всех нас озадачило, что мы и не знали, что подумать; ждали объяснения от Халецкого, лицо которого сияло торжеством и самодовольствием. Светлейший предупредил его:

— Генерал, это похоже на насмешку!

Князь произнес эти слова таким грустным тоном, что наш Халецкий что-то такое промычал, а лицо его приняло такое испуганное, вопрошающее выражение, что, глядя на него, нам стало и смешно и жалко.

Призвав бригадного командира, генерал-майора Величко, светлейший сказал ему.

— Войска отступают в беспорядке; прикройте это отступление: из лощины подайтесь к стороне неприятеля настолько, чтобы он вас видел. Я весь отряд переведу за Качу, а вы останетесь на этой стороне прикрывать наш ночлег. Казаков присоедините к себе, делайте разъезды, не выпускайте неприятеля из виду; доносите мне что он будет делать.

Потом, верстах в пяти от гусар, нашли мы два полка пехоты и при них Кирьякова. Он доложил князю, что эти полки остались свежими и готовы прикрывать отступление. Князь приказал ему соединиться с гусарами, взять в распоряжение казачьи полки, обещая прислать еще батарею — и с этим отрядом строго

наблюдать за неприятелем; в случае движения его на нас — держаться до последней крайности. При этом князь заметил, что Кирьякову известно в каком беспорядке остальные войска, которым еще надо, переправясь через Качу, расположиться на высотах левого берега. Переправа и ночлег нашего расстроенного войска должны, разумеется, быть совершенно обеспечены присутствием надежного отряда на пространстве между Алмой и Качей.

Кирьяков, казалось, хорошо понял свое назначение: тронулся с бригадой вперед к стороне неприятеля; мы же, встретив тут адмирала Корнилова и Тотлебена, направились с ними к переправе и в сумерки достигли высот правого берега Качи. Немало удивило нас совершенное отсутствие и признаков существования войск, и куда они подевались? Неизвестно… Подъехав к спуску, в долине реки увидели безобразнейшую картину: здесь царили полнейшие безначалие и беспечность; сюда удрали наши молодцы и — веселехоньки; изволят забавляться: стреляют, без стыда, испуганных зайцев.

Легко вообразить наше недоумение, когда, подходя к Каче, мы, в сумерки, заслышали перестрелку; она подала нам повод предполагать не выбросили ли союзники к устью реки какого нибудь отряда… Ничуть не бывало! Это наши солдатики, от скуки, на зайцев охотиться вздумали и удержать их было некому. Между тем, артиллерия и обозы стояли на дороге, сохраняя в этом хаосе возможный порядок. Указав на все переправы, светлейший приказал обозам, а за ними и артиллерии — трогаться. Не так легко было отдать приказание пехоте; начальства не существовало: выбывших из фронта офицеров не заменили еще другими, а оставшиеся притаились… Солдатики горланили, бродили и мародерничали по хуторам и жильям, покинутым их хозяевами и татарами. Впечатление, произведенное на меня этим несчастным днем, было до того возмутительно, что даже масса раненых, стянувшаяся к этому времени на Качу, не возбудила во мне присущего сердцу новичка чувства сострадания, хотя положение страдальцев, за недостатком средств к помощи, было ужасно… Напротив, в сердце моем я чувствовал какое-то ожесточение. Стоны, вопли и кровь, раздражая меня, придавали особенно мрачное расположение духу. Не я один был в таком дурном настроении: Корнилов, не участвовавший в деле, видя только плачевные его последствия, очень сухо и холодно смотрел на страдания увечных, а причитания их (наш родной способ выражать свое горе) были ему несносны; он стыдил голосивших, проезжая мимо их… Тоже делали и прочие лица, бывшие в свите князя. Только он

один, более всех нас снисходительный к слабостям человека, ехал молча, грустно всматриваясь в раненых и один только раз сказал Корнилову:

— И всё-то — в спины!!

К слову о раненых замечу: всего страннее было то, что их товарищи, так охотно выносившие и выводившие раненых из-под огня, бросали их по большей части там, где сами не могли поспевать за ретирадой. Вообще видимо было в нижних чинах непонятное для меня хладнокровие к утратам; их не смущали — ни потеря сражения, ни беспорядочное отступление в виду неприятеля; к самому занятию союзниками нашей крепкой позиции солдаты относились с совершенным равнодушием. Это происходило, как я полагаю, оттого, что они не сознавали ни важности проигрыша сражения, ни еще того важнейших его последствий.

Спустившись на Качу, светлейший направился правым берегом вверх по реке, для обозрения; потом он переправился выше всех наших войск и поехал левым берегом вниз; меня же послал на высоту занять место для расположения штаба. Отыскивая обоз, я немного промедлил и уже не встретил князя, а, спустившись в другом месте, съехался с ним на подъеме по большой чумацкой дороге. На вершине горы князь свернул направо, на первую площадку, чтобы, отдав приказания Корнилову и Тотлебену, распроститься с ним и скорее отправить адъютанта своего С. А. Грейга с донесением к Государю Императору. Он приказал Грейгу спешить в Севастополь, оттуда, получив подорожную, скакать в Петербург.

— Что прикажете сказать Его Величеству? — спросил Грейг.

— Скажи всё, что ты видел и слышал, — отвечал светлейший, — всё, по чистой справедливости. Писать же, ты видишь сам, и средств никаких нет и это отняло бы слишком много времени.[8]

Грейг, Корнилов и Тотлебен поехали в Севастополь вместе. Проводив Грейга, светлейший, в ожидании обоза, опустился в полулежачем положении на землю. Между тем, мы собрали около него сухой травы перекати-поле, и зажгли ее, чтобы хоть сколько нибудь осветить место. Смерклось так, что в двух шагах не было видно человека. Место остановки князя было не то, которое я занял для штаба и куда велел следовать обозу. Светлейший, с огарком свечи в руке, занялся рассматриванием карты и не ехал далее; почему я послал казака отыскивать обоз, который, придя на указанное ему место и не найдя там никого, машинально направлялся на разведенный нами огонь. Я, конечно, был всех более рад прибытию обоза, так как оно возложено было на мою

ответственность. Покуда я не заслышал голоса офицера, провожавшего обоз, я был как на иголках. Светлейшему необходим был отдых, ему еще предстояло заняться соображением, для выяснения себе положения армии, и изысканием исхода из оного. С пяти часов утра у светлейшего не было во рту ни крохи: надобно же было ему подкрепиться. Что бы мог я делать без обоза? Отворотясь от огня, я таращил глаза в непроглядную темень, что было мочи — напрягал слух… Боялся, чтобы обоз наш не прошел по подъему горы мимо, затянутый прочими обозами. В этом томительном ожидании провел я более часу, удивляясь необыкновенному терпению светлейшего: не слыхал я от него ни единой жалобы и в голосе его звучало обычное спокойствие. Князь вмешивался в разговоры окружавших и, казалось, хоть на минуту хотел забыть свое положение и сколько нибудь отдохнуть нравственно…

Наконец, слава Богу, обоз прибыл: с него сняли 8 человек раненых солдат, поднятых им кой-где по дороге. Мы наскоро разбили крохотную подручную палатку, постлали в ней кусок кожи, зажгли свечи, и князь, разложив карты, углубился в свои стратегические соображения.

Этим временем камердинер (он же и фельдшер) его светлости, Разуваев, успел на спирту согреть воду на стакан чаю, для князя. Подавая его светлейшему, он сказал:

— Хорошо, что я, на всякий случай, приберег бутылку воды; а то всё, что имели в запасных бочонках, роздали по дороге раненым… да еще и с собой их, восемь человек, привезли!

— Как же, братец, ты мне не скажешь? — быстро отвечал светлейший. — Иди скорей, перевяжи и отправь их в Севастополь в наших экипажах.

И князь остался в палатке совершенно один, покуда камердинер не управился с ранеными. Остальная прислуга была пьяна.

Распорядившись привозом воды, бывшей от нас версты за три, и добычею фуража, послав за ним за шесть верст, я разместил лошадей по коновязям, а сам присел у палаточки князя, чтобы быть под рукой, ежели ему что понадобится, так как тут никого не было, кроме часового — сапера. Замечу кстати, что на Алминской позиции у князя были постоянно часовые от роты сапер: стояли они в одних портупеях и фуражках. Этот караул, из ефрейтора и трех рядовых, сначала сменялся ежедневно, потом светлейший, узнав от них, что они желают оставаться бессменно, так как их прекрасно кормят и поят чаем, согласился не сменять сапер и приказал прикомандировать этот маленький ефрейторский караул к своей квартире. Он пришел с князем и в

Симферополь и оставался здесь до выезда его светлости из Крыма.

Я стоял шагах в двадцати от палатки князя и смотрел во мрак степи… Вдруг, подле себя, слышу его голос:

— Это ты, Аркадий Александрович?

— Я, ваша светлость.

Князь, постояв, осмотрелся, потом произнес:

— Как ты думаешь поставить войска? Фронтом ли к морю, с тем, чтобы быть во фланге у неприятеля, когда он тронется к Севастополю, или лицом к неприятелю, чтобы еще хоть немного выиграть время, задержав его в движении? Сражения я дать не могу… Войска наши в ужасном перепуге и беспорядке.

От слов князя, произнесенных ровным голосом человека озабоченного, но чуждого страха, у меня мороз пробежал по коже. Стараясь рассеять недоверие светлейшего к войскам, я приписывал их смятение неприятельским штуцерам; обнадеживал князя тем, что если мы, на ровном месте, собрав все наши наличные силы, ударим сколь возможно стремительнее, не дав неприятелю возможности воспользоваться превосходством своего оружия, то, может быть, мы с ним еще и управимся. Я не терял веры в наши войска и никак не хотел согласиться, чтобы один наш солдат не осилил по крайней мере трех неприятельских… Общий недостаток нашей тогдашней слепой самоуверенности! Помолчав немного, князь сказал:

— Я думаю, завтра они сами не в силах будут тронуться с места. Мы этим воспользуемся.

И он ушел в палатку; сел на землю с картой в руках, и почтенная его фигура обрисовывалась тенью на парусинных стенах палатки. Я остался на прежнем месте, прислушиваясь к гулу движения войск, тянувшихся от перевоза по дороге мимо нас. Раненые, стоны которых надрывали душу, то и дело сворачивали к нашему костру, около которого нарочно для них была поставлена вода: единственное пособие, которое мы могли предложить им в эти жестокие минуты! Иных средств к помощи у нас решительно уже никаких не было; всё, на чём только было возможно перевезти или перенести раненых — было занято… их же было так много, что каждый раненый, державшийся на ногах, должен был идти один, или плестись поддерживаемый товарищами.

Погруженный в грустные думы о несчастных следствиях войны, я только что хотел для отдыха прилечь на пригорок, как слышу голос Кирьякова:

— Где светлейший?

Я подошел к нему и указал на палатку князя. Меня

встревожило внезапное появление командующего отрядом, назначенным для прикрытия отступления и переправы, в таком отдалении от своей части и в то самое время, когда переправа еще не была окончена.

Кирьяков, просунув голову в отверстие палатки, сказал:

— Ваша светлость, я благополучно довел людей до Качи: теперь там всё переправляется!

Невежество генерал-лейтенанта поразило светлейшего.

— Помилуйте, ваше превосходительство, — воскликнул он, — что же вы делаете!? Вы приехали мне доложить, как будто окончили возложенное на вас поручение, тогда как вы только дошли до самого серьезного его момента и вообразили, что вами всё исполнено. Вы покинули отряд в самую неблагоприятную для него минуту… Поспешите возвратиться к вашему месту и будьте осмотрительны: незначительный неприятельский разъезд может наделать вам страшной тревоги… Поезжайте, поезжайте скорее!

Кирьяков поехал… только не туда, куда ему следовало: он отправился ужинать в севастопольский клуб (15 верст от Качи). Мог ли кто ожидать подобного поступка от генерала уже пожилых лет? Он явился в клуб в то время, когда там в сильном беспокойстве собрались почти все моряки и рассуждали о нашем положении. Кирьяков, зная обычай моряков, предвидел это сборище и спешил предупредить невыгодные о себе толки по поводу Алминского сражения. Из участников в этом деле он явился в Севастополь первым и, понятно, речь была за ним. Грейга никто не успел видеть: он был в Севастополе на одну минуту. Кирьяков с нахальством и самоуверенностью вошел в клуб, думая появлением своим произвести эффект; на этот раз, однако, ему не удалось; все были только удивлены его появлением. Общее мнение было таково: как может командующий большей половиной отряда быть так далеко от своего поста в такую священную минуту для войска! Генерал пустился рассказывать о своих подвигах, будто бы об ошибках князя, о Горчакове… но все эти россказни никого не расположили к пользу хвастуна. С этой минуты он был понят и на всё время обороны окончательно пал во мнении севастопольцев. Даже дамы, еще недавно видевшие в Кирьякове героя, их будущего спасителя, разочаровались в генерале. Когда Кирьяков возвратился к своим войскам? Этого с достоверностью я сказать не могу.

VI

Проводив Кирьякова от палатки светлейшего, я присел близ неё на вещах, выложенных из тех повозок на которых повезли раненых. Я душевно страдал за князя; он и не думал об отдыхе, ему необходимом, и я боялся, что бы он не свалился. Еще утром этого дня светлейший был так слаб, что даже лежа смотрел в трубу на движения неприятеля…

Вдруг он кликнул меня и спросил:

— Знаешь ли ты дорогу, которая идет от Севастополя мимо Кадыкьоя на Мекензиев хутор, в Бахчисарай?

— Нет, ваша светлость; я знаю только её малую часть, но могу представить вам сведущего человека.

Я привел к нему, в ту же минуту, из своей команды унтер-офицера Балаклавского греческого батальона, Георгия Панаго. Он объяснил князю все особенности этой дороги и тогда-то было решено светлейшим наше достопамятное фланговое движение.

Князь до свету просидел, не прислонив головы, над картою; я же дремал на клади, выгруженной из подвод. Едва забрезжилось утро 9-го сентября, как он спросил лошадь, сел и поскакал к войскам, не заботясь о том, следует ли кто за ним, или нет. Обязанный приводить в порядок наш обоз и лошадей, я не мог тотчас ему сопутствовать; надеялся его догнать, но не тут-то было! Управясь с делами, я поскакал по следам князя и приехал на северную сторону Севастополя, к батарее № 4-й, — один; светлейшего еще не было. Меня это страшно мучило: «как, — думаю, — он без меня, и где он?» ехать отыскивать его боялся, чтобы не разъехаться. Этим временем князь пропускал мимо себя войска, тянувшиеся к Инкерманскому мосту для перехода на южную сторону Севастополя. Сам светлейший достиг до Мекензиевой горы, осмотрел часть леса, ее покрывающего, потом объехал войска, оставленные на северной стороне, в гарнизоне тамошнего укрепления. Когда он слез с лошади, вид его был утомленный, измученный, но спокойный. Тут он сказал мне, что лес в стороне Мекензиева хутора очень неудобен для движения, хотя дорога хороша. Потом приказал подать себе бриться и переодеться, мне же велел скорее переправлять всё на ту сторону; в особенности наблюсти, что бы артиллерию удобнее устанавливали на пароходы; для себя назначил приготовить катер. Не прошло и получаса, как он отправился на ту сторону, а я занялся установкою артиллерии; обоз отправил я кругом на Инкерманский мост, по саперной дороге, в Севастополь. К четырем часам вся артиллерия переправилась; перевезли частные

и офицерские обозы и раненых, которые помаленьку подходили да подходили; за ними перебрался я и затем доложил светлейшему об успехе переправы.

Когда я устанавливал последние орудия на пароход, артиллерийская лошадь с оторванной челюстью притащилась к переправе; она от самой Алмы шла за нами, помахивая головой и неся на себе казенную сбрую, как бы в сдачу. Сбрую тут же с неё сняли, погладили, пожалели; она отошла на бугорок, постояла, постояла, ткнулась головой в землю, кувырнулась через шею и — дух вон; артиллеристы по ней вздохнули, как по товарищу.

Узнав, что лошадь эта была из батареи Хлапонина, я вспомнил, что 5-я легкая действовала на левом фланге боя и значительно пострадала: войска отступили, и она осталась без прикрытия, но продолжала палить до последнего снаряда, удерживая натиск французов. Множество людей и лошадей потеряла она и ей трудно было сняться; однако для семи орудий, по две лошади на каждое, и по одной для ящиков — таки набрали; но так как батарея была 9-ти орудийная, то два орудия остались только при трех артиллеристах и их приходилось бросить, о чём начальник артиллерии, генерал Кишинский, уже и доложил князю.

Хлапонин, отправив батарею, остался сам при этих двух орудиях и пробовал вчетвером тащить их на себе; но было не под силу: двинут то одно орудие, то другое, а далеко уйти не могут. Кругом всё пусто, а неприятель надвигается, помощи взять не откуда; показались в стороне веймарские гусары — Хлапонин бежит туда, просит пособить увезти или прикрыть эти два орудия, но гусары затруднились впрягать верховых лошадей, и пошли своей дорогой.

Делать было нечего; одному из прислуги, канониру Егорову, удалось уговорить товарищей тащить всё-таки орудия на себе, насколько будут в силах: «умрем, мол, братцы, если придется, а орудий не оставим». Молодцы уже выбивались из сил, когда, по счастью, удалой фельдфебель Кикавский, раздобывшись тремя лошадьми, прискакал: и орудия спасли, и батарейный командир имел на чём догнать батарею. Егоров получил георгиевский крест и впоследствии, в гвардии, был удостоен Высочайшего внимания.

Князь Меншиков, конечно, не сообщал мне плана действий, им составленного; но я передаю его, насколько мог понять, сообразуясь с распоряжениями светлейшего.

Относительно действующего отряда и Севастополя, неприятель находился в таком расположении, что легко мог отрезать нам сообщение с остальною частью Крыма, а с тем вместе и с Россиею; блокадой он мог вынудить нас к сдаче. Чтобы

предупредить нашу гибель, князь спешил отвлечь внимание союзников от Симферополя и от путей сообщения нашего с Россиею, стараясь привлечь всё внимание и все силы неприятеля на Севастополь: он верно рассчитывал при этом, что союзники, ослепленные удачею на Алме, ринутся к Севастополю, чтобы войти в город, так сказать, по пятам нашего отступления. Для этого светлейший показал им вид, что, не будучи в силах принять другого сражения, он спешит укрыться за севастопольскими стенами. Неприятель, надвигаясь к укреплениям северной стороны, стянет здесь все свои силы; но так как здесь встретит, кроме укреплений — бухту, с кораблями на позиции, то, конечно, не сможет разом овладеть городом. Тогда-то князь с действующим отрядом (который союзники, весьма естественно, могут принять за вновь прибывший) явится у неприятеля в тылу и на пути сообщения нашего с Россиею. Очутившись между двух огней, враги увидят, что в таком положении атаковать Севастополь невозможно: для этого им должно предварительно разбить отряд, угрожающий им с тыла. Он же, и не принимая боя, может оттянуть их от моря — единственного их ресурса. Если же отряд примет бой, то новые утраты в неприятельских войсках могут еще значительно его ослабить. Недоумение, в которое будут поставлены союзники этим маневром, вынудит их изыскивать иной исход… Тогда князь, оставив им свободный путь на южную сторону Севастополя, наведет их на мысль перенести сюда свою атаку, чему они второпях легко поддадутся: сунутся на открытый им путь, а князь, заступая оставленные неприятелями места, запрет их на южной стороне; пользуясь сам свободным сообщением с Россиею, оставит неприятелю самый тесный круг действий. Сверх того, на южной стороне враги почти не найдут ни воды, для питья, ни лесу для топлива и осадных работ.

Для приведения плана своего в исполнение, 9-го числа сентября, князь действительно втянул наши войска в Севастополь, где приказал им запасаться зарядами и провиантом. Неприятель, которому легко было наблюдать за нашим движением (что он, вероятно, и делал), должен был заключить о намерении нашем ожидать его в Севастополе, как и желательно было. При этом, он преувеличил в мнении своем значение наших укреплений, воображая, вероятно, что мы возлагаем большие надежды на наши стены, а потому засели за ними.

Не сообщая никому общего плана своих действий из опасения шпионства, которое чрез татар союзники легко, могли устроить в нашей армии, князь вводил в заблуждение всех тех, которым, собственно, и не было надобности знать истину. Все наши войска рассчитывали защищаться в стенах.

Таким образом, в городе кипела усиленная деятельность: действующий отряд занимался своими приготовлениями; гарнизон суетился сам по себе — строил, копал, возил, таскал. Моряки, по своей части, давно были готовы, но большая их часть была снята с судов для усиления гарнизона; некоторые экипажи в полном своем составе были на берегу и ворочали громадами; быстро воздвигали насыпи; безостановочно вооружали укрепления и тащили с флота в Севастополь всё, что только могло служить к защите города и к нанесению вреда неприятелю. Тем более чести морякам, что подобная работа была им весьма не по нутру. На сходке, вечером 8-го сентября, моряки решили было идти громить во много раз сильнейший неприятельский флот, навредить ему насколько это было бы возможно, и, затем — умереть самим, со славою погибнуть в море, но не видать торжества врагов над Севастополем — родным гнездом Черноморского флота! Горячим поборником этого отважного решения был Корнилов. — И так, весь флот — от адмирала до последнего матроса — готовился умирать, и утром 9-го сентября офицеры-моряки написали письма к императору, в которых каждый просил государя о том, что оставлял священного после себя… Светлейший рассеял это отчаянное настроение моряков, возбудив их к новой деятельности — на сухом пути. Корнилов восставал против этого, но князь убедил адмирала, растолковав ему, что в смерти нет никакой доблести, если она приносит государству более вреда чем пользы.

— Ежели же придется умирать, — заключил светлейший, — то не лучше ли тогда, когда будут истощены все средства к защите, от чего мы еще далеки. Геройскую решимость честных моряков я постараюсь употребить с большею пользою на защиту Севастополя…

Корнилов не сразу уступил увещаниям князя.

— Неужели же флот, — возразил он, — на который употреблено столько материальных средств, употреблялось столько небесполезных усилий — вы не допустите к действию в то самое мгновение, когда ему представляется случай явить свою мощь, покрыть бессмертною славою свой флаг? Мы погибнем, правда; но страшно навредим неприятелю.

— Погибнете — и погубите огромные средства, которые флот может доставить обороне Севастополя, — отвечал князь; — неприятелю же навредите немного. Паровой флот везде от вас увернется и будет ставить наш парусный в смешное положение, разрушая его безнаказанно. Опыт состязания наших шести пароходов с тремя неприятельскими достаточно доказал вам их преимущества. В настоящее время штиль не даст возможности

двигаться, а ожидать ветра невозможно. Надо действовать энергично: назначьте потребное число из старейших судов для потопления у входа в рейд, для его заграждения, как мы уже говорили. Этим мы уничтожим всякое покушение неприятеля ворваться в бухту. Не будучи озабочены с этой стороны, мы снимем еще с оставшихся судов большую часть экипажа, которую рассчитаем по оборонительной линии; возьмем много орудий и снарядов для вооружения батарей. Будем смотреть на эти средства как на прибывшие к нам подкрепления.

Таковы главные черты того разговора князя Меншикова с Корниловым, который решил судьбу флота и обессмертил Севастополь. Затем Корнилов предлагал собрать военный совет для обсуждения вопроса; но князь, предоставив совету собираться, не разделял надежды Корнилова на это совещание, почему и не принял в нём никакого участия, а замыслил, решил и стал приводить в исполнение свой план действий в защиту Севастополя.

Вечером 9-го сентября, забегали ко мне многие из сослуживцев — повыспросить, что князь намерен делать, и подговаривали меня убедить князя, чтобы он собрал военный совет. Светлейшему поистине не с кем было советоваться; его окружали новички. Я, под шумок, собирал свои вещи и готовился так, чтобы уж о них более не заботиться, имея под рукой лишь самое необходимое. Ночью приезжали с аванпостов и будили князя несколько казаков с донесением о том, что ими усмотрено в неприятельском лагере.

Рано утром, 10-го сентября, я поехал в морской госпиталь навестить Сколкова и Жолобова. Сколков спал, а Жолобов говорил со мной очень спокойно; поручил мне отыскать в его квартире карты и книги, принадлежащие князю, и просил их ему передать. По возвращении из госпиталя, я застал его светлость готовым выехать в лагерь князя Горчакова. Перед отъездом он о чём-то говорил с Кирьяковым и его квартирмейстером, генерального штаба подполковником Залеским. Выехав со мною со двора, князь тотчас же сказал мне, что он предлагал Нахимову принять начальство над гарнизоном, имея в виду, что подобное назначение придаст бодрости гарнизону, так как в военных доблестях Нахимова никто не сомневался. Однако же Нахимов отказался, говоря, что на суше ничего не понимает и потому не желает ничего брать на свою ответственность. К этому он прибавил, что будет всеми зависящими от него средствами содействовать общему делу и готов служить своей особой, хотя бы пришлось наряду с матросами.

По возвращении из лагеря кн. Горчакова, мы обедали; потом

светлейший переправился на северную сторону, сел на лошадь объездчика и, вместе со мною, поехал осматривать северное укрепление и новые батареи. На другой день, 11-го сентября, князь опять был на северной стороне с Корниловым и, сделав свои распоряжения, подъехал к батарее, ближайшей к морю, откуда ему удобнее было рассмотреть показавшихся на высотах неприятелей. Они приближались к Каче и у правого их фланга заметны были земляные работы; в устье реки, по морскому берегу, они устраивали пристани; против же их проходили суда и становились на якорь. Судя по линии видимого бивуака, часть левого фланга неприятельской армии находилась на левом берегу Качи. В сумерки князь возвратился в Севастополь. На Графской пристани собирались войска для переправы. Как мне помнится, всё это были морские батальоны, которые, как было слышно из их разговоров, шли в гарнизон северного укрепления на смену пехоты. Больше же они сами ничего не знали. Они переправлялись на северную сторону до ночи. Между тем, князь сказал мне, чтобы всё было готово к выступлению нашей квартиры: ночью он ждет известия, вследствие которого пред рассветом выйдет из Севастополя. Сделав все приготовления, я прилег отдохнуть…

Светало, но о движении еще не было и слуху. Вот, вижу в окно, скачет гонец, слезает у ворот, вижу: подполковник Залеский. Через несколько минут светлейший требует меня к себе.

— Вообрази, что со мной сделал Кирьяков, — так встретил меня князь. — Я дал ему 12 батальонов, две батареи; аванпосты и разъезды содержат два полка гусарских, два казачьих. Я послал его вчера вечером, чтобы он, не замеченный неприятелем, занял позицию по этой стороне Бельбека, для прикрытия нашего движения, которое я намерен был сделать сегодня на заре, дабы, обойдя фланг неприятеля, встать у него в тылу, на сообщении с Симферополем. Наше движение до того важно, что я сказал Кирьякову: «в случае натиска, держитесь до тех пор, пока я не извещу вас, что уже прошел Мекензиеву гору. Помните, что переправа на Бельбеке слишком затруднительна; без ущерба себе, с тем количеством войска, которое у вас в распоряжении, вы можете очень долго вредить неприятелю и легко его удерживать». Кирьяков же, придя вечером занимать места, услыхал на той стороне Бельбека музыку, которая на своем бивуаке играла зорю. Не знаю почему, это его так сконфузило, что он, не останавливая войска, повернул налево кругом и удрал. Лупил целую ночь и, перейдя Черную чрез Инкерманский мост, остановился на Сапун-горе, так, что от нашего лагеря под Севастополем его отделяет

только Сарандинакина балка. А при нём еще — этот подполковник Залеский!.. — заметил князь. — Не понимаю, как это он его не удержал? Он-то на минуту и прискакал ко мне с этим известием… Что я буду делать с подобными генералами? что мне только придумывать такое, что бы они были в состоянии исполнять как следует?!

VII

Из последнего моего рассказа читатель видел, что предпринятое князем Меншиковым, на заре утра 12-го сентября, фланговое движение было остановлено по милости незнания, неисполнительности, или паники, что ли, Кирьякова. Самовольное передвижение его было главною причиною, по которой действующий отряд был приведен в самое невыгодное расположение. Что, ежели союзники этим воспользуются? Мы до ночи не можем тронуться, потому что открываем себя наблюдению неприятеля; что, ежели, приняв свои меры, он помешает нам обойти себя, или даже, захватив нашу колонну на походе, разобьет ее, так как фланг наш ничем не обеспечен… А сколько замедлений: союзники двигаются — мы бездействуем! Все эти соображения, нахлынув на мысли светлейшего, весьма его тревожили. Как выпутаться из подобного положения? Что делать?

Одно необыкновенное уменье князя владеть собою удерживало его от выражений отчаяния. «Скорей, скорей лошадь!» сказал он только, и понесся на Куликово поле в лагерь, один, и так быстро, что казак едва мог поспевать за ним. Я остался у крыльца и в недоумении лишь разводил руками.

Между тем, накануне к нам прибыл от Хомутова отряд под командою генерала Жабокрицкого и успел уже в авангарде главных сил занять позицию на Мекензиевой горе. Светлейший, прибыв в лагерь, поспешил дать знать оттуда Жабокрицкому, что Кирьяков не исполнил своего назначения и поэтому он, Жабокрицкий, должен, рассчитывая лишь на свою бдительность, сохранять свою позицию, не смотря на все её невыгоды, до прибытия к нему на смену войск князя П. Д. Горчакова; затем, идти далее за Бельбек, к деревне Отаркой, где и расположиться, имея в виду прикрывать собою позицию, предназначенную там для занятия всего действующего отряда, который в эту же ночь, с 12-го на 13-е сентября, должен был совершить переход с Куликова поля.

И так, в самое критическое время, когда нам была дорога каждая минута, мы, по милости Кирьякова, теряли целых двенадцать часов; самое же главное: пользуясь весьма неблагоприятными условиями для союзников, мы не успели показаться у них в фланге, потом и в тылу.

Князь по возвращении из лагеря застал у себя письмо Жолобова, который просил светлейшего выслушать его последнюю, предсмертную просьбу. Князь немедленно поехал в госпиталь, взяв меня с собою.

Светлейший очень сожалел о Жолобове; он любил его за исполнительность, точность в работе и скромность. Последним трудом Жолобова была съемка Алминской позиции; он сделал ее очень практично, и светлейший, за несколько дней до высадки союзников, проверив этот небольшой план с местностью, остался им очень доволен. Помню, как снимок Жолобова он показывал мне в назидание, сказав при этом, что Жолобов хорошо его понял и к своему чертежу присоединил верный очерк всей местности, лежащей между Алмой и Севастопольской бухтой. Планчик, снятый Жолобовым, был карманный; князь на ходу легко его рассматривал и за это удобство был весьма благодарен Жолобову. Составитель плана представил его светлейшему на перепутьи нашем к Алме, где он с нами встретился, возвращаясь верхом с Алмы. Вообще всё исполняемое просто, практично, с удобством применения, не только всегда одобрялось князем, но доставляло ему истинное удовольствие.

— Излишние прикрасы, — говаривал он, — часто затемняют настоящий смысл дела.

Прибыв в госпиталь, мы нашли Жолобова на открытом воздухе, на который он перед смертью просил себя вынести. Князь провел у постели умирающего около четверти часа; я не подходил к нему, боясь расстроить страдальца моим прощанием: еще накануне видел я его настолько бодрым, что и теперь не терял надежды на его выздоровление.

Не успел князь отойти от Жолобова, как во двор госпиталя въехал флигель-адъютант Альбединский, посланный Государем из С.-Петербурга за известиями о действиях наших. Светлейший с Альбединским обошел раненых, причём ротный командир Владимирского полка, с постели своей указывая на двух рядовых, сказал:

— Эти молодцы доказали, что ружейный приклад лучше пули и штыка: они втроем, на брустверe батарейной батареи, удерживали штурм англичан. От одного взмаха их ружей валились трое, четверо; если бы их не подстрелили в ноги, да третьего их товарища не убили, то не допустили бы они англичан на батарею где оставались два наших орудия.

Князь поздравил молодцов унтер-офицерами, сердечно благодарил их и ротного командира.

По возвращении с Альбединским домой, князь приказал мне после обеда отправить обоз главной квартиры в лагерь; вскоре после отправления обоза и мы за ним последовали верхом. На выезде из Севастополя, светлейший, подозвав состоявшего при нём лейтенанта Стеценко, приказал ему возвратиться к Корнилову для сообщения ему следующего:

1) что он кн. Меншиков, уже выехал в лагерь совсем и оттуда намерен — когда стемнеет — тронуться для совершения известного Корнилову движения;

2) надеется успеть исполнить таковое до приближения неприятеля к Севастополю;

3) не потеряет Севастополя из виду и будет следить за всем, что в нём произойдет. Ежели неприятель покусится атаковать город, то князь нападет на него с тылу и не допустит ни до чего решительного;

4) так как действующий отряд будет находиться на сообщении с Россиею, то Севастопольский гарнизон не должен терять бодрости, потому что подвозы и подкрепления достигнут своего назначения;

5) князь изыщет случай уведомлять о себе Корнилова.

Передав возложенное на него поручение Корнилову, Стеценко присоединился к нам; Корнилов же распустил по городу слух, главный смысл которого заключался в том, что светлейший будто бы бежал со своими войсками из Севастополя, оставляя его в жертву неприятелю, и что теперь гарнизону предстоит изыскивать самому средства отстаивать родной город. Выразив таким образом свое отчаяние, Корнилов и всех севастопольцев погрузил в глубокое уныние, вместо того, чтобы ободрить их надеждою, что наш действующий отряд, находясь в тылу неприятеля, будет отвлекать его внимание от Севастополя. Этого мало: носились слухи, что Корнилов написал об этом брату в Петербург, жене — в Николаев, изображая самыми мрачными красками поступок светлейшего. Этим он обрек искусного стратегика на жертву нелепых толков и сплетен: по всей России пронеслась молва, будто бы Меншиков продал Севастополь! Петербург негодовал… но в самый разгар нареканий, сыпавшихся на светлейшего, явился в столице Альбединский с известием о блистательном фланговом движении. Государь был в восторге; иностранные газеты загремели, прославляя удивительную находчивость, искусство и присутствие духа князя Меншикова. Совершив достопамятный в военной истории подвиг, светлейший не гордился плодами своих способностей: ему это было не в диковину; уверенный в себе самом, он плохо верил в исполнителей зрело обдуманных своих предначертаний. Злые языки призатихли, но они дело свое сделали: яд, ими выпущенный, всосался в организм общественного мнения; под обаянием первого впечатления недоброй молвы оно плохо мирилось с очевидностью; доверие к полководцу в основании было потрясено и безуспешны были усилия восстановить это доверие. Присутствие яда клеветы давало о себе знать при малейшем удобном случае: им искусно

пользовались завистники и враги — соотечественники, и вредили, как только могли, имени светлейшего.

Возвращаюсь к рассказу.

Покуда светлейший в палатке совещался с князем П. Д. Горчаковым, я поехал выбирать место для расположения обоза. Проезжая мимо Минского полка, я, незамеченный, прислушался к рассказу унтер-офицера об Алминском деле:

— Кабы все-то начальники, как князь Меншиков, — говорил он, — так им бы ничего не взять; и как Господь его хранил?! сам везде, а других, прочих командиров, — и не видать… Кабы ему да не ехать туда к мосту, так мы бы их с горы проводили скоро…

Разговор был прерван командою: «амуницию одевать!» Я поспешил к палатке князя Петра Дмитриевича, где светлейший уже встретил меня словами:

— Выпроваживай наш обоз к Бракеру-хутору; мы поедем вперед туда же и там пропустим мимо себя весь отряд.

Мы тотчас тронулись по Балаклавской дороге; обоз наш следовал за нами. У хутора Бракера, совершенно покинутого обитателями, мы сделали привал, навесили поскорей торбы на лошадей, согрели чаю. Между тем стали подходить войска и князь, поспешно сев на лошадь, выехал вперед, чтобы пропустить их всех мимо себя; потом, вместе с войсками обогнул Сапун-гору. После того светлейший сел в экипаж и следовал шагом за хвостом колонны. Между тем быстро надвинулся ночной мрак: южная ночь наступает внезапно… Мы шли версты две, соблюдая глубокую тишину. Я ехал возле фронта, пробираясь осторожно поближе к дороге.

Вдруг, слышим, что-то с шумом посыпалось с горы: колонна наша засуетилась в недоумении; произошла путаница, толкотня; со стороны на дорогу выехал какой-то обоз. В темноте ничего нельзя было разобрать, но этот шум легко было принять за нападение неприятеля на наш фланг… Оказалось не то: опять Кирьяков! Ему было дано знать, чтобы он присоединился к нашей колонне. Спустившись с Сапун-горы по Воронцовскому шоссе, он даже и этого не мог сделать толком: заторопился, сунулся с горы без пути каким-то рассыпным порядком. Хорошо, что князь скоро смекнул в чём дело: поспешил остановить отряд, велел ему сдвинуться с дороги в сторону и пропустить Кирьякова вперед. Но, можно себе вообразить, как трудно было это сделать. Наша колонна, прорванная в нескольких местах отрядом Кирьякова, где — стояла, где — спешила за частями, не ей принадлежавшими. И в этой тьме кромешной какого добиться толку? Кричать, опрашивая части, было невозможно, так как мы делали движение скрытное от неприятеля… Едва, едва наладили мы, с большим

промедлением во времени. Светлейший послал на Мекензиеву гору сказать Жабокрицкому, чтобы он, не дожидаясь его, при появлении там Кирьякова сдал ему позицию, а сам шел вперед на место, указанное ему для занятия общего бивуака.

Кн. П. Д. Горчаков, шедший во главе нашей колонны, соблюдая в движении величайшую тишину и осторожность, очень встревожился, заслышав позади себя непонятный ему шум; когда же, наконец, причина объяснилась, то он Кирьякова чуть не разорвал с досады, тем более справедливой, что неуместные движения последнего и неурядица, с которой он присоединился к нам, беспрестанно задерживали ход нашей колонны. Остановки были частые, довольно продолжительные и причин их нельзя было доискаться… Наконец мы и совсем остановились; как говорится — ни-тпру, ни-ну! Все справки: отчего? почему? зачем? — были безуспешны; солдаты, устав стоять, полегли… Изволь тут пробираться между ними, в темноте, верхом, к голове колонны за справкой. Мы все, адъютанты, пустились вперед, но пробраться вперед было до того затруднительно, что руки опускались и бросало в пот от нетерпения.

В сильнейшем беспокойстве князь Горчаков поехал сам вперед; отряд Кирьякова всё продолжал стоять. Поднявшись до половины извилистого подъема Мекензиевой горы, князь Петр Дмитриевич, наконец, увидел, что колонна головой уперлась в повозку, которую лошади не брали и еще что-то у неё сломалось. Пораженный негодованием, что такой вздор был причиною остановки, князь Горчаков крикнул на офицера:

— Что же вы ее не сбросите? Задерживаете такую массу войска из-за дряни!

Офицер оправдывался тем, что это повозка генерала Кирьякова.

— Опять Кирьяков?! — крикнул Петр Дмитриевич, плюнул и велел ссунуть повозку в овраг: только тогда колонна беспрепятственно взошла на Мекензиеву гору. Здесь Жабокрицкий уже очистил место для Кирьякова; главный же отряд расположился сзади его, возле самого подъема.

Так как медлить на этой позиции было опасно — Кирьяков, посланный, как мы говорили, для прикрытия нашего флангового движения, бежал от неприятельской музыки — то вся надежда наша была на одни разъезды казаков и аванпосты гусар, мало успокаивавшие князя. Разъезды неприятеля и его авангард легко могли застать нас на тесной площадке этой горы. Принимая это в соображение, светлейший, войдя в находившийся тут караульный дом, приказал князю Петру Дмитриевичу передать Кирьякову, чтобы он немедля подымался, шел следом за Жабокрицким и

расположился возле того места, куда придет Жабокрицкий.

Между тем Кирьяков, как только поднялся на плато, развел огни — варить ужин. И это делалось им в то время, когда мы употребляли все средства, чтобы скрываться от наблюдений неприятеля! Покуда мы взбирались на гору, костры порядочно разгорелись и, конечно, не могли не быть замечены неприятелем… К счастью, князь Александр Сергеевич, подъезжая к горе, вышел из экипажа и верхом обогнал колонну, — так, что, первый поднявшись на гору, он поспешил приказать залить огни. Этим распоряжением Кирьяков остался очень недоволен. Сокрушаясь по своей повозке, оставшейся назади, он находился в таком дурном расположении духа, что когда князь Петр Дмитриевич потребовал его к себе, чтобы передать приказание о немедленном движении вперед, то Кирьяков отозвался, что так как он еще не ужинал и повозка его сброшена с дороги, то он идти не может; да и куда ему в такую ночь идти?! За тем посыпались громогласные ругательства. Тогда князь Горчаков предложил ему остаться ужинать, а сам послал за старшим полковником, чтобы приказать ему вести отряд Кирьякова. Последний смирился, поднял отряд и двинулся по назначенной дороге; но и тут не мог не напакостить: лупил, что называется, без оглядки, продрал мимо Жабокрицкого, не заметив его — почти вплоть к Бахчисараю; бежал бы и дальше, если бы светлейший, получив донесение от Жабокрицкого, что Кирьяков не присоединился к нему, не послал догнать бестолкового и воротить к избранному месту.

В следующую ночь помянули Кирьякова и в Севастополе. Уходя с Сапун-горы, он оставил батальон Тарутинского полка при четырех орудиях на Инкерманском спуске. Он, надо полагать, позабыл о нём, так как батальон оставался там без всякой нужды, в жертву неприятелям, как в пустыне, и спасением своим был обязан тому, что союзники, перебираясь на южную сторону, сами находились в страшном перепуге. Они до того спешили, что, проходя даже мимо нашего Георгиевского порохового погреба, где находился большой склад пороха, не обратили на него внимания. С приближением союзников батальону угрожала опасность быть отрезанным, но, благодаря темноте ночи, ему посчастливилось уйти в Севастополь. Здесь об этом отряде ничего не ведали и потому, когда он приблизился, то был принят за неприятельский: раздались сигналы общей тревоги, переполошившие весь гарнизон.

Отправив Кирьякова с Мекензиевой горы, светлейший послал благонадежного урядника к Корнилову — известить его о месте своего пребывания и подтвердить приказание скорее

выпроваживать из Севастополя парк, в прикрытие которому уже заблаговременно отряжены были две роты пехоты при двух орудиях; к парку присоединить отсталый обоз. Сверх того князь приказал Корнилову, чтобы он в ту же ночь послал на реку Черную — уничтожить Инкерманский мост и испортить плотину.

Остальную часть ночи мы провели возле своих лошадей и к утру 13-го сентября, по возвращении казака, сели на коней и отряд тронулся. Живо очистил он Мекензиеву гору; мы спустились в Черкез-Ирменскую долину и следовали по дороге к Бахчисараю до Бельбека. Там мы настигли наши передовые войска, бродом перешли реку и на правом её берегу на бугорке князь приказал раскинуть себе палатку. Вдруг слышим — орудийный выстрел, другой, третий… и где же? на Мекензиевой горе! Мы с трубами взмостились на возы и видим, что парковые повозки, в беспорядке, несутся с горы в долину, во весь дух… более этого, за дымом и пылью, мы разглядеть не могли. На место тревоги в ту же минуту был послан Лейхтенбергский гусарский полк: он понесся на больших рысях. Заметив гусар, неприятель прекратил дальнейшее преследование несчастного парка. Легко себе представить с каким нетерпением ожидали мы вестей о случившемся; но еще никто не успел прискакать оттуда, как мы завидели два экипажа, катившие во весь дух; около них верховые. Не убавляя аллюра, они перелетели через реку; увидав своих, заслышав крики «стой! стой!!» наконец остановили лошадей. Молоденький офицер Веймарского гусарского полка, скакавший впереди, прыгнул на бугорок, где была палатка князя: насилу мы его удержали! И жалко и смешно было смотреть, в каком испуге прискакал этот ребенок: дико озираясь кругом, как будто не веря глазам, что он между своими, гусарик произнес наконец:

— Ну, слава Богу, ускакал!. Ах, какая лихая тройка… уж я думал, генеральские отстанут… А там, остальные все пропали, людей порубили, повозки порубили, которые — сами поломались, которые с горы полетели, а больше, должно быть, они позабрали!

— Что же сталось с парком? — спросили мы его.

— А, право, не знаю. Как взошли на гору, наш обоз стоял сзади; со мной было 12 гусар: сделали привал… Вдруг, откуда ни возьмись, бросаются на нас французы, или англичане, не знаю, только в больших медвежьих шапках. Мы, как схватились, скорей, скорей, наткнулись на парк; туда, сюда… насилу выбрались кое-как. Ящик наш тоже тут сломался; мы к спуску: и там дорога узкая, объехать некуда; я, долго не думая, пошвырял парковые повозки с дороги. Едва-едва, спас только две повозки.

— Чьи они? — спросил его сам князь.

— Одна — полкового командира, другая — моя, —

продолжал офицерик, — да и славные же лошадки! Когда бы не парк, мы бы, пожалуй, все ускакали… Ничего не сделаешь — наскакали одни на других: на горе опрокинулись поперек дороги, так я их уж пошвырял.

— Что же ваши гусары?

— Все со мной прискакали.

— Много ли на вас напало?

— А, право, не знаю… Кажется, и не много.

— Что же там наше прикрытие? С ним были два орудия.

— Да, я и не догадался.

Ну, — подумал я — хорош офицер! Что с него взять? Правда, еще молод, почти совсем еще мальчик.

— Ступайте себе в полк, — говорю ему.

Только что он отъехал, как ему на смену прискакал, на коренной лошади, кучер из гусарского обоза. Лошадь была рослая, здоровая, но ноги всадника чуть не дохватывали до земли: это был истинный гигант: в плечах косая сажень, грудь широчайшая, ручищи могли привести в ужас целый взвод. Кучер был без шапки, в одной рубахе, и геркулесовские его формы обрисовывались во всей красе; борода и волосы на голове, от быстрой езды закинувшиеся назад, придавали ему вид свирепого, мощного бойца-титана. Увидев себя между своими, он остановил лошадь, перекрестился, хлопнул своего буцефала по шее ладонью, ширина которой могла бы прикрыть спину любого француза.

— Ну, добра лошадь! Слава Богу, ускакал, — промолвил он, — а ежели бы да на пристяжной, так нет, не унести бы ей; она там и осталась, сердечная. Ну, уж страсти! Насмотрелся всего: во шапки… (он поднял ладонь на аршин выше головы). Как секнет — с Терешки башка долой; секнет: Степан покатился… никому нет пардону! Вижу, не ладно: ну-ка, я с возу как спряну; хвать за запряг, оглоблю-то перешиб, лошадь и выскочила… Я на нее как сигну, да как припущу — только меня и видели! Они уж за мной пушкой: буц! буц!! да нет… видно, мимо!

— Что ж парк? Что же с ним-то сделалось? — расспрашивали мы нетерпеливо.

— Да, я чай, весь там, никто не выскочил, они пардону не дадут.

Мне было страх досадно, что такой молодчина, как этот русский мужик, мог так испугаться! «Отчего, — думаю, он не сознает своей богатырской силы? Одним взмахом оглобли этот силач мог бы десяток тех страшных шапок посшибать, и с головами вместе. Этому богатырю никогда, видно, и на ум не приходило посмотреть на себя да подумать: на что-де я годен?

Так он и век отживет и дарования своего не увидит… За ним и вся Россия делает ровно то же самое: она, родимая, сама не знает своей силы, не верит ей, взглянуть на нее не соберется за недосугом: всё за море смотрит, там ей не укажут ли?»

Подойдя к богатырю-кучеру, я спросил его:

— Как же это, братец, ты оглоблю-то переломил? Стало быть, у тебя есть сила?

— Да, есть таки дарование! — отвечал он мне с оттенком самодовольствия. Сгоряча я схватил за запряг: «когда тут, думаю, рассупонивать»; напер на оглоблю, а она, как соль… распутывал, рвал, — ничего опосля не помню. Только я вспрянул на лошадь, а она как подхватит, сердечная; видно и сама чуяла, что плохо!

— А что бы тебе, выломив оглоблю — отлущить француза?

Он содрогнулся и покачал головой:

— Нет, — говорит, — уж больно страшно: во шапки! — заключил он, опять высоко подняв руку над головою.

— Шапки его ты испугался? — возразил я, — да тебе, брат, на одну ладонь мало трех таких шапок.

— Пожалуй, — говорит, — мало.

— Так что же ты? — одушевлял я его.

— Да что делать!

Мы выпустили кучера из кружка.

Между тем как гусары, на месте приключения, разыскивали толк, повозки уже вытягивались по дороге. Командир парка, полковник Хамрат, георгиевский кавалер за 25 лет, опередив несколько парк, подъехал к нам. Светлейший с нетерпением ожидал получить, наконец, верные известия, и поспешил к Хамрату навстречу.

— Ну что, — говорит, — у вас там случилось?

И мы все обступили полковника: ждем что он скажет?

— Вот, как есть, остался! — произнес он, с отчаянием разводя руками и наклоняясь немного вперед.

— Как? что? — спросил князь, думая о парке.

— Ни нитки не осталось; нечем переменяться… я в одной рубашке!

Тут уже я не вытерпел: подобное безучастное отношение к такой важной статье, каков парк в военное время, со стороны его начальника, по собственному невежеству потерявшего из парка несколько повозок, меня взбесило! Позабыв о присутствии светлейшего, я резво выразил полковнику, что князь интересуется не о его собственных вещах, а о парке.

— Да! — спохватился Хамрат, — в парке пропало 10 повозок… больше сами, в путанице, поломали; лошадей — которых они позабрали, иные разбежались; изломанные ящики

остались на месте, взять было нельзя; некоторые даже слетели в пропасть!

Вот вам еще образчик военных сподвижников, какие попадались тогда в войске князя Александра Сергеевича!

Впоследствии обстоятельства дела разъяснились. Парк, имея, как я уже говорил, в прикрытии две роты, при двух орудиях, спешил соединиться с нами; поднявшись не без труда на длинную и высокую гору, повозки становились как ни попало, делали привал, кормили лошадей. Сзади парка поднялись два орудия и, не снявшись с передков, как поднялись, так и стали. Прикрытие, тоже, было в совершенной беспечности; одним словом, сделали привал именно на том самом месте, которое надобно было со всеми предосторожностями скорее миновать. Расположились на привале по мирному положению, как обыкновенно делаются привалы за глазами начальника: всё это лежало, или разбрелось искать воды. В это время Сент-Арно[9], далеко впереди своего авангарда, с незначительным конвоем, однако при двух орудиях, осматривая проход к Мекензиеву хутору, случайно въехал на ту самую площадку, на которой так некстати расположились привалом наш парк и офицерский обоз Веймарского гусарского полка. Увидев русских, неприятель в нерешимости приостановился; наши тотчас его заметили и в парке, в обозе, в прикрытии — поднялась такая сумятица, что Сент-Арно, поспешив воспользоваться ею, послал часть своей артиллерийской прислуги припугнуть наших. Несколько человек неприятелей врезались в эту кутерьму и нагнали панический страх на несчастных и безоружных ездовых, которые суетились, бросались, путались, падали… гусарские денщики и кучера, отчаянно выпутываясь из-за парка, расталкивали и сбрасывали повозки с дороги. Некоторые офицерские повозки уже добрались до спуска с горы; но из них только две, с нахальством распорядившись насчет парка, пробрались и понеслись во всю прыть. За ними во весь карьер поскакали гусары и дули без оглядки вплоть до нас. Прикрытие парка, недолго думая, пустилось врассыпную по кустам. После, Бог знает как и откуда, беглецы поодиночке случайно приставали к войскам, где попало. Горсть неприятеля занялась грабежом офицерских повозок, парковые же, между тем выбравшись как могли, ушли своей дорогой. Упустив парк, Сент-Арно[10] спохватился и приказал своим орудиям с горы, вдогонку парка, пустить несколько выстрелов: пришлись эти выстрелы, конечно, на воздух, однако встревожили несколько повозки и бывшие на спуске бросились вниз; многие опрокинулись, две слетели в пропасть. Таким образом нами были потеряны 10 повозок и весь офицерский обоз

Веймарского полка.

По незначительному результату нападения на парк, мы заключили, что это набедокурил какой нибудь маленький неприятельский разъезд, так как с аванпостов о большом движении союзников еще ничего не было слышно.

VIII

После обеда князь послал капитана Лебедева, исправлявшего должность старшего адъютанта при штабе, в Севастополь, известить о нашей позиции, хлопотать о скорейшем доставлении нам сухарей и о пополнении парка. Лебедев поехал в объезд Мекензиевой горы на Шулю; наткнулся на неприятельский отряд, насилу продрал; почему, прибыв в Севастополь, не решился ехать в обратный путь, а присоединился к нам уже тогда, когда мы были на Бельбекской позиции. До возвращения из Севастополя Стеценко, мы считали Лебедева погибшим. Когда Лебедев приехал в Севастополь, ему сказали, что всё начальство собралось в совете, где Корниловым был предложен вопрос:

— Что предпринять по случаю брошенного на произвол судьбы князем Меншиковым Севастополя?

Лебедев был очень сухо принят, но Нахимов, не разделяя умышленной невнимательности Корнилова к посланному, усадил его подле себя, стал расспрашивать про движение нашего действующего отряда. Лебедев, по окончании вопросов, спросил Нахимова, в свою очередь, что же ему доложить светлейшему о действиях в Севастополе?

— А вот, скажите, что мы собрали совет и что здесь присутствует наш военный начальник, старейший из нас всех в чине генерал-лейтенант Моллер, которого я охотно променял бы вот на этого мичмана, — Нахимов указал на входившего Костырева.

Генерал Моллер, услыхав, что речь идет о нём, приподнявшись обратился к Павлу Степановичу, но узнав о предмете разговора по заключению, опять сел.

Надо заметить, что Моллер, по назначении его главным начальником Севастополя, очень добросовестно и не будучи в себе уверен, предоставил Корнилову пользоваться его, Моллера, именем, когда он сочтет это нужным, заранее изъявив на все его распоряжения свое согласие. И в совете Моллер не принимал участия в толках, сказав заблаговременно, что он будет слушать и учиться; поэтому присутствовавшие действовали по их усмотрению, не ожидая его мнения.

Того же дня вечером, светлейший, подозвав меня, сказал:

— От поездки Лебедева я результата не ожидаю; он легко может не доехать, или доехав — не пробраться назад; ожидать подвоза сухарей и снарядов еще того труднее: неприятель, как видно, уже шныряет по дорогам. Так, поезжай ты в Бахчисарай и узнай там — какое количество хлебов можно напечь

существующими средствами в одни сутки и на сколько, в крайности, можно увеличить средства хлебопечения. Распорядись, чтобы с утра было приступлено к делу. Надеюсь, что этим средством мы не останемся без продовольствия до подвозов. На обратном пути, так как ты поедешь ночью, прими меры, чтобы тебя не подстрелили наши аванпосты: вот тебе *отзыв*; не забудь!

Я поехал, разузнал обо всём и уговорился с бахчисарайским головой, который при этом просил меня прислать от войск караулы на мельницы, так как по хуторам наши солдатики пустились уже мародёрничать. Купив, кстати, верховую лошадь для Альбединского, озаботясь о подвозе, кроме хлеба, и прочих жизненных припасов нашему отряду, я пустился в обратный путь. Деятельными и главными моими сотрудниками, при этих распоряжениях, были: унтер-офицер Балаклавского греческого батальона Василий Михайлов Подпати, проживавший в Бахчисарае, и брат его Дмитрий, состоявший после при мне для поручений.

Приближаясь к нашему бивуаку, я с удивлением заметил, что никаких аванпостов нет, а встретила меня густая цепь пехоты, которая, домашним распоряжением, окружала спящие батальоны. Куда же девались гусары и казаки?

Была глубокая ночь. Как ни тихо подъехал я к бивуаку, но князь не спал и встретил меня.

Доложив ему об успешной моей поездке, я сказал, что не видал аванпостов. Светлейший тотчас же послал офицера проверить наши посты; посланный, проездив до утра, не нашел ничего. Между тем, при смене оказалось, что наши аванпосты стояли тылом к неприятелю, примыкая правым своим флангом к правому же флангу нашего лагеря, а левым — к стороне Бахчисарая. Вот почему я проехал сзади их резервов. Аванпосты занимал Веймарский гусарский полк.

14-го сентября, около полудня, собрана была небольшая команда от Лейхтенбергского гусарского полка, при офицере, для присмотра за печением хлеба, т. е. пшеничных булок, так как татары иного хлеба печь не умеют. Эту команду я проводил в Бахчисарай, указал что и как там делать, а сам к ночи возвратился уже на новую позицию; старую — князь, в отсутствие мое, переменил, отодвинув войска к северу версты на три, на более удобное место. Ночью были видны огни на Мекензиевой горе; об общем передвижении союзной армии мы тогда ничего не знали. Когда я еще ехал в Бахчисарай, то, наблюдая за окружной местностью, увидел по большой Симферопольской дороге движение походной колонны странного вида, ибо, приближаясь к нашей стороне, она имела впереди себя обозы. Как ни ломал я

головы, чтобы догадаться, что это мог быть за отряд — всё было напрасно. После я узнал, что опять таки Кирьяков был виновником этой бестолочи: посланный с бригадою занять вышеуказанную позицию, он продрал к Бахчисараю, и уж не ведаю, где бы наконец очутился, если бы посланный его поверить (кажется, лейтенант Стеценко) не догнал и не воротил его.

Того же 15-го сентября, князь, перейдя Качу выше каменного моста, что на большой дороге, расположил действующий отряд на правом берегу, за двумя громадными курганами возле большой дороги, в том самом месте, где Кача за Бахчисарайскою долиною входит в горы. У Отаркоя, на прежней позиции в авангарде остался Жабокрицкий; полковник Хрущов с своим Волынским полком наблюдал за Шулей и Чоргуном. Под вечер князь послал Стеценко перебраться в Севастополь, чтобы передать Корнилову о перемене нашей позиции, сделанной в виду занятия большой Симферопольской дороги в тылу союзников. Кроме того, Стеценко поручено было: разузнать от Корнилова, какие приняты меры к обеспечению нашего действующего отряда провиантом; объяснить Корнилову, что фланговое движение наше поставило неприятеля в весьма затруднительное положение касательно избрания пункта атаки на Севастополь: это дает нам возможность выиграть драгоценное время для усиления средств; что князь надеется, маневрированием действующего отряда, заставить союзников отложить решительную минуту до более удобного для них положения. Так как наши укрепления час от часу растут, а отряды, на усиление армии, спешат, — то и надо надеяться, что враги, быть может, вынуждены будут повести правильную осаду, что отдалит значительно час атаки, нас же приведет в большую возможность ее отразить; почему князь предлагает Корнилову озаботиться приданием гарнизону бодрости и энергии: блокады союзники устроить не могут, так как действующий отряд прикрывает прямое сообщение Севастополя с Россиею.

По отъезде Стеценко, князь, обратившись ко мне, сказал:

— Покуда мы находимся в таком положении, союзники атаковать не решатся.

— Они перейдут на южную сторону, — отвечал я князю с уверенностью — они попадут в ловушку: — проход им оставлен свободным.

— Быть не может! — произнес светлейший с выражением радостного сомнения.

Ему как бы еще не верилось в блистательный успех флангового движения.

В этот самый вечер, по рассказам местных татар, неприятельский арьергард, заслышав нас у себя в тылу,

подвергался нескольким фальшивым тревогам; в ночной суматохе солдаты бились друг с другом и в перепуге совались куда ни попало. Надо полагать, что и накануне, во время следования их главных сил, тоже не обошлось без тревог, о чём можно было судить по тому, что мы встречали после, на пути их следования. Так, на левом берегу Бельбека, в лощинке, я видел следы побоища, и довольно порядочного: валялось несколько убитых неприятелей и множество лошадиных трупов. Не говорю о побросанных, в разных местах, амуниции, оружии, изготовленной пище и т. п.

Когда мы забирались во фланг неприятеля, я питал надежду, что отряд наш, напав неожиданно с тыла на союзников, разобьет их. Меня тревожила мысль, что они увернутся на южную сторону Севастополя и, после того, как они и действительно от нас ускользнули, я поручил бывшим при мне балаклавским грекам разведать все подробности этого обстоятельства. Через поставщика фургонов при нашей главной квартире, татарина Темир-хая, я узнал, что в ночь с 12-го на 13-е сентября, когда мы были на Мекензиевой горе, а союзники на Бельбеке, до них дошла весть о нашем движении, которая привела их в такой переполох, что у них, на Бельбеке, произошло еще несколько тревог, и в самую эту ночь было то побоище, о месте которого я выше упоминал. Тогда татарин (не помню его имени), брат Темир-хая, забулдыга и отчаянная башка, от которого давно отступились все родные, явился на выручку союзникам, предложив им пробраться к стороне Балаклавы и совершить переход — хотя и опасный, но всё-таки возможный, при содействии его, проводника, хорошо знакомого со всеми тропинками, ведущими на южную сторону Севастополя и еще не занятыми тогда нашими войсками. Союзники, хотя и не видели иного, лучшего исхода из их положения, долго однако же колебались в нерешимости: им было страшно вверить судьбу армии — изменнику татарину; наконец, в отчаянии, так сказать, зажмурив глаза, они ринулись на риск… Несколько татар проводников сослужили им верную службу и щедро были вознаграждены. Этот правдоподобный рассказ дает достаточное понятие о том тревожном настроении духа, в котором находились неприятельские военачальники.

Между тем о большом передвижении союзных армий мы еще не знали ничего положительного. Из донесений с аванпостов можно было заключить только, что неприятель делает рекогносцировки.

Печеный хлеб из Бахчисарая нашему отряду доставляли исправно, чем светлейший был весьма доволен. Это доказательство готовности бахчисарайцев содействовать нашим

войскам побудило князя выразить им свою благодарность. С этой целью его светлость, после обеда, вместе со мной, в экипаже, поехал в Бахчисарай. Въехав в город, он по главной улице прошел пешком до дворца. Осмотрев его наскоро, князь у входа встретил полицмейстера, которого и благодарил за успешные распоряжения о доставлении в лагерь хлеба. На обратном пути светлейший заехал в татарскую кофейную. В это время жители со своими старшинами и муллами толпились на улице и, покуда князь был в кофейной, их собралось множество.

В кофейной заседало несколько кружков татар. Светлейший занял там также место и, приказав подать кофе, посоветовал мне обратить внимание на любопытный способ его туземного приготовления и быстроту, с которой оно совершается.

Действительно, на наших глазах, сырой кофе изжарили, столкли, сварили и подали, как есть, с гущей, в крошечных фарфоровых чарочках, вставленных в медные рюмочки, вместо подноса. Кофе так был вкусен, что я, поистине могу сказать, не пивал подобного.

На лицах татар, присутствовавших в кофейной, нельзя было не заметить удивления и удовольствия видеть в своем кругу именитого посетителя. Князь, поговорив с ними очень ласково касательно промышленности, которою они занимались, положил золотую монету на буфетный прилавок и вышел в сопровождении всех гостей кофейной.

Кофейная эта, совершенно в азиатском вкусе, была выстроена над оврагом, так что с улицы ход в нее был по длинному, узенькому, пешеходному мостику. У входа на мост с улицы толпа татар ожидала светлейшего; с выражением глубокого почтения народ его приветствовал и благодарил за посещение.

Князь в коротких и простых словах поощрил их за услугу, оказанную нашей армии и татары, как умели, изъявили свою преданность и готовность служить наперёд. Действительно, бахчисарайцы не изменяли.

По возвращении нашем из Бахчисарая, мы узнали от жителей, бежавших из Балаклавы, что вчера англичане овладели ею, что этот город атаковала целая армия. Обыватели отстаивали Балаклаву в течение нескольких часов, несмотря на её бомбардировку с моря и с суши. Что за сказка? — подумали мы: этого быть не может! вероятно, какой-нибудь отряд, рекогносцируя, занял Балаклаву — и только.

Чтобы проверить это предположение, князь послал лазутчиков поразведать, как велики силы, занявшие Балаклаву? Отделенные от города горами, мы не могли слышать выстрелов; при всём том князь, сомневаясь в бдительности аванпостов и

разъездов, придал веры этому показанию более, нежели кто-либо из нас. Он знал, что местность, по которой неприятель мог двигаться, до того пересечена и от наших наблюдений закрыта, что неопытные разъезды, вероятно, опасались забираться далеко в горы и леса. Таково и вышло.

Утром 16-го сентября приехал казацкий офицер с донесением от наблюдательных постов, что «всё обстоит благополучно» и нового ничего нет. Сомневаясь в справедливости этого донесения, князь спросил офицера:

— Да хорошо ли вы видите неприятеля? Не ошибаетесь ли вы?

— Помилуйте, ваша светлость! Да вот, с этой самой высоты (офицер указал на гору) видно всё, как на ладони.

— Да что же тут видно?

— Да всё — и даже флот.

Подозвав меня, князь велел мне въехать на указанную, очень высокую гору и оттуда рассмотреть всё, хорошенько. Высота эта лежала от нас верстах в трех.

Тотчас после обеда я отправился, взяв с собою балаклавского грека и четырех казаков, затем, что светлейший предупредил меня быть осторожным, так как, по уверениям казаков, стан неприятелей близко[11]. Полагая себя вблизи неприятеля, я ехал со всеми предосторожностями и когда взобрался на упомянутую гору, то увидел, что кругом, действительно, как на ладони — всё пусто… лишь из-за высот, ближайших к устью Качи, заметно несколько вымпелов.

Полагая, что его светлость не может удовлетвориться тем известием о союзной армии, которое я мог привезти ему с этой высоты, я, оставив казаков наблюдать за окрестностями, поскакал по высотам правого берега Качи к её устью. Мне пришлось проехать без малого верст десять, покуда я не увидел флота надлежащим образом.

Вот, думаю, и полагайся на наблюдения казаков: весь правый берег Качи чист от неприятеля, и на левом решительно ничего не видать на весьма значительное пространство, — а казаки уверяют, что неприятель у них на ладони!

Делать было нечего; я решился, перебравшись на другую сторону Качи, ночью последить за огнями неприятельских бивуаков. Чтобы князь не беспокоился о моем продолжительном отсутствии, я послал казака известить его светлость о моем намерении.

Покуда было светло, я наблюдал за устьем Качи, в глубину которой, мелкими командами, матросы неприятельского флота отправлялись за водой. Чтобы они не разбегались и не были

потревожены нашими, их окружала густая цепь… Стало смеркаться. Матросы очистили Качу, а я спустился до подошвы остроконечной горы, мною заранее выбранной на левом берегу; потом, когда, взбираясь на гору, достиг её половины — то уже и совсем стемнело. Я слез с лошади, отдал ее подержать греку и продолжал карабкаться ощупью. На вершине я нашел разостланное одеяло, вероятно, оставленное здесь татарками, приходившими сюда наблюдать за ходом дел. На горе я около часу дожидался неприятельских огней, но не приметил и малейшего признака близости бивуака: мрак кругом, мрак кромешный и мертвая, невозмутимая тишина. Нет сомнения, что казаки, боясь при разъездах податься вперед, выдумывали свои донесения!

Убедившись в этом, я поспешил к светлейшему; он же очень горевал, считая меня погибшим, ибо посланный мною казак приехал лишь на другой день. Была глухая ночь, когда я прокрался в свою палатку, чтобы не тревожить князя. Волнуемый неизвестностью, он не спал.

17-го сентября, чуть свет забрезжился, князь вышел из палатки и я доложил ему о результате моих исследований. Светлейший удивился и потребовал к себе командира казацкого полка, полковника Тацина.

— Вы мне беспрестанно доносите, — начал князь, — что следите за неприятелем, и рассказываете где он расположен?

— Точно так, ваша светлость.

— Так поезжайте же сами и удостоверьтесь в справедливости ваших донесений. Чтобы привезти мне точное сведение, подъезжайте поближе, возьмите с собою отборных 60 казаков; кроме того, я в товарищи вам пошлю строевого офицера. Отправляйтесь сейчас.

Призвав поручика Лейхтенбергского гусарского полка Стааля 2-го, светлейший сказал ему:

— Поезжайте с Тациным; разведайте хорошенько о неприятеле. Тацину я не верю: он далеко не поедет и опять наврет.

Поехали. По пути Тацин, то и дело, оставлял казаков для обеспечения своего личного тыла и флангов, и всё уговаривал Стааля не вдаваться чересчур вперед. По-видимому, они напали на след неприятеля, ибо на пути им попадались трупы лошадей, брошенная амуниция и свежие могилки. Запах неприятеля ужасно тревожил Тацина. Так переехали они Бельбек и поднялись над аулом Камышлы. Стааль приглашал Тацина осмотреть аул для отыскания там языка; но полковник решительно отказался ехать дальше, сказав, что ему не с кем сделать этот осмотр. И в самом

деле, за ним, из 60 казаков, — осталось всего шесть.

— Куда же девалась ваша команда? — спросил Стааль.

— Да оставлял по постам.

— Неужели же вы для обеспечения себя поставили 54 поста?

— Нет; многие из них сами разбрелись. Вы слишком далеко заехали, так как же их удержать?!

Вследствие этого разговора, Стааль, осмотрев аул один, нашел его совершенно опустелым; бродила одна лишь нищая татарка. Таковы были сведения, сообщенные Стаалем.

Между тем светлейший, съездив в отряд Жабокрицкого, передвинул его на высоту правого берега Бельбека над Дуванкой. В это время прибывший из Севастополя Стеценко встретил князя и окончательно разъяснил движение союзной армии. Князь немедленно послал в Петербург флигель-адъютанта Альбединского доложить Государю Императору об успехе флангового движения и о появлении нашего действующего отряда в тылу у союзников, которое вынудило их перебежать на южную сторону Севастополя, где князь надеется запереть их, оберегая в то же время наше сообщение с Россиею.

IX

Проводив Альбединского, светлейший поехал на новую позицию авангарда, потом, переехав Бельбек, осмотрел высоты левого берега реки и приказал Жабокрицкому, чтобы он, снявшись от Дуванки, как можно ранее утром следующего дня, перешел Бельбек и занял Инкерманские высоты. Сам же князь со своим отрядом, утром 18-го сентября, перешел на то место, с которого снялся авангард, а после обеда тоже перешел Бельбек и занял позицию на высотах ближайших к Севастополю, правее дороги. Потом сам поехал на северную сторону бухты, к батарее № 4. Здесь он виделся с Корниловым и, излагая успех своего флангового движения, предупреждал его, чтобы впредь он не беспокоился, если действующему отряду потребуется сделать еще какую нибудь диверсию, затем, чтобы отвлечь внимание неприятеля от Севастополя. Обрадованный приближением войск к Севастополю, Корнилов не сочувствовал никаким диверсиям, не оценил по достоинству заслуги стратегических соображений светлейшего и смотрел на него, как на возвратившегося из бегов. Князь понял Корнилова и, снисходя на односторонний взгляд еще неопытного в военном деле адмирала, уважая лихорадочную его заботливость о сосредоточении, себе под руку, всех средств к обороне Севастополя, главное же — сознавая, как важно ободрить столь незаменимого своего сподвижника в защите города, поспешил отправить туда большую часть своего отряда.

Назначив, на будущее время, местом своих свиданий с начальствующими лицами Севастополя — домик инженерного ведомства, возле батареи № 4, светлейший отправился в северное укрепление и здесь написал донесение его величеству, изложив в нём подробности успеха флангового своего движения, выразив при этом, что французы, намеревавшиеся блокировать Севастополь с северной стороны, принуждены были перебросится на южную сторону города и там соединились с англичанами. Поэтому, союзники оказались заключенными в ограниченном пространстве, оставив сообщение Севастополя с Россиею в руках наших. Донесение это было помечено 18-м днем сентября (№ 440).

Следовавшая за тем неделя (с 18-го по 25-е сентября), не ознаменованная особенно важными военными событиями, памятна мне частью по многим предусмотрительным распоряжениям светлейшего, частью же, по некоторым эпизодам бивуачного быта, в которых проявлялись многие характеристические черты князя Александра Сергеевича.

В день отправки донесения императору, князь распорядился назначением в Севастополь трех полков пехоты с её артиллериею и частью казаков. 19-го сентября они вступили в город и Корнилов успокоился. Светлейший, выбрав бугор возле расположения действующего отряда, приказал тут разбить свою палатку, сказав мне при этом, что на этой позиции мы останемся подольше, вследствие чего я могу на ней устроиться, так сказать, «хозяйственным образом».

До сих пор, будучи непрерывно на походе, мы совершали наши трапезы кое-как, наскоро: то стоя, то лежа, то сидя — подвернув ноги калачиком, с тарелкою на коленях; чай пили походя — à la guerre, comme à la guerre… Здесь, на новой позиции, я затеял устроить «столовую». Для этого, в сторонке, очертил на земле стол человек на двенадцать, окопал его кругом канавкою, чтобы обедающие могли сидеть за столом свесив ноги, с комфортом. Стол выровняли, выгладили — хоть скатерть постилай. От непогоды устроили над ним шалаш и вышла «столовая» хоть куда. В глубине её я и сам приютился. Бывало, как стемнеет, я в уголке и за самоварчик; глядишь — товарищи подберутся, засядем и беседуем. Иногда захаживал к нам и князь Александр Сергеевич: ему нравился этот обычай, здесь он всегда мог найти кого ему было нужно. Приезжал ли кто к нам, светлейший направлял его ко мне в шалаш: гость дожидался в этой импровизированной приемной; здесь же гость, бывало, и соснет с перегону. Так мы жили целый месяц. Палатка князя была возле: чуть он выйдет из неё, днем ли, ночью ли, и я — тут как тут. Коновязь с лошадьми была также под рукой. Насупротив шалаша были разбиты остальные палатки штаба. Простая офицерская палатка князя Петра Дмитриевича Горчакова находилась в кустах, возле Волынского полка. Не совсем удобно было это помещение: пехота, дело известное, шумит, бродит мимо, беспокоит старика… но князь Петр Дмитриевич был человек необыкновенно покладливый, ни на что не жаловавшийся и миротворец по характеру.

Ввечеру мы узнали, что к нашей армии прибыла бригада резервной кавалерии генерал-лейтенанта Рыжева и остановилась на Качи.

Желая дать Корнилову первенствующую роль в действиях обороны Севастополя, светлейший предложил главному начальнику города, Моллеру, назначить себе Корнилова в начальники штаба. При этом князь был вполне уверен, что добросовестный генерал Моллер, сознавая превосходные способности Корнилова, предоставит ему полную свободу распоряжаться обороной, как он знает сам[12].

Под вечер того же дня, привели к нам на бивуак взятую на аванпостах девочку-гречанку, лет десяти. Бедняжка была до того изнурена, так голодна и продрогла, что не могла говорить. Князь отдал ее мне на попечение. Я напоил ее чаем, укутал в тулупчик и уложил в палатке: она заснула, как убитая. К ночи прибежал к нам еще старый грек, отставной офицер, до того растерянный, что на него жалко было смотреть. Он умолял нас справиться, не видали ли наши войска где нибудь девочки, живой или мертвой. Эта девочка, дочь его, бежала из дому еще до занятия Балаклавы англичанами и с той поры пропадает; он же, отец, по целым дням бродит по окрестностям и не может напасть на след. Этот же грек рассказал нам, что англичане в Балаклавскую бухту втащили трехдечный корабль, и что там устраивают порт. Я дернул Вилебрандта за полу, он обернулся ко мне и сказал:

— Врет! Старик с горя с ума сошел!..

Я повел балаклавца в палатку, где спала девочка и открыл головку ребенка. С неописанным восторгом старик узнал свою дочь, обнял спавшее дитя и, любуясь малюткою, заснул сам подле.

20-го сентября утром, князь ездил в Севастополь осматривать оборонительную линию. К вечеру привели к нам на позицию из Севастополя захваченного гусаром капитана французских спагов — Дампьера. Пленный очень сокрушался об участи своей арабской лошади. Она впоследствии попала на завод и нашла там счастливую долю.

На другой день, 21-го сентября, направив две рекогносцировки, одну к Евпатории, другую в Байдарскую долину, князь поехал на северную сторону в инженерный домик, для объяснении с Корниловым и Тотлебеном.

Утром к нам на позицию являлся грек, молодой, громадного роста, очень красивый собою, в живописном национальном костюме, на который мы невольно залюбовались. Этот удалец пришел просить у нас брандера, имея намерение сжечь неприятельский флот, в отмщение союзникам за захват его купеческого судна, которым они — по словам взбешенного грека — овладели не по праву войны, но как морские разбойники. По недостатку доверия к этому отчаянному намерению, или вследствие бывшего тогда штиля, но просьба грека была оставлена без последствий.

22-го сентября, взяв меня с собою, светлейший в экипаже отправился к Мекензиеву хутору. С Мекензиевой горы он обозревал окрестные высоты, обошел всю площадку и возвратился на позицию когда уже завечерело. Здесь не могу обойти молчанием эпизода, в сущности маловажного, но

свидетельствующего о невозмутимом терпении князя, при таких обстоятельствах, когда человек и моложе, и здоровьем крепче, конечно, был бы раздражен и раздосадован. Когда мы проезжали лесным дефилеем, лошади наши, испугавшись лошадиного трупа, вывалившегося из опушки леса, бросились в сторону и опрокинули экипаж. Князь вывалился, но нисколько не укоряя кучера в оплошности, поднялся на ноги и вместе со мною помог ему поднять экипаж. Не только голос, но и черты лица князя сохранили обычное спокойствие. Кроме упомянутого трупа, нам попадалось на дороге, по лесу, несколько трупов человеческих, растерянных французами.

23-го сентября светлейший прислал ко мне в столовую (или в шалаш) приезжего флигель-адъютанта Шиншина. Князь готовил ему поручение и потому Шиншин, в ожидании, успел побывать в Севастополе и переночевал у меня в шалаше.

После обеда мы выходили на дорогу провожать Бутырский полк в Севастополь. За три дня перед тем он прибыл к нам от атамана Хомутова. Замечу здесь, что Хомутов был один из немногих генералов, вполне сочувствовавших князю в его затруднительном положении. Он всеми мерами спешил содействовать ему, чем только мог, и все лучшие части своих войск отправлял к Севастополю, по первому лишь намеку. За то светлейший искренно его уважал. Внимательность Хомутова простиралась до того, что он даже прислал князю, на случай награды нижних чинов, 25 знаков военного ордена. Вполне хороший был человек покойный Михаил Григорьевич!

Головной убор солдат Бутырского — точно также как и Московского — полка был придуман Хомутовым для удобства нижних чинов, заменяя им каски, оказавшиеся неудобными тем, что в жаркую пору они ссыхались. Шапки у бутырцев были вроде высоких кепи; прикрытые от солнца белыми чехлами, они придавали людям бодрый вид.

К вечеру князь послал известить Корнилова о намерении своем произвести рекогносцировку от реки Черной к стороне Балаклавы, предложив ему, со своей стороны, в виде демонстрации, сделать одновременно выдвижение части войск от Малахова Кургана. По мере наполнения Севастополя войсками, мрачное расположение духа Корнилова рассеивалось. Он немедленно назначил отряд согласно предложению князя.

24-го сентября, перед закатом солнца, князь был уже на площадке Мекензиевой горы, недалеко от спуска, при отряде генерала Рыжева, назначенного для исполнения помянутой рекогносцировки.

В ожидании начала движения, светлейший прилег у

небольшого костра и ужинал, потчуя и нас. Вынимая из жестянки вареный картофель, он подкладывал его к угольям, подпекал, обмакивая в соль кушал и похваливал. «Самая практичная закуска, — приговаривал он, — сытна, желудка не портит, да и хлопот с ней никаких нет». Эта жестяночка с вареным картофелем была всегда с нами в подобных случаях.

Еще до света 25-го сентября кавалерия Рыжева начала спускаться с Мекензиевой горы, светлейший же отправился на высоту, избранную им для наблюдений. Она находилась правее и на много впереди Мекензиевой горы, за лесистыми балками. Трудно было до неё добраться: шли мы по карте, которая, надобно заметить, далеко не удовлетворяла потребностям военного времени; масштаб её был 5 верст в дюйме[13]. При всём том, светлейший привел нас именно туда, куда мы направлялись, и на гору мы карабкались пешком, цепляясь за кусты. Было еще очень рано, однако уже рассвело настолько, что нам, на отдельной высоте, был виден еще спавший неприятельский конный пикет, в количестве приблизительно полуэскадрона; при нём были два орудия. Ниже этого пикета местность еще была покрыта утренним туманом.

Всё было тихо и мы с усиленным биением сердца и с напряженным вниманием ожидали минуты когда встрепенется неприятельский пикет; он был как раз на дороге Веймарского гусарского полка и мы думали, что он в наших глазах попадется как кур во щи. Не тут-то было! Видим, вдруг поднялась на пикете суматоха: пробудившиеся кавалеристы и артиллеристы бросились к лошадям и орудиям; полуодетые хватались за что и как ни попало; вскакивая в одних рубашках на лошадей, надевали амуницию, сидя на седлах, и строились в беспорядке. «Несдобровать этой горсточке, — думали мы, — у нас туча целая: дивизия кавалерии». И вот — показалась эта туча. Веймарцы, на своих вороных конях, подошли — и остановились; у них в резерве была сводная бригада. «Чего же медлят гусары? — спрашивали мы самих себя; — не улизнул бы от них как нибудь пикет»… И впились мы в трубы, а сердце так и стучит и на месте-то нам не стоится. Мгновенно с пикета сверкнул выстрел, другой… и веймарцы, повернув коней, погнали назад, а им во след выстрел. Ничего не видя, наши гусары понеслись на отступавших лейхтенбергцев, смяли задний эскадрон, причем один был убит, а трое изувечены. Сводная бригада пропустила отступавших; постояла, постояла и тоже обратилась вспять. Так огрекогносцировали мы расположение неприятельского войска, а еще было сказано: атаковать неприятельскую кавалерию, если придется встретить… У англичан в Крыму, всего-то навсего,

насчитывали до 900 кавалеристов. Так дело ничем и не кончилось. Кого винить в этой неудаче? Кому, если ни ближайшим начальникам веймарцев было одушевить гусар, готовых ринуться на неприятелей по первому возгласу командиров. Прямо скажу: их одурение не должно быть вменяемо в вину солдатам, которые, при других условиях, показали бы себя истинными молодцами. По всей вероятности, начальники не разглядели как ничтожен неприятельский отряд, бывший у них, так сказать, в горсти; заслышав выстрелы, они вообразили себе, что зашли чересчур далеко, и оробели… А им ли было робеть, когда для обеспечения их отступления на Мекензиевой горе были наготове два полка пехоты при двух батареях, да с гусарами была еще Донская батарея.

Когда наши скрылись, пикет успокоился, а светлейший, поспешив спуститься с горы, напрямки поскакал к гусарам. Здесь мне привелось быть свидетелем гнева и негодования князя, едва ли не в первый раз за всё время моего нахождения при нём.

Крымско-татарский полуэскадрон, шедший впереди гусар, наткнулся на английский разъезд и успел захватить двух драгун; остальные спаслись, пользуясь туманом. Как бы в отмщение за неудачу, обоих пленных вели связанными.

— Стыдитесь! — крикнул светлейший полковому командиру Бутовичу-Бутовскому, — не вымещайте на пленных своей неудачи… Долой веревки!

Между тем, князь, прибыв к гусарам, застал перепалку двух командиров между собою. Халецкий упрекал Бутовича за его непозволительное отступление и, завидев светлейшего, подъехал к нему с жалобою. Я съехался с адъютантом Харьковского губернатора Кокошкина, Гриневым, который накануне, по поручению своего генерала, прибыл к нам в армию и попросился у князя участвовать в рекогносцировке. Так как он был свидетелем скандала с веймарцами, то и рассказывал все его подробности, как беспристрастный зритель, сперва мне, а потом светлейшему.

По возвращении на бивуак, князь немедленно написал приказ об отобрании полка у Бутовича и послал меня показать содержание приказа князю Петру Дмитриевичу Горчакову. Петр Дмитриевич, прочитав приказ, пошел к светлейшему просить об отмене этого распоряжения, на том основании, что — во 1-х) не имеется в виду подходящего штаб-офицера для замещения Бутовича, а во 2-х) что князь еще не уполномочен, так как он не главнокомандующий, а ему только подчинены войска, как старшему по чину. Светлейший согласился и ограничился лишь выговором Бутовичу в приказе.

При наших наблюдениях с упомянутой высоты, нам были видны со стороны Балаклавы два неприятельские укрепления и лагерь на Сапун-горе.

Князь долго не мог забыть злополучной рекогносцировки и, провожая Гринева, просил его — «не выносить сору из избы».

26-го сентября гусар отправили к Бахчисараю, где их соединили с сводной резервной бригадой, под командою генерала Рыжева. В этот день узнали мы, что неприятель шарил что-то около Ялты, выбросив там какой-то отрядец. Вследствие этого, на другой день (27-го числа) князь послал Вилебрандта с отрядом рекогносцировать местность к стороне Ялты. Между тем, союзники в течение предшествовавших дней заготовляли всё потребное для траншейных работ и подвозили предметы для вооружения своих батарей. Таким образом, 28-го сентября, пользуясь бурной погодой, ночью, они открыли осадные работы. После продолжительного штиля, тогда задул первый свежий ветер. С оборонительной линии Севастополя неусыпно старались мешать работам союзников.

День 29-го сентября светлейший посвятил осмотру неприятельских работ против правого фланга нашей оборонительной линии. Замечу здесь, что, со времени прибытия нашего отряда на Бельбек, делались охотниками из Севастополя частые вылазки для разорения хуторов, для осмотра местности, или для захватывания неприятельских постов. Вылазки эти развивали удальство и они поощрялись начальством. Князь послал Корнилову четыре знака военного ордена: из них три достались бутырцам, один — матросу.

30-го сентября уланская дивизия генерал-лейтенанта Корфа, прибывшая в Крым, обложила Евпаторию и с этого дня блокировала ее.

1-го октября Владимирский полк занял Чургун, куда был назначен дивизион сводных улан, с целью препятствовать подвозу неприятелям жизненных припасов туземцами-татарами из Байдарской долины. Осматривая расположение этого отряда, светлейший снабдил командира его инструкциею и распорядился отобранием у неприятеля водопоя на Черной речке. В этот же день из Евпатории была сделана вылазка, причём с нашей стороны был единственный раненый — генерал-майор Владиславлевич.

2-го октября светлейший получил известие о скором прибытии в нашу армию их высочеств, великих князей Николая и Михаила Николаевичей.

Необыкновенно заботливый характер светлейшего, при обширном круге разнообразной его деятельности, не давали ему

покоя: он целые дни проводил на ногах или на коне, мало пользуясь и палаткой, разве только когда приходилось писать. Во избежание суетни, он держал около себя, под рукою, всё в исправности и порядке, дабы в случае тревоги не приходилось хвататься за что ни попало. Никогда не разбрасывал вещей: всё, в чём только была надобность для дела или для поездки, было размещено по многочисленным карманам его одежды. В карманах у князя находились все письменные принадлежности, справочные и памятные записки, вырезки из карт известных позиций, циркуль, лупа, бинокль, сбор хирургических инструментов, вещи для перевязки, патроны, запасные часы, маленький револьвер, ржаные сухарики, мятные лепешки, фляжка с коньяком — и чего, чего только у него не было; и всё-то в систематическом порядке, так, что, никогда не шаря по карманам, князь доставал прямо и сразу что ему было нужно. Одежду он постоянно носил одну и ту же, флотской формы. На нём был черный жилет с карманами в три ряда; за ним камзол — тоже с шестью карманами; сверх камзола князь надевал коротенькую серую шинельку в рукава, солдатского сукна и покроя, переполненную карманами, и сверх её накидывал еще широкую солдатского-же серого сукна шинель, сшитую на манер плаща, длиною немного пониже колен. Для карт у него была особая сумка, надевавшаяся на казака, равно как и большая зрительная трубка в чехле.

Головной убор князя состоял из черной флотской фуражки, на которую в жаркие дни надевался белый чехол; на поясе князь носил полусаблю. Лошадь его седлалась английским седлом, которое накрывалось вальтрапом, сделанным из бурки. Он управлял лошадью казацкой уздечкой, а в правой руке держал тоненькую двухвостую плетку, рукояткой которой упирался в переднюю луку. Так езжал он на шагу в спокойные минуты; когда же он спешил, то опускал плетку книзу и помахивал ею по боку лошади, поторапливая ее ногами. По ночам он вообще плохо спал; часто выходил из палатки, прислушивался, всходил на бугорок и оттуда смотрел в сторону Севастополя. В особенности если там подымалась пальба, то князь следил за огнем, покуда она не умолкала.

С вечера, когда бивуак начинал затихать, светлейший скидывал шинельку и вместо её надевал коричневый шерстяной материи халат на вате, с поясом, а на голову старенькую тёмно-зеленую шапочку из сафьяна, и так уходил почивать, укрывшись солдатским плащом. Во всё военное время мне не случилось заставать его лежащим в постели, хотя я и находился при нём почти безотлучно. Ночью я всегда слышал, как он выходил из своей палатки: бывало, всегда кашляет выходя на воздух. Мне

было как-то совестно спать, когда светлейший бодрствовал, и я тоже выходил из шалаша. Завидев меня, он тихо окликал, чтобы никого не потревожить, и я подходил к нему. Не слыша оклика — я не позволял себя нарушать уединения князя. Замышляя какое либо дело и обдумывая его ночью, князь выходил из палатки и направлялся к той стороне, где оно предполагалось, и, отойдя на простор, долго и долго вглядывался в темноту. Потом тихо возвращался в палатку. В это время я всегда бывал наготове, так как светлейшему часто встречалась надобность в справках касательно местности или дороги. После бесконечных тревожных забот в продолжение целых дней, мне бывало отрадно перевести дух в тихую ночную пору. Однажды я отыскивал на небе мою любимую вечернюю звездочку и поворачивал голову во все стороны уносясь взорами в бесконечное пространство, усыпанное яркими светилами ночи. Неслышно подошел ко мне князь Александр Сергеевич и обычным, кротким своим голосом спросил:

— Ты верно отыскиваешь север, где твои родные? Вот, я научу тебя как по звездам можно стать безошибочно лицом к Петербургу.

И он объяснил мне как надобно отыскивать полярную звезду и, постановив меня лицом к ней, сказал: «ну вот, теперь ты смотришь на север».

В другие раза он знакомил меня с созвездиями; объяснял как их узнавать и где находить в те или другие часы суток; рассказывал о многих приметах моряков, по которым они предузнают приближение бури. С удовольствием слушал я его весьма понятные объяснения и мне казалось, что в эти минуты поучительной для меня беседы светлейший душою отдыхал от непрерывных забот дня.

К утру он засыпал хорошо; вставал рано, пил наскоро кофе и тотчас же принимался за дело, или куда нибудь уезжал. Обедал в 4 часа, один в палатке, иногда же садился и с нами в шалаше, что случалось большею частью когда у нас бывал какой либо приезжий. Князь не завтракал, не ужинал, по вечерам пил чай с кусочком хлеба. Вообще в пище был удивительно умерен, довольствуясь малым: суп, мягкий кусок говядины, разварной рис и что-нибудь сладкое — таков был его вседневный обед; жаркого он никогда не кушал, говоря, что к этому блюду он всегда бывает уже сыт.

Распоряжения по войскам светлейший делал чрез полковника Вунша, бывшего при нём за начальника штаба; письменною частью он занимался с камергером А. Д. Камовским.

Камовский, как и все мы, очень любил князя и всегда

сокрушался о том, что светлейший, можно сказать, ни за что и ни про что, наживает себе врагов в Петербурге, которые его заедят. «До сих пор, — говорил мне Камовский в начале октября, — князь не соглашается подписать реляции об Алминском деле: все проекты ему не нравятся; этого, говорит, не было, зачем писать? а о том, что было — писать неутешительно. Так и откладывает со дня на день, а в Петербурге реляцию ждут…».

Так, ждали реляцию, да и не дождались. В военном министерстве была составлена своя реляция, при сочинении которой не был даже принят во внимание рапорт князя от 9-го сентября о битве под Алмою. Камовский, однако, настоял на отсылке настоящей реляции, которая пришла после обнародования составленной в Петербурге.

Печально было настроение духа светлейшего, и не могло быть иначе: со времени высадки союзников прошел месяц, а к нам прибыло лишь два батальона, да 10 эскадронов молодежи; за ними еще несколько батальонов, которые, из жалости к нам, Хомутов рискнул урвать у своего отряда.

Организованной армии в Крыму не было; да и главное начальство над всеми наличными силами края не было сосредоточено в руках князя. Между тем, война уже кипела; несколько тысяч полегло, а нам приходилось довольствоваться обрывками, выпрошенными князем у Хомутова.

Домашними средствами ограждали Севастополь; домашними же средствами обороняли и его, и весь Крым. Наконец, сжалился князь Горчаков и из южной армии прислал к нам две дивизии: пехотную и кавалерийскую; но что значила эта малость, когда надобно было спешить задавить врага, покуда он еще не осмотрелся и не получил подкрепления.

Пехотная дивизия была 12-я; князь ожидал ее с нетерпением и ей уже готово было назначение.

В Севастополе ожидали бомбардирования и штурма. Необходимо было иметь свободный отряд, который бы мог действовать в тылу союзников и отвлекать их от штурма. Кавалерийская дивизия была драгунская, сорокаэскадронная; она тоже могла быть как нельзя более кстати. Едва головные части 12-й дивизии вступили в Бахчисарай, как князь, не теряя времени, уже вытребовал оттуда за приказанием командира 1-й бригады, генерала Константина Романовича Семякина, и поручил ему сделать рекогносцировку в тылу неприятеля и, заняв высоты впереди Чургуна, угрожать союзникам.

4-го октября светлейший сам поехал на сказанную позицию встретить войска Семякина и на самом месте объяснить ему назначение отряда. 6-го октября была удачно сделана диверсия, а

через два дня Семякин опять потревожил неприятеля.

Между тем, беспрестанно приезжали к нам гонец за гонцом справиться: что Севастополь? как Севастополь? — можно бы отвечать им: дайте прежде войск, а уж потом справляйтесь. Не любил светлейший справок и не слишком-то ласково принимал посланцев. Страдая за него, Камовский ворчал: «съедят князя, живьем съедят! Ведь они разнесут его по косточкам… Их нужно чествовать: как бы ни был мал человек, а всё же у него язык есть! Бог весть, что они там про нас порасскажут. Не могу уговорить князя не терять из виду своей славы, ведь это — история!»

Но светлейший не отступал от своего правила ни на шаг, до последней минуты военной своей деятельности в Крыму. Соглядатаев-посланцев, или приезжавших по какому нибудь пустому делу, пуще же всего под предлогом что-нибудь схватить, уловить, подметить, пронюхать — он спешил выпроваживать ни с чем. Зато приезжавших с известиями о подкреплении, или с уведомлением о подвозе припасов — светлейший всегда ласкал, давал поручения, придерживал при себе и впредь не забывал. Таков был его характер — неизменен и непреклонен.

Нежданным, в самые тяжелые для князя минуты, прикатил из Петербурга полковник генерального штаба Попов, присланный с предвзятою мыслью состоять при князе в качестве советника. Сам Попов знал про светлейшего только то, что он адмирал — стало, по мнению Попова, на суше ничего не смыслит, поэтому рад будет в его лице, иметь руководителя.

Светлейший, любя мундир генерального штаба и нуждаясь в хорошем офицере, ласково встретил Попова. Нежданный гость брякнул с маху: «прислан», мол, «к вам в качестве начальника штаба»… И это куда бы ни шло; но Попов, видя простое обращение князя, ободренный его приветливым приемом, начал шаг за шагом критически разбирать распоряжения светлейшего с минуты выступления на Алму, указывая при этом, как он должен был поступать. Рецензии свои знаток военной науки приправлял, впрочем, снисходительными намеками, на незнание адмиралом сухопутного дела. Князь был поражен, но, терпеливо выслушав рецензента до конца, сказал ему:

— Ну, теперь идите к Панаеву.

Попов, взволнованный своими объяснениями, но еще не понимая своей ошибки, и со мною продолжал разговор на ту же тему и с большим одушевлением порицал дело, в курсе которого вовсе не был, не зная ни обстоятельств, ни местности, ни средств наших. Словом, выражаясь попросту, — так опростоволосился, что князь, подойдя к Камовскому, сказал: «нам учителя прислали; его надо отправить назад»…

Но А. Д. Камовский уговорил князя дать Попову какое нибудь назначение в армии, и светлейший приказал написать Корнилову, чтобы он, приняв Попова в гарнизон, назначил его к Моллеру — начальником штаба сухопутных войск. Попов, переконфуженный, ворчал; а светлейший, в этот день обедая с нами, объяснил гостю, на что преимущественно, в новой своей должности, он обязан обратить внимание. Переночевав у нас, Попов отправился в Севастополь.

Между тем, в Севастополе, именно 4-го октября, оборонительная линия была изготовлена к бомбардированию. Корнилов, после лихорадочной деятельности в течение целого месяца, осмотрев в этот день укрепления, наконец перевел дух, и прислал сказать князю:

— Мы готовы, да и неприятель, кажется, — тоже. Завтра надо ожидать бомбардирования.

X

Рано утром, 5-го октября, поднялась канонада. Мы побежали на бугор, но огонь так быстро охватил Севастополь, что отличить выстрелов своих от неприятельских не было уже никакой возможности. Густой, черный дым застилал всё; отдельных раскатов не было слышно, но вся масса выстрелов слилась в сплошной, оглушительный гул, какого, до той поры, еще, я думаю, никто из нас не слыхивал. Князь поскакал в Севастополь; мы — за ним.

Переправясь на Корабельную сторону, мы увидели, что на подъеме уже валялись трупы, хотя это место и было прикрыто горой. Объезжая первые три бастиона, мы держали путь по гряде откатывавшихся ядер: они ложились плотно одно к другому, как булыжник на прибое моря. Новые ядра, подлетая, суетились, крутились, толкались, прочищая себе место.

Колонны, предназначенные для отбития штурма, стояли, прикрываясь как могли. Таким образом около госпитальной стенки прижался Бутырский полк. Командир его, полковник Федоров, увидев князя, подбежал к нему, предостерегая от невыгодного направления, которое тот избрал для своего пути. Князь придержал лошадь, указывая Федорову, в свою очередь, безопасные места для полка. В этот самый миг, ядро громадного размера, пробороздив пред лошадью светлейшего, осыпало нас дождем твердой земли… Если бы Федоров не приостановил князя, тут бы он и погиб; но только лошадь его шарахнулась, и мы поехали далее, пробираясь на правый фланг. Узнав на дороге, что Корнилов его уже объехал и возвратился на квартиру, светлейший направился к нему.

У дома Корнилова дожидалась лошадь; Владимир Алексеевич вскоре вышел и, сообщив князю, что французские батареи призатихли, — проехал с ним до Екатерининской пристани.

Мы еще не успели возвратиться на бивуак, как началось бомбардирование с моря. Князь поспешил на бугор, с которого мы обыкновенно делали наши наблюдения, и приказал переменить ему лошадь.

Гром от беспрерывной пальбы был невообразимый. Тучи черного дыма заволакивали всё видимое небо и только изредка можно было уловить глазом тёмно-красные огни, вырывавшиеся из жерл громадных орудий. Всего удобнее нам было рассмотреть громадный трехдечный корабль, который, став как раз в тылу Константиновской батареи, возле берега, безнаказанно громил ее в хвост. Сначала мы были рады, что корабль, не видя скрытой за

мыском мортирной батареи, занял эту позицию, не ожидая гостинцев которые поднесут ему наши пятипудовые мортиры и две коронады. Батарея эта, устроенная на берегу бухты, была обращена жерлами орудий к морю, именно с тем, чтобы чрез мысок озадачить смельчака на случай покушения… Но батарея молчит. Что же она не кончает с этим кораблем? Ждем с нетерпением его гибели, но он цел и невредим… Или командир батареи не видит врага, или на ней все перебиты?

Князь послал меня узнать, что там случилось, но в нетерпении, следом за мною поехал и сам. Что же оказалось? В суматохе, когда французы, после Алминского дела, приближались к Севастополю, Корнилов, из опасения, чтобы враги не овладели такими страшными орудиями, велел опрокинуть их в море!! Вот почему Константиновская батарея так много пострадала в первый день бомбардирования.

От Константиновской батареи я доехал берегом до батареи № 4. Здесь, вижу, спешит шлюпка: гребцы сильно навалились, кормчий, почтенных лет отставной морской чиновник, с напряженным вниманием следит за падающими в воду снарядами и лавирует между всплесками от бомб… Наконец, стал держать прямо куда ни попало, лишь бы поскорее достигнуть берега. В шлюпке всё его семейство; две дочери, подсобляя гребцам, напирают на весла. Слышу — глухой, дряхлый голос кормчего:

— Спешите, спешите, дети! Уж близко… близко!.. Навались, молодцы!..

Шлюпка коснулась берега; два багра мигом вцепились в него.

— Все вон! — торопливо крикнул старик, удерживая шлюпку багром.

Седой, как лунь, он привлек на себя мое внимание. Его старческая, напряженная фигура, судорожно стиснутые губы, раздутые щеки, выражали какое-то сосредоточенное, тоскливое ожидание. Глаза его никуда не смотрели, но были налиты кровью.

На берег выпрыгнули все, он — последний, и шлюпка сама отошла от берега. «Дальше! дальше!!» кричал старик своему семейству; сам же, оборотясь к своей отплывавшей спасительнице, пристально смотрел на нее, будто чего-то ожидая… В этот самый миг, удар снаряда и шлюпка — в щепы. Старик отвернулся, точно ему только этого и нужно было, погрозил кулаком в сторону англичан и сказал, переводя дух:

— Опоздала, Виктория![14] — перекрестился и пошел догонять свое семейство.

Некогда было мне предаваться сочувствию этой простой, но глубоко трогательной сцене: я спешил исполнять поручения светлейшего, но она врезалась в мою память.

Объехав береговые батареи северной стороны, светлейший возвратился на бивуак. Канонада стала притихать, дым начал редеть, поврежденные корабли союзников потянулись от берега и мы имели возможность присесть закусить. Светлейший был с нами… В эту минуту из Севастополя пришло известие: Корнилов тяжело ранен!

Все мы всполошились, князь собрался опять ехать в Севастополь, послав наперед узнать, где он может найти раненого; но в это самое время другой гонец доложил, что Корнилов уже скончался. Глубоко пораженный, светлейший не вымолвил ни слова: но в этом безмолвии было неизмеримо более красноречия, нежели могло быть в самом блестящем панегирике.

Корнилов, до последнего вздоха, принадлежал своему великому и святому делу, и в предсмертных страданиях, теряя память, не потерял присутствия духа: последнее ему донесение было о том, что английские батареи также умолкли, сбитые подобно французским; при этом известии он и скончался. Вечная ему память!

Сколько в день кончины Корнилова было еще в Севастополе геройских смертей и кончин праведников; сколько погибло людей и непричастных бою и сколько, наконец, отлетело в вечность невинных, младенческих душ — перечесть трудно. Вот, между прочим, случай, кровавыми чертами врезавшийся в мою память. Офицер ластового экипажа, спасая свою маленькую дочку, прятал ее повсюду: то, укладывая в яму, не велит ей шевелиться; то, забежав за строения, припрячет ее там; то засадит ее в погреб… и повсюду казалось ему опасно. Вдруг пришла ему счастливая мысль: на берегу бухты, в скалистых обрывах есть пещеры; туда бомбы не достигают и дочь его будет в совершенной безопасности. Схватив ребенка за руку, бедный отец бежит по Екатерининской площади, — а снаряды снуют, раздирают воздух и бороздят площадь. Прикрывая собою малютку, он достиг берега; вдруг, бомба — и нет малютки! Крохотные члены её разлетелись по воздуху, кровь брызнула на отца… С волосами, поднявшимися дыбом, остолбенелый, оглушенный, он уставил глаза на ручку убитой, уцелевшую в его плотно сжатой горсти…

— Куда девалась девочка? Отдайте ее мне, я ее спрячу в пещеру! — кричал несчастный, как безумный бегая по площади.

Много раз пробежал он взад и вперед, махая в воздухе окровавленною ручкою дочери; долго искал ребенка, спрашивая встречных… Машинально спустился к пещере, обошел ее кругом; воротился на площадь и остановился в недоумении; поднял еще тепленькую ручку к небу, будто показывая, что она там!.. Затем, несчастный побрел собирать далеко разметанные клочья тела

своей малютки. Снаряды уже не летали, ничто не мешало ему… Пришла ночь; офицер сел на обрыв берега, положил себе на колени кровавые останки дочери: обнимал, целовал, обливал их слезами; так застало его утро. Дальнейшая его участь неизвестна.

Всё утихло и мы улеглись, но в Севастополе не спали: за ночь производили исправления и твердыни его сделались как бы несокрушимыми. С нашим пробуждением пробудилась и канонада и заревела по вчерашнему. Французские батареи в этот день еще не могли открыть огонь, так как они сильно пострадали; зато 7-го октября бомбардирование сопровождалось тем же ожесточением, как и в первый день. Лишь с моря союзники не отваживались атаковать. С 8-го по 13-е октября бомбардирование продолжалось почти с одинаковою неослабною силою, каковою оно отличалось в первые три дня: начинаясь с утра, прекращалось к вечеру. Пороху тратилось, как говорили, от 1500 до 2000 пудов в сутки; выпускалось до 10 000 снарядов. Легко выговаривать цифры, но трудно выразить всю степень ужаса, охватывавшего сердце при мысли, что громадное это количество пороха и чугуна предназначалось для посева смерти.

Потери в людях уменьшались день ото дня: они приучились укрываться от снарядов; при всём том насчитывали выбывшими из строя с 5-го по 13-е октября около 3500 человек. В первый день мы потеряли около 1000; во второй и третий уже 500, а затем по 250 человек.

Жительницы Севастополя, в недоумении и в тяжком ожидании, чем окончится страшная катастрофа, разразившаяся над городом, не оставались праздными её зрительницами и спешили, с своей стороны, кто чем мог поусердствовать общему делу. Одни поили раненых; другие обмывали раны, приносили им бинты, ветошки или сами как умели перевязывали легкие раны. Между тем сделано было распоряжение об отправке раненых на северную сторону бухты: некоторые дамы последовали за ними, и там, в отведенных для госпиталя помещениях, они с неутомимым усердием заботились о несчастных. В числе известных мне дам, кроме упомянутой прежде Елизаветы Михайловны Хлапониной, была Екатерина Висарионовна Хомякова, тоже очень милая дама, жена артиллерийского офицера одной батареи с Хлапониным. Прилагая все попечения к поданию помощи раненым, они порядком утомлялись и, лишь на четвертый день бомбардирования, Хлапонина, чтобы хоть несколько освежиться, вышла из госпиталя на чистый воздух. Опустясь с крыльца, она встретила носилки, на которых несли раненого, в бессознательном положении. С участием взглянув в лицо вновь принесенного, она узнала в нём своего мужа! Не скоро могла

несчастная опомниться; силы душевные ее оставили; машинально последовала она в госпиталь за носилками, остановилась подле койки, на которую уложили раненого Хлапонина, и как будто не сознавала, что тут делается. Посторонние подавали помощь её мужу, а она, удрученная горем, была в каком-то оцепенении. После того она еще дней десять провела в госпитале, а потом решилась увезти мужа в Симферополь, откуда он чрез несколько месяцев, почувствовав себя в силах, всё-таки поспешил возвратиться в Севастополь, к своей батарее.

Касательно подвоза пороху были приняты князем Меншиковым самые деятельные меры. Он посылал за порохом повсюду, где только знал, что есть склады; его везли, везли, но всё еще было недостаточно, и случалось так, что из Петербурга светлейшему пишут, например, что он, в случае надобности, может получить порох из таких-то и таких-то складов, — а порох уже давно и взят светлейшим и израсходован в Севастополе. Ревностным пособником князя по этой части был полковник граф Петр Андреевич Шувалов: куда, бывало, светлейший его ни пошлет, он живо слетает и пороху добудет. Помнится, по возвращении своем из Киева, граф Шувалов рассказывал нам, что, забирая там снаряды, он, до укладки их в приспособленные к тому парковые полуфурки, приказал их запрячь для испытания и пропустить по улице; полуфурки этой пробы не выдержали: от продолжительной стоянки они рассохлись и снаряды пришлось везти на обывательских подводах.

XI

8-го октября светлейший получил назначение быть главнокомандующим морскими и сухопутными силами, расположенными в Крыму. Таким образом определилось, наконец, его положение и выяснились его отношения к флоту и к армии. Вместе с тем император прислал князю груду орденов и знаков отличий для раздачи достойнейшим, изъявляя при этом милостивое желание, чтобы светлейший выдачи наград не откладывал.

Князь опечалился: ему казалось, что награды теперь несвоевременны. Государь, конечно, не знает о том, что происходит в Севастополе, а то, быть может, и он дозволил бы переждать, дать пройти «страстным» дням неумолкающего боя на смерть. В эти дни награды могли бы, — так думал Меншиков, — нарушить святость тех бескорыстных жертв, которые каждый из защитников Севастополя спешил принести на алтарь его спасения.

Но делать было нечего и милостивая воля императора должна быть исполнена: он прислал награды, прятать их нельзя, следует раздать, а не то — в Петербурге разумную отсрочку князя могут перетолковать в превратную сторону. Да и действительно, мог ли кто из посторонних лиц допустить мысль, чтобы царская награда могла когда нибудь быть несвоевременна? Между тем, в данном случае, оно так и было. В страшные дни бомбардирования нельзя было указать на особенно отличившихся: все без различия прилагали свои усилия, насколько их хватало, чтобы постоять за Севастополь, и кого же тут было отличать, когда отличались — все? Не следовало подавать и мысли защитникам Севастополя, чтобы один из них мог быть лучше прочих, так как всех одушевляла одна и та же мысль — умереть за родной город. Уцелеть никто не думал, да и мудрено было гадать на сохранение жизни, так как достаточно было взглянуть на эту кровавую свалку, чтобы отложить о жизни всякое попечение. Не ожидая награды от царя земного, каждый защитник ежеминутно готов быть предстать пред царем небесным!

Так думал князь и эти мысли разделяли с ним все защитники Севастополя: Меншиков боялся, что ратники божии оскорбятся предложением им как бы платы за кровавый труд. Если бы каждому севастопольцу в эти минуты надеть на шею чугунный крест и сказать: «неси его к праотцам», то они все с восторгом приняли бы этот символ страдания и спасения. При отсылке наград светлейший со вздохом сказал:

— Простите, священные минуты Севастополя: сегодня последний день бескорыстной его защиты!

Всем нам тоже сделалось грустно; даже Камовский заметил: «напрасно, я бы придержал!» Награды были розданы; некоторые ознаменовали получение их — вспрысками.

На следующий день приехали к нам моряки и жаловались на то, что князь прислал награды. Одни заспорили, другие не хотели брать, и ночь вообще прошла в беспорядках, спорах и пререканиях.

Облеченный в звание главнокомандующего, светлейший назначил адмирала Станюковича на место Корнилова, себя же заместил князем П. Д. Горчаковым, который во всё время был добрым ему помощником.

Накануне первого бомбардирования, именно 4-го октября, подошла к Севастополю в полном своем составе 12-я пехотная дивизия генерала Липранди. Князь расположил ее на позиции впереди Чургуна и, с целью отвлечь внимание союзников от Севастополя, поручил Липранди угрожать неприятелю с этой стороны, присоединив к нему еще бригаду гусар, под командою генерала Велички, и 4 эскадрона улан резервной кавалерии.

Между тем союзники, для охранения своего тыла и Балаклавы, после рекогносцировки нашей, бывшей 25-го сентября, устроили против нас, на высотах, четыре редута. Сзади были видны еще и другие укрепления, но еще неоконченные. Редуты были расположены приблизительно в шахматном порядке.

12-го октября светлейший решил быть делу. Накануне он послал в Чургун Вилебрандта, поручив ему содействовать вновь прибывшим войскам своим знанием местности. Когда мы заслышали канонаду со стороны Чургуна, князь поехал, по обыкновению верхом, на место боя. Приближаясь к месту сражения, мы встретились с Вилебрандтом. Он донес Светлейшему; что дело уже кончено и чрезвычайно успешно, причём взяты четыре редута и истреблена английская кавалерия. Из рассказов его о подробностях этого дела припоминаю следующее:

К 8-ми часам утра главный редут был взят с бою, а остальные редуты были оставлены самими турками. Затем, гусарская бригада была послана для истребления парка, расположенного близ Кадыкьоя: она сделала наступление и встретилась с неприятельской кавалерией, почти неожиданно, да еще и на тихом аллюре. Эскадроны, развернув фронт друг против друга в весьма близком между собою расстоянии, остановились в нерешимости, что весьма понятно, если принять в соображение, что удар атаки производится обыкновенно на карьере, при

котором увлечение скачки придает отваги и запальчивости бойцам; тут же враги съехались шагом и взаимно выжидали, кто первый начнет… Наконец, драгуны английской кавалерии бросились на наших гусар, которые приняли их жестоко: кому из веймарцев попадался драгун, тот, ухватив его одной рукой за что ни попало, немилосердно тесал саблею! Замечательно, что наши златоустовские клинки разрубали латы; при этом наши молодцы, поймав жертву, не ограничивались нанесением раны, но рубили неприятеля до тех пор, покуда он не валился с лошади. Когда, наконец, неприятельские кавалеристы высвободились из наших когтей и рассыпались, то преследовать их было невозможно, так как подоспевшая неприятельская артиллерия открыла удачный огонь.

Кавалерия наша отступила и, пройдя широкой долиной, в виду неприятеля, за наши резервы, к самому перевязочному пункту, у левого берега р. Черной, спешилась и стала оправляться. Вся эта бригада перестроилась в резервный порядок, в густую эскадронную колонну: впереди стоял Лейхтенбергский, а сзади Веймарский гусарский полк. Эскадроны же резервной кавалерии стояли гораздо впереди и левее гусар, в боевой линии за высотами, но с лошадей еще не слезали.

Казачья батарея, под командою князя Оболенского, была с гусарами и заняла высоту впереди и правее долины, и тоже оправлялась. Пехота стояла за высотами, под ружьем. Между тем неприятель, со своей позиции, рассмотрев, вероятно, что густую колонну нашей кавалерии, а также и батарею, можно захватить врасплох, решился воспользоваться быстротою своих лошадей и пустил в атаку на наших гусар английскую кавалерию, а на батарею — французских конных егерей; других наших войск неприятель не мог видеть. Таким образом английская кавалерия, под командою Кардигана, понеслась по широкой долине, эскадрон за эскадроном, и так стремительно, что успела беспрепятственно проскакать нашу боевую линию. Поздно заметили гусары эту атаку: бросились к лошадям — и только что головной эскадрон наш успел выскочить вперед, как уже встретился с англичанами. Бой закипел и лишь тогда подоспел второй эскадрон. Опрокинутый неприятель ринулся назад, но уже до своих не доскакал, потому что уланы резервной кавалерии ударили во фланг задним эскадронам, а пехота и артиллерия с обеих сторон долины приняли уносившихся таким убийственным перекрестным огнем, что они все тут же в долине и полегли.

Командир уланского полка полковник Еропкин, сильный, рослый мужчина, отличился в этом деле: стоя на позиции, в стороне от своей части, он отъехал поодаль и рассматривал

долину; вдруг на него наскакал английский офицер, который, видя, что у Еропкина сабля в ножнах, требовал, чтобы тот сдался, угрожая, в случае отказа, выстрелом. Еропкин так свистнул англичанина кулаком по голове, что тот кувырнулся с лошади. Тут только Еропкин увидел атаку, бросился к своим и, ударив во фланг задних эскадронов, смял их и тем помог гусарам отбиться. Французские же конные егеря, наскакав на казачью и еще на пешую батарею, стоявшую на Федюхиных высотах, порубили прислугу.

Слушая рассказы Вилебрандта, мы переехали р. Черную на самом месте перевязочного пункта и тут глазам нашим представился богатырских форм труп гусара, того самого ординарца генерала Халецкого, который на Алме взял в плен французского полковника Ла-Гонди; труп унтер-офицера Зарубина лежал на бугорке, раскинувшись навзничь. Светлейший пожалел об этой потере: Зарубин был молодец.

Приняв донесение, главнокомандующий, в сопровождении Липранди и бригадного командира генерала Семякина, объехал редуты и всходил на тот, который Семякин с Азовским полком взял штурмом. Редут этот был устроен на высокой, крутой и гладкой горе, наподобие кургана, так что достигнуть до него было трудно. Светлейший достойно оценил подвиг и благодарил молодцов.

Возвращались мы той долиной, где полегла английская кавалерия. Грустно было смотреть на распростертых англичан, рослых и красивых как на подбор, в новых, нарядных мундирах. Они только что прибыли в Крым, как бы нарочно на убой. Множество раненых лошадей бродили в жестоких муках: они сходились в кучки, словно деля между собою горе… Лошади, подобно бывшим их всадникам, отличались большим ростом и красивыми формами. Светлейший не без сострадания спешил проехать эту плачевную картину, предлагая Липранди распорядиться погребением убитых.

Липранди представил Семякина главнокомандующему, как отличного боевого генерала и распорядительного начальника. Семякин возбудил к себе расположение светлейшего, который обратил на него особенное внимание, расспрашивал о прежней служебной деятельности, и впоследствии взял к себе в должность начальника штаба, уважал, любил и всегда сохранял о нём доброе воспоминание.

Ободренный успехом Балаклавского дела, светлейший, желая дать неприятелю понятие о приращении сил севастопольского гарнизона, приказал сделать из Севастополя большую вылазку на Сапун-гору. 14-го октября, в час пополудни, командир Бутырского

полка, полковник Федоров, с 6-ю батальонами при 4-х орудиях, исполнил эту вылазку, но она не удалась. При встрече с англичанами, Федоров был скоро ранен и мы, с большою потерею, в особенности офицеров, принуждены были отступить, преследуемые неприятелем.

Между тем главнокомандующий, рассчитывая поддержать Федорова, в случае если бы ему удалось оттеснить англичан, сам отправился на позицию к Липранди и предупредил его. В Чургуне мы застали тогда целые табуны лошадей, доставшихся нам накануне от англичан. Уральские казаки водили их по улице, отыскивая покупщиков. При этом, рассмотрев ближе, я успел заметить, что лошади большею частью были или очень стары, или безобразно велики, или, наконец, с такими пороками, с которыми лошади в нашей кавалерии всегда бракуются.

В деревне князь навестил раненых и в домике, в котором мы остановились, нашел раненого картечью сардинского офицера Ландриани, очень красивого кавалериста. Расспрашивая его, светлейший узнал, что он жених и сокрушается лишиться ноги, которой угрожала ампутация. Главнокомандующий принял в нём участие и, благодаря тому, ногу сардинцу отстояли.

Тут же, в другой комнате, мы были свидетелями операции. Гвардейский офицер, окончивший курс в военной академии, был ранен пониже плеча штуцерною пулею; она прошла навылет, но в ране остались обрывки аксельбанта и их-то и вынимали из раны. Как теперь вижу прекрасные, полные жизни и отваги формы красивого юноши; он сидел бодро на стуле и улыбался. На белой груди его алел кровавый зигзаг. Впоследствии он умер от этой раны.

Ко времени движения Федорова на Сапун-гору, главнокомандующий вышел из деревни и возле Чургунского отряда наблюдал за её высотами. Хотя отряд у Липранди на случай был готов, но мы, заслышав выстрелы, вскоре увидали как наши по отлогостям уже отступали.

В течение трех дней, 15-го, 16-го и 17-го октября, в действующих войсках ничего особенного не предпринималось. Мы ожидали прибытия двух дивизий 4-го корпуса и дивизии драгун.

18-го октября главнокомандующий перенес свою квартиру в Чургун и там ему, впервые с 3-го сентября, довелось ночевать под крышей: ровно шесть недель были им проведены на бивуаке.

Редутов, взятых в Балаклавском деле, войска наши не занимали, а ограничивались наблюдениями за ними: делались разъезды и выставлялись посты. Для поверки этих постов и чтобы высмотреть какие и где производятся работы у неприятеля,

светлейший послал однажды меня подъехать поближе. Забравшись довольно далеко, я увидел на полянке порядочную кучку сидящих турок или татар, в костюмах из верблюжьего сукна, с башлыками на головах. Оставив лошадь с казаком за высотой, я отправился ползком…

Заметив в толпе беспокойство, я притаился и уже растягивал свою подзорную трубку, чтобы хорошенько рассмотреть, что тут делал неприятель, как вдруг эти мнимые турки, широко распластав крылья, поднялись на воздух и улетели! Оказалось, что это была стая огромных, рыжеватых орлов, собравшихся на лошадиную падаль. Как только они успевали проведывать о добыче, которую война доставляла им в обилии! до того времени их нигде не было видно. Удивительное чутье! «Где труп, там соберутся и орлы», гласит евангелие. Еще на бивуаке, в долине реки Качи, появились громадные вороны, алкавшие крови. Потом, ближе северной стороны бухты, на военном кладбище, появились стаи собак, вследствие чего сделано было распоряжение об охранении могил.

18-го, 20-го и 21-го октября, на нашу позицию непрерывно подходили войска 10-й и 11-й дивизий; подошла и драгунская дивизия генерала Врангеля. Таким образом у Чургуна собрался весь 4-й пехотный корпус, семь полков кавалерии, несколько сотен казаков; да еще в авангарде был отряд Жабокрицкого.

Стягивая войска в виду неприятеля, главнокомандующий огромными силами грозил союзникам нападением с тыла и тем вынудил их отделять значительную часть войска от Севастополя в Балаклаве. Этим князь, избравший другой пункт атаки, достигал своей цели. Для главнокомандующего было весьма важно, чтобы неприятель не проник замыслов нашей армии; поэтому светлейший, опасаясь лазутчиков, сам поддерживал в наших войсках убеждение, что готовится нападение от Чургуна.

Вообще светлейший был очень осторожен и всегда готовил военные предприятия в глубочайшей тайне. Своими предначертаниями он делился только с главными участниками дела. Поэтому, даже самым близким к нему людям, зачастую, случалось узнавать о каком нибудь деле лишь накануне боя. Видя, как светлейший серьезно относится к боевым распоряжениям, никому из них, конечно, и в голову не приходило видеть в подобной его скрытности знак недоверия; мудрено ли, что и теперь они были в том же заблуждении, как войска?

Главнокомандующий поручил мне набрать провожатых из туземных жителей и раздать их в полки, что и было мною исполнено в совершенном убеждении, что они поведут части к стороне Балаклавы.

Прибывавшие войска располагались и князь спешил взглянуть на солдатиков оком наблюдателя. Пользуясь тем, что в новых войсках его еще никто не знает, он ездил между кучками солдат, которые копошились на бивуаке. Вид его, всегда скромный, казался тут еще скромнее. Чтобы удобнее карабкаться на высоты и оттуда наблюдать за лагерем неприятеля, князь ездил по окрестностям Чургуна на лошаке. Войска его не узнавали, следовательно, и не стеснялись его появлением, а это князь очень любил. Прислушиваясь к толкам в войсках, можно было легко убедиться, что никому и в голову не приходит настоящий скрытный план главнокомандующего.

22-го октября, главнокомандующий, после обеда, уехал в экипаже к Севастополю, а мне приказал передвинуть главную квартиру из Чургуна на Северную, к батарее № 4.

Между тем 10-я и 11-я дивизия к ночи тихонько снялись с позиций и скрытно перебрались — 10-я в Севастополь, а 11-я на Инкерманские высоты.

— Что же это такое? — подумал я, — вероятно, отмена?

В недоумении бродил я около инженерного домика; там главнокомандующий совещался с генералами. Поговаривают, завтра быть делу, препоручается оно Данненбергу; спешат, чтобы союзники не открыли перемещения наших войск и не догадались о перемене нашего намерения.

Я стою и жду у крыльца: совещания кончились и светлейший, провожая генералов, сказал вполголоса:

— Так завтра вечером опять соберемся.

Увидав меня, он подозвал к себе. На столе, который, по тесноте комнаты, стоял наискось с угла на угол, была разложена карта. Князь прикоснулся к ней и с некоторым раздражением сказал:

— Ничего, братец, они не понимают! Данненберг говорит только о своих каких-то «крестовых порядках», Павлов не понимает ситуации и Соймонову не могу втолковать… Должен отложить дело на сутки; а тут, того гляди, подъедут великие князья… я их жду с часу на час.

Затем светлейший вкратце объяснил план предстоящего боя и я вышел от него, перебирая в памяти все предшествовавшие распоряжения главнокомандующего, клонившиеся к замаскированно настоящего пункта атаки; при этом я вспомнил и о провожатых. Опасаясь, чтобы не вышло какой нибудь путаницы, так как провожатые настроены к наступлению от Чургуна, я решился завтра напомнить генералам, чтобы они проводников предупредили…

XII

Окончив распоряжения о предстоявшем деле, светлейший получил известие, что завтра, 23-го октября, прибудут в Севастополь Великие Князья Николай и Михаил Николаевичи, т. е. приезд их как раз совпадал с кануном дня, назначенного для сражения. Не было сомнения, что Их Высочества непременно пожелают в нём участвовать. Удержать или отклонить Великих Князей от их намерения будет невозможно, но чем это может кончиться? Не успев осмотреться, по юношеской неопытности, Их Высочества скорее других могут подвергнуться опасности… Эти соображения много озабочивали главнокомандующего.

22-го октября, перед закатом солнца, Великие Князья прибыли в месторасположение нашей главной квартиры. Так как мы ожидали прибытия Их Высочеств, то и встретили дорогих гостей наших при выходе из экипажа. Меншиков проводил их в инженерный домик, который уступил Их Высочествам, перебравшись сам в караулку угольщика, до того времени занимаемую мною.

Когда совершенно смерклось, я уселся за самовар, поставленный на обломке ящика. На мой огонек подошли товарищи и присоседились к моему чайнику. Речь шла о том, как бы отклонить участие Великих Князей в предстоящем деле. В это самое время кто-то перешагнул через мое левое плечо и раздались слова:

— И не думай! Мы непременно поедем в дело.

Я приподнялся, узнав голос Великого Князя Николая Николаевича. Усадив меня, Его Высочество сам сел возле, сказав мне:

— Ну, угощай и меня. Готовь нам, брат, лошадей, — продолжал Великий Князь, — и вовремя разбуди, чтобы нам быть готовыми раньше главнокомандующего.

Я отнекивался, представляя Его Высочеству, что для участия их в деле ничего не приготовлено. Я присовокупил, что к первому следующему сражению всё будет устроено как следует; теперь же исполнить желание Их Высочеств тем затруднительнее, что при главной квартире нет лошадей не только для свиты Их Высочеств, но даже для них самих.

Его Высочество, встав, взял меня за руку и сказал:

— Веди нас в конюшню и показывай лошадей.

Тут только я заметил Великого Князя Михаила Николаевича, молча стоявшего сзади нашего кружка.

Когда Их Высочества вошли в сарай, в котором помещались

князя Меншикова и мои лошади, то я, пользуясь темнотой, всеми средствами старался скрыть от Их Высочеств настоящее количество лошадей; но Великие Князья потребовали фонарь и начали сами выбирать из числа моих собственных. Я доложил, что лошади, на которых они указывали, неудобны для сражения; что они или не объезжены или боятся выстрелов; но Великий Князь Николай Николаевич, угадывая мою уклончивость, сказал:

— Не хочешь нам дать лошадей, так мы поедем на казачьих.

Тогда, видя, что все старания мои безуспешны, я назначил им лошадей и успокоил Их Высочества обещанием, что разбужу их своевременно.

Расставаясь со мною, Великие Князья сказали:

— Смотри же, не плутуй, а то навеки будешь враг!

Затем я пошел доложить главнокомандующему, что Их Высочества непременно желают участвовать в деле. Этим временем Великие Князья присоединились к кружку адъютантов Меншикова и шутили над мною, рассказывали им, как я увертывался, да не увернулся.

Видя, что Их Высочеств невозможно отклонить от их намерения главнокомандующий обратился к содействию генерала Философова, который, хотя и не ручался за успех своего посредничества, однакоже обещал переговорить с Великими Князьями. Окончив свои объяснения с генералами, командирами отдельных частей, собиравшихся в дело — Меншиков вышел ко мне и сказал шепотом:

— Не буди рано великих князей! Философов, может быть, пособит… Дело будет кровопролитное и я очень беспокоюсь. Императрица, в письме, убедительно просит, чтобы я «берег её детей…», но скажи: как тут уберечь? Ну что, ежели, не дай Бог, что случится?!..

Разделяя опасения главнокомандующего я решился всю ответственность пред Их Высочествами принять на себя. Когда всё стихло, я распорядился седланием лошадей и, в ожидании рассвета, присел совершенно готовый, в конюшне, приняв твердое решение не будить Их Высочеств… Часа через два, слышу, кто-то крадется в конюшню, приподнимаюсь и узнаю Великих Князей.

— А, поймал! — сказали они мне. — Ну, покажи, готовы ли лошади?

Я указал, что всё готово и наши истинно русские молодцы успокоились.

Не доверяя мне, Великие Князья, вероятно, не спали всю ночь, потому что, раннею зарею, были уже совершенно готовы. Когда Меншиков вышел, сел на лошадь и тронулся в путь, то увидел, что Их Высочества, со свитою, уже ехали впереди его. Это

встревожило главнокомандующего однако же он поспешил догнать Великих Князей, приветствовал их и благодарил за исправность.

Заслышав канонаду, мы стали подгонять наших лошадей. Дорогою главнокомандующий сказал мне:

— А диспозицию-то Соймонов и Павлов так мне и не прислали!

Подъехав к Инкерманской плотине, мы были задержаны переходом через нее артиллерии — арьергарда отряда Павлова. Это — нас, знавших распоряжение по войскам, весьма удивило, так как мы, по времени, полагали, что все части войск должны были находиться на месте боя. Кроме того, на плотине, нам встречались уже массы раненых. Они тянулись к Инкерману и многие из них сопровождали свое шествие воплями и причитаниями. — Это не понравилось не только нам, уже насмотревшимся на подобные сцены, но и Великие Князья видимо были возмущены воплями. При всей нежности их юношеских сердец, Их Высочества увещевали плакавших голосом укоризны…

Мы совершенно недоумевали, каким образом на плотину уже могли поспеть раненые, коль скоро дело должно было происходить верстах в четырех, а может, и пяти от этого места? Из ответов раненых мы не могли себе составить никакого понятия о ходе дела. Наконец, встретили адъютанта генерала Павлова Алабина: он сообщил нам, что взята английская батарея, но что и сам он не мог добиться никакого толку, так как войска Соймонова спутались с войсками Павлова. Известие, что Соймонов тяжело ранен, встревожило светлейшего: он поскакал на подъем Сапун-горы. В это время мимо нас пронесли на носилках раненого артиллерийского офицера Унковского. Картечь прошла ему между обеими челюстями сбоку и лишила возможности закрыть рот, из которого торчал обезображенный язык с запекшейся кровью. Рану эту Унковской получил в ту минуту, когда открыл рот для командования. Впоследствии я видел его в Симферопольском госпитале, уже поправляющимся.

На площадке Сапун-горы, по-видимому в довольно значительном расстоянии от места битвы, нас одолевали штуцерные пули: из нашей свиты уже контузило снарядом адъютанта Грейга и флигель-адъютанта Альбединского, обоих в голову. Озабоченный присутствием Их Высочеств. Меншиков упрашивал их не скучиваться, дабы не представлять удобной цели неприятельским стрелкам. Но заботливые предостережения главнокомандующего как бы придавали неустрашимости и хладнокровия Царственным Витязям.

Каждый очевидец Инкерманской битвы подтвердит, что

присутствие Великих Князей под боевым огнем служило важною нравственною поддержкою бодрости в наших войсках: одушевляя их, Великие Князья торопили арьергард, подгоняли отсталых, не обращая внимания на пули, пронизывавшие воздух.

Не понимая, в каком положении дело, Меншиков послал меня отыскать Данненберга и порасспросить его. Я поскакал по направлению к верховьям Килен-балки и скоро нашел его. Данненберг стоял на правом фланге горячо действовавшей батареи… Лишь только я его завидел, как на ней взлетел зарядный ящик.

На мой вопрос Данненберг сухо отвечал:

— Скажите главнокомандующему, чтобы он прислал мне войска: у меня ничего нет; нет даже прикрытия артиллерии и она почти вся подбита.

В это время, взглянув влево, я увидел пехоту, толпившуюся в стороне, поотдаль от батареи. По пути, как туда, так и обратно, я встречал непрерывные кучки солдат, спешившие поперек моего направления, лощинами, к стороне Инкермана и преследуемые штуцерным градом.

Когда я доложил Меншикову ответ Данненберга, князь, подгоняя хвосты войск Павлова, послал меня призвать, генерала. Не доезжая того места, на котором я оставил Данненберга, мы встретились, и я передал ему желание главнокомандующего видеть его. Генерал ответил мне, что он сам едет к князю, и просил указать ему направление, в котором он может найти главнокомандующего. За генералом тянулась значительно пострадавшая, подле него действовавшая батарея.

Возвратясь к месту, где Меншиков ожидал прибытия Данненберга, я был подозван Великими Князьями, ласково предложившими мне закусить. Неизгладимо врезалось в мою память это радушное предложение хлеба-соли, в день восприятия Великими Князьями огненной купели на полях Инкерманских. Покуда я был близ Их Высочеств, они собирали около себя падавшие штуцерные пули, рассматривали их, удивлялись силе их удара, так как большая часть пуль расплющивалась, ударяясь о камни.

Когда и где главнокомандующий встретился с Данненбергом, этого не знаю; но посылая меня за ним в третий раз, светлейший сказал, что он, кажется, направился к Севастополю. Из разговора с Данненбергом, светлейший убедился, что дело проиграно, и немедленно предложил их высочествам удалиться в Севастополь: они повиновались главнокомандующему. Посылая меня за Данненбергом, светлейший увидел, что великие князья уже в Севастополе, едут по оборонительной линии и что по свите их

открыт огонь с неприятельских батарей. Он немедленно послал предупредить их высочества о перемене избранного ими пути.

Въехав, в свою очередь, в Севастополь, я никак не мог сообразить, по какому направлению искать Данненберга; однако же я нашел его около тюрем и сообщил ему желание главнокомандующего, прося дождаться на месте прибытия светлейшего. Данненберг слез с коня и сел на камень; я же отправился в обратный путь к князю, и вскоре возвратился вместе с ним… Я отъехал в сторону, чтобы не быть свидетелем их разговора, вероятно крупного, по окончании которого генерал продолжал свой путь во внутрь Севастополя, а князь возвратился на Сапун-гору.

На Саперной дороге мы встретили артиллерию, а на площадке горы, в беспорядке, обрывки пехоты. Главнокомандующий сам принялся устраивать части; тут мне очень пригодилось знание пешего строя и я помогал князю. Единственный, как мне кажется, бывший при одной толпе офицер подошел к светлейшему и, растерявшись, извинялся за беспорядок, сказывая, что командиры все выбыли из строя, и, потому, не позволит ли главнокомандующий, вместо выбывших, поставить унтер-офицеров.

— Поставьте, — отвечал главнокомандующий.

По счастью, в это время он увидел Тотлебена, который тоже хлопотал собирая пехоту. Обрадованный князь поручил ему распорядиться, по усмотрению, прикрытием отступавших частей, в особенности пострадавшей артиллерии. Зуавы уже были в виду и положение было критическое, но Тотлебен молодецки отстоял пост.

Имея при себе сапер, Тотлебен всё еще надеялся как нибудь укрепиться на Сапун-горе, чего, однако, ему не удалось; положение его переменилось: вместо того, чтобы пехота прикрывала его работу, ему пришлось самому прикрывать её отступление.

Успокоенный присутствием Тотлебена на Сапун-горе, князь возвратился в расположение главной квартиры, а меня послал в Севастополь к генералу Тимофееву — узнать что происходило у него, так как, одновременно с нападением нашим на английскую позицию, он должен был совершить наступление от 6-го бастиона на французов.

Подъехав к 6-му бастиону, я заметил, что солдатики наши несли на ружьях и на носилках большею частью всё раненых французов и на вопрос мой: неужели наши раненые все уже подобраны? — получил в ответ, что своих-то всякий подымет, а французика-то тоже жалко. Замечательно, что французы

рисовались, позировались на носилках, выражая или совершенную беспечность, или принимая картинное положение… Чудаки, до позировки ли тут!

На обратном пути, под обрывами Сапун-горы, в мертвом пространстве, я видел как начальство силилось разобрать поодиночке спутавшиеся между собою части наших войск, но мало успевало: тут и Кирьяков хлопотал. По плотине неприятель еще палил с Сапун-горы. За мостом, недалеко от фонтана и влево от дороги, собралось множество раненых; их спешили убирать и для этого ловили полуфурки, нагруженные турами: они всё продирали мимо! Признаюсь, не мало труда стоило заставить фурштатов сбросить туры и уступить полуфурки раненым. Нагаек они не слушались, пришлось и мне обнажить саблю для внушения им чувств гуманности посредством чувствительных фухтелей! Туры назначались для саперных работ к Тотлебену, так как главнокомандующий имел в виду, в случае занятия нами Сапун-горы, укрепиться на ней. Теперь в турах этих надобности не было и полуфурки ехали с ними обратно.

По возвращении из дела, светлейший нашел у себя на столе копии с донесений Соймонова и Павлова; прочитав, он приказал мне отнести их к великим князьям.

После обеда главнокомандующий послал меня навестить раненых. Я начал с сарая, который был при батарее № 4; там до пятидесяти коек, в совершенном порядке и чистоте, были заняты ранеными французами. Вместо ожидаемых мною стонов и оханья, я был поражен раскатами добродушнейшего хохота. Прислушиваюсь к разговору: товарищей забавляет один французик с отнятыми выше колен ногами. Он весело балагурил, представляя бешенство своего сапожника в Париже, когда тот узнает, что ему сапог уже более не нужно.

Грустно мне было слушать эту веселую болтовню несчастного.

Опрашивая страдальцев, я получил от всех выражение искренней признательности за участие, оказываемое им русскими. Раненые, между прочим, любопытствовали знать: кто я такой? Узнав же, что я адъютант князя Меншикова и прислан осведомиться о их положении, — стали подниматься на койках и выражали знаки своего почтения, с особым чувством благодарности к главнокомандующему. Замечательно уважение французов к дисциплине: они почитают начальника и в неприятеле, тогда как для нашего солдата будь неприятель генерал, или рядовой — он разницы между ними не полагает. Француз — другое дело: ему непременно нужно знать — какой чин на неприятельском начальнике, есть ли у него ордена, чем

командует и т. п. и, по мере полученных им сведений, он оказывает неприятельскому начальнику знаки своего почтения.

Таким образом, когда светлейшему случалось встречать пленных французов, даже под караулом, они всегда отдавали ему честь. Не понимаю только, как они успевали узнавать от конвойных, кто попадался им навстречу, и сам князь недоумевал, как французы его узнают… Часто издали он предупреждал проводников, чтобы они проходили мимо как бы не узнавая его, однако ему редко удавалось попрепятствовать догадливости французов.

Из сарая, где помещались раненые, я направился к Инкерману; там на изволоке укладывали рядком бесконечное число раненых; им едва успевали подавать пить; для перевязок же просто не хватало никаких средств. Они сами кое-как возились со своими ранами и терпеливо покорялись необходимости. Дорогой я обогнал три казенные фуры с телами убитых: трупы в беспорядке, как накиданные дрова, наполняли телеги; руки, ноги, головы мотались через грядки, просовывались в щели и стукались о колеса. Зрелище ужасное! Я невольно отвернулся; но солдаты, провожавшие фуры, шутили и острили над неловким положением трупов, брошенных в телеги наскоро. Такова сила привычки видеть убитых непрерывно и ежедневно; такова бесчувственность могильщиков. Я, например, слышал такие речи: «эх, сердечный, голова-то как болтается, пожалуй оторвется! А ты меня, Грузков, как повезешь хоронить, то положи сверху, чтобы попросторнее было!..»

Кончился день, упитанный кровью, а сколько еще ужасов предстояло впереди!..

Размышляя о бедствиях войны, я пробирался в темноте на северную сторону, грустно опустив голову, и, не торопя лошадь, ехал шагом. Было уже поздно; в главной квартире всё утихло, когда моя лошадка остановилась у сарая. В конюшне заржали лошади, приветствуя усталого товарища; дежурный казак поднялся и я побрел к своему уголку. Как кто спал в эту ночь — не знаю, только все притаились, никого не было слышно.

Когда я пробирался мимо бухты, то заметил в темноте чью-то высокую фигуру, стоявшую неподвижно. Я подошел и узнал главнокомандующего: подняв голову, он смотрел в непроницаемый мрак на Сапун-гору.

— Что раненые, — спросил он меня тихо, — успели ли подобрать?

— Подобрать-то, кажется, подобрали, только им плохо, ваша светлость! — доложил я.

— Да, нехорошо. Соймонов напутал, Бог ему судья! —

заключил князь и опять повернулся туда, где еще не остыла свежая кровь.

Впоследствии, при обсуждении причин потери сражения, выяснилось что солдаты и офицеры дрались отчаянно; каждый из частных начальников исполнил свой долг по силе возможности. Много было явлено одиночных подвигов удальства; но могло ли всё это утешить главнокомандующего, потерявшего столько войска, но не подавшегося ни на шаг вперед… Под гнетом отчаяния он томился грустью.

Светлейший, однако, не всю вину приписывал Соймонову, так как Данненберг выказал вполне свою непрактичность в боевых распоряжениях: он ничего не предусмотрел, ничего не предупредил; в трудном случае не нашелся, не умел выйти из дела и остался хладнокровным — даже и не зрителем того хаоса, которого сам был причиною. Генерал покинул расстроенные войска в страшном беспорядке; уехал спокойно в Севастополь, не заботясь ни о прикрытии отступления, ни об устройстве полков, ни об участи раненых. Выехав из дела в самую критическую минуту, Данненберг находился далеко-далеко от своего корпуса, когда Тотлебен, вовсе не причастный делу, но как охотник, по одному слову главнокомандующего, отстоял путь нашего отступления.

Как было не сокрушаться о потере такого сражения как Инкерманское! При удаче — Чургунский отряд мог напасть на союзников с тыла… Ведь 60 наших свежих, чудных, как на подбор, эскадронов кавалерии, в числе которых 40 отличнейших эскадронов драгун, могли ворваться в неприятельский стан и сорвать осаду.

XIII

Ранним утром, 25-го октября, главнокомандующий объехал раненых, распорядился их размещением и проехал к Чургунскому отряду.

Здесь, из донесений князя П. Д. Горчакова усматривалось, что он, за неудавшейся атакой Данненберга, не решился сам предпринять ничего серьезного, опасаясь тем прибавить урону этому кровавому дню.

Парламентер, вызванный неприятелем для переговоров о погребении тел убитых, возвратился при нас и рассказывал, что союзники в отчаянии, что вылазка из Севастополя причинила им много вреда.

На следующий день светлейший объезжал бивуаки пострадавших полков, и солдаты знакомых ему частей, с остатками офицеров, толпой окружали князя, наперерыв рассказывали, что каждому удалось сделать, в сражении, и вообще все были веселы вследствие сознания, что каждый, на чью долю выпало бороться с неприятелем, сделал всё, что мог. Это можно было заключить по их живым и чистосердечным рассказам. В Тарутинском полку светлейшему передали, что когда англичане опять заняли отнятую у них батарею, то наши войска столпились перед ней и стреляли из колонны через головы товарищей, так как батарея была на высоте. Сзади подошел Селенгинский полк и его взял задор и он давай палить тоже вверх; но пули его, не долетая, падали на тарутинцев и от этого у них большая часть была ранена своими. Бородинцы и все офицеры подтвердили это. Поэтому главнокомандующий Селенгинского полка не благодарил, а сухо упрекнул солдат. Селенгинцы и не подозревали вреда, который нечаянно наделали тарутинцам.

Из всех слышанных рассказов невозможно было вывести заключения, что и как происходило. Ясно было только одно: что отряд Соймонова наступал не по той стороне балки, по которой следовало. В тесном месте встречаясь с неприятелем последовательными частями, он по частям был и разбит до прибытия отряда Павлова, с которым, в его очередь, повторилось тоже самое. Расстроенные части рассыпались по балкам и скатам Сапун-горы, кто куда попал. Поэтому восстановить дело не было никакой возможности.

На другой день, я, как знакомый с местом расположения наших войск, был назначен главнокомандующим сопровождать великих князей по бивуакам всех отрядов. Мне привелось быть

счастливым свидетелем того восторга, с которым их высочества были встречены солдатами. Мы посетили Бельбек, Инкерман, Чургун, и возвратились не рано.

Как ни огорчен был главнокомандующий потерей Инкерманского сражения, но его утешала бодрость духа, встреченная нм в пострадавших войсках: светлейший поспешил засвидетельствовать об этом государю императору всеподданнейшим донесением от 27-го октября (за № 465) и приказал представить себе списки отличившихся, для выдачи наград. Но неудача Инкерманского сражения повлияла на упадок духа севастопольского гарнизона, а по оборонительной линии поднялась суматоха, так как там полагали, что союзники, ободренные успешным отбитием нашего нападения, решатся приступить к штурму. Подобное настроение опять породило в защитниках города лихорадочную деятельность и томительное, беспрестанное ожидание штурма. Вследствие этого неоднократно были фальшивые тревоги, поднимались с обеих сторон канонады, губительно действовавшие на гарнизон; у нас было даже несколько взрывов пороховых погребов. Много тратилось пороху, снарядов, и потеря в людях была значительная… Так протекли последние дни октября.

Главнокомандующий, не разделяя опасений гарнизона, рассчитывал, напротив, что потери союзников в Инкерманском бою были настолько ощутительны, что они еще не скоро решатся на какое нибудь предприятие. С этой стороны он был покоен, но сокрушался об утратах в гарнизоне, совершенно непроизводительных; удерживать же встревоженных моряков он не мог.

Подозревая упадок духа в союзной армии и уныние, поддерживаемое безнадежностью и ненастным временем года, светлейший еще думал сам воспользоваться этим: с этой целью он просил прислать ему из Николаева еще пехотных войск: надобно было пополнить убыль в полках. В особенности ощущался у нас недостаток в лицах начальствующих и в правильной организации штаба главнокомандующего. Об этом князю просто некогда было хорошенько и подумать; время было горячее, спешное. Ему приходилось поспевать повсюду; целые дни и ночи он проводил в движении; при его преклонных летах, надобно было удивляться, как еще его всюду доставало. В себе одном он, можно сказать, совмещал целый штаб главнокомандующего.

Наконец, 1-го ноября, светлейший вызвал к себе генерала Семякина и назначил его начальником штаба, на место временно исполнявшего эту должность полковника Герсеванова, назначенного, в свою очередь, исправлять должность генерал-

квартирмейстера. Вунш исправлял должность директора канцелярии и, вместе с тем, заведовал продовольственною частью войск. Светлейший привык с ним работать и потому возлагал на него другие поручения, которые Вунш, по мере возможности, умел исполнять в точности. Впоследствии он был назначен генерал-интендантом, а директором канцелярии — Александр Дмитриевич Крылов.

Замедление в этих распоряжениях можно себе объяснить, как неимением под рукою способных или свободных лиц, так и тем, что до сих пор мы были как на горячих угольях, в беспрестанном ожидании катастрофы, долженствующей решить участь войны. Никто не думал, что война затянется; каждый день и каждую ночь мы ожидали решительного боя; главнокомандующий не снимал сюртука с плеч; сна почти не знал.

Пребывание великих князей в армии требовало однако необходимой обстановки — и вот, за батареей № 4, на площадке, устроился изрядный лагерь для чинов, состоявших при великих князьях, и для конвоя. Весело забелели палатки и оживилась мрачная наша жизнь. Раздались звонкие, молодые голоса; послышались песни, хохот; говор не умолкал; поднялась беготня, веселая суета; по вечерам появились огоньки в палатках, устраивались кружки у самоваров. Главная квартира как будто сбросила с себя покров угрюмости, самый её состав освежился, помолодел. Повеселел и главнокомандующий и на его лице появилась улыбка: он всегда любил молодежь с её светлыми надеждами, любил ободрять молодых людей, помогать им развиваться и радовался их успехам.

Достойно удивления было его всегдашнее уменье подмечать добрые наклонности юноши, ухватиться за его способности и руководить им, неприметно для него самого, до тех пор, покуда тот не оперится. Приемы князя, которыми он развивал человека, полны были такой деликатности, такого такта, что питомец скоро свыкался с мыслью, что он делал всё сам, не замечая, что к тому его за руку привел светлейший. Многие даже забывали, чем были в данном случае обязаны исключительно ему, и случалось, что они, усвоив что либо от светлейшего, потом ему же сообщали за свое. Князь не только не разубеждал их, но всегда старался поддерживать в них уверенность в их собственных способностях и тем придавал своим ученикам чувство самоуважения.

Когда мне случалось бывать свидетелем подобной самолюбивой забывчивости, то, признаюсь, хвастливый ученик был мне противен и я порывался уличить его, но воздерживался, понимая намерение князя побудить человека этим путем к самодеятельности.

Сохраняю воспоминание об одном человеке, который чрезвычайно благородно принимал подобные поощрения и всегда улавливал князя на слове, возражая ему на похвалы:

— Помилуйте, ваша светлость, за что вы меня хвалите? Ведь вы сами указали мне как сделать!

А князь ему отвечает, разводя руками:

— Не помню, не помню!

Но честный Тотлебен (то был он) не успокоится, бывало, а, при выходе, возьмет меня за руку и говорит с добродушнейшей улыбкой:

— Панаев, ведь вы помните? Князь при вас же мне толковал и, когда мне удалось исполнить его план, он же благодарит за выдумку… Князь, просто, меня конфузит!

Когда же мне не случалось бывать свидетелем доклада Тотлебена, а князь опять таким же образом его «конфузил», то он после отыскивал меня и непременно жаловался на светлейшего.

Отличный человек был Тотлебен, приятный, обходительный и всегда веселый. Мы все его очень любили и как только он, бывало, приедет к нам на Северную, так мы и спешим его окружить. Он не тяготился расспросами и, со свойственной ему доброй, простой и привлекательной манерой говорить, охотно отвечал каждому.

Светлейший не только высоко ценил Тотлебена, но душевно любил его больше всех в Севастополе: ни прежде, ни после не знавал я человека, которого бы он так любил, как Тотлебена.

И то можно сказать, что Тотлебен был счастлив расположением и доверенностью к себе князя Меншикова. Он не забывал того, что князь подготовил его на славный инженерный пост и еще продолжал руководить при обороне Севастополя. За эту-то скромность, за бескорыстную преданность делу, за заслуги при севастопольской обороне, князь Меншиков поставил Тотлебена на пьедестал, сооруженный всем русским и европейским миром защитнику Севастополя. Сам князь отклонился от почестей, предоставив Тотлебену пожинать лавры. На долю светлейшего достались клеветы, нелепицы, на него взведенные, — на них он и не возражал.

Тотлебен был последним и славнейшим питомцем в военной деятельности князя Меншикова. Наставник и ученик имели право гордиться друг другом.

В лагере главной квартиры приютился и я, разбив себе палатку, а подле меня поместился мой почтенный друг Николай Саввич Мартынов, только что прибывший в распоряжение главнокомандующего.

Мартынов, человек пожилой, из отставки вновь поступил на

службу артиллерии штабс-капитаном. Добыл себе турецкую, остроконечную палатку, взятую в Балаклавском деле на редутах. Казацкий офицер, от которого Мартынов ее приобрел, аккуратно поставил палатку и, по случаю ветра к ночи 1-го ноября, обложил полы её каменьями и, впустив в нее приезжего, наложил камень и на дверцу.

Уютно, на прекрасной складной кровати, улегся Мартынов, выражая соседям свое благополучие и неизреченную благодарность казаку-благодетелю. Кроме того, как изнеженный сибарит, он приехал к нам в прекрасном тарантасе с фордеком и привез с собой камердинера-итальянца, старого и преуморительного. Он поместил его в тарантасе, возле палатки.

Когда все улеглись, ветер стал свежеть, а после полуночи пошел дождик, всё сильней да сильней, наконец приударил ливнём и разыгралась буря.

Палатка моя промокла насквозь; спасения в ней уже не было: ее качало, рамка трещала, коробилась и полы наваливались на меня. Вдруг, слышу отчаянный крик Мартынова. Турецкая палатка влажными своими объятиями одолевала его и тащила к среднему колу; высвободиться из ужасных объятий он не мог; полы, обложенные камнями, бурею подтащило к середине… Мартынов звал на помощь своего итальянца, но тот отвечал из засады, что ему так хорошо в тарантасе, что он не решается вылезть из него в такую дурную погоду и советует лучше своему господину идти к нему. Но как же идти? В палатке уже на четверть воды, Мартынов в одном белье и выкарабкаться не может, двери закрутило, и парусинных пол, обремененных камнями, он приподнять не в силах. Когда рассвело, моя палатка не устояла: порывом бури сорвало её и все до одной палатки в лагере, разом. По обыкновению, и ночью одетый как днем, в больших сапогах, я спрыгнул с койки в воду и бросился спасать свой тулупчик. Не успел сделать и двух прыжков, как порывом ветра меня опрокинуло в лужу и насилу-насилу я достиг угла своего сарайчика: сунул туда мой неразлучный тулупчик… Оглядываюсь — и лагеря как будто и не бывало, его снесло и торчала одна только турецкая палатка Мартынова, но в каком виде! Ее закрутило улиткообразно и совершенно прижало к среднему колу. Некогда было мне заботиться о том, что в палатке делал мой приятель, я бросился на берег бухты: светлейший ночевал на «Громоносце».

Почти на четвереньках я добрался к берегу. Ветер рвал так, что, кажется, мог унести меня на воздух и единственным спасеньем было — лечь на землю. «Громоносец» был выкинут на берег: князь, при помощи матросов, спускался в шлюпку, которую

никак не могли удержать у борта, она металась как бешеная… Но вот, князь уже в шлюпке; за ним стали на руках спускать Камовского, с портфелем, но он как-то сорвался и упал в море! Ловкие матросы мигом выхватили и его и портфель. Камовского, почти без чувств, вынесли на берег; он совершенно окоченел; его в сторожке раздели, завернули в спасенный мной тулупчик и едва отогрели пуншем. Он заговорил лишь через час.

Как ужасны условия войны! Мы радовались этой буре, потому что она крушила неприятельские суда. Люди гибли простирая руки к небу, а мы?.. Мы чуть не пронизывали ядрами погибавших. Любопытно было посмотреть на печальное зрелище, но добраться до берега было так трудно, что не стоило и предпринимать поездки. Мы были уверены, что море возьмет свое.

Князь Ухтомский, храбрый и добрый молодой человек, решился попытаться спасать погибавших. Он отпросился у главнокомандующего и пустился на борьбу с бурею. Не буду говорить о том, какого труда стоило ему добраться до устья Качи; на выброшенной шлюпке, с казаками вместо матросов, князь Ухтомский, с неимоверными усилиями, несколько раз достигал борта судна, нагруженного французской кавалерией: упрашивал неприятелей сойти на берег, обещая им спасение… Но они не решались. Между тем, шлюпка не в состоянии была держаться, ее выбросило на сушу; князь с казаками опять стащил ее в воду, опять достиг до судна, опять стал предлагать помощь — и опять напрасно! Все его попытки были безуспешны и кавалеристы погибли в море… По странному предубеждению, французы полагали, вероятно, что в руках у русских им будет хуже, нежели на дне морском. Измученный Ухтомский возвратился на другой день и всё тужил о том, что ему не удалось спасти французских кавалеристов.

Союзный флот много пострадал в бурю 2-го ноября: насчитывали до тридцати судов, потерпевших крушение в виду берегов Крыма; из них половина была судов военных и большего размера, да кроме того многие суда потеряли рангоут. На погибших транспортах находились части войск, теплая одежда, снаряды, порох. Наши суда на рейде тоже порядком потерпели: буря тащила их с якорей, наваливала друг на друга, прижимала к скалам и сажала на камни. Деятельность во флоте кипела; несчастные случаи были предупреждены. Без повреждений не обошлось, но они были незначительны.

На другой день рано, когда утренний туман только что рассеивался, мне случилось быть на пароходе «Громоносец», откуда в это время было усмотрено, что блокшиф корабля «Силистрия», который был затоплен на левом фланге линии

заграждения рейда, вдруг показался из-под воды. Как мертвец из гроба, один из дедов черноморского флота поднялся со дна морского, — после страшной бури, взглянуть на внучат.

«Силистриею» долгое время командовал Нахимов и когда, за несколько лет тому назад, корабль состарился и пришлось сдавать его в порт, то Павел Степанович очень сокрушался, не признавая еще дряхлости корабля «Силистрия». Теперь корабль этот, точно в подтверждение защиты бывшего своего командира, одолел море и всплыл на поверхность, как бы доказывая этим свою силу.

Это зрелище несказанно поразило моряков и они вскрикнули в удивлении:

— «Силистрия» встает из мертвых!

Действительно, было что-то таинственно-грозное в этом появлении со дна морского старого корабля и многие делали по этому поводу разные суеверные предположения. По исследованию оказалось, что корпус блокшифа оставался на дне, а всплыла лишь оторванная палуба с бортами. Впоследствии, через семь месяцев (в июне 1855 года), когда Нахимов был смертельно ранен, говорили, что «Силистрия» напророчила ему смерть.

Буря 2-го ноября нанесла нам суровую непогоду: наступило ненастье, пошли дожди, подули ветры, холод, снег, даже морозы. Союзники бедствовали, да и нам было не хорошо, хотя обтерпелый наш народ был привычен к своему климату и умел управляться с ним. Всё же войска изнурялись лишениями по недостатку подвозов: дороги были адские. Люди на бивуаках еще кое-как укрывались от непогоды в шалашах и норках; но лошади в коновязях быстро изводились и кавалерия вскоре была не в состоянии нести аванпостную службу. Около половины ноября главнокомандующий приказал отправлять кавалерию частями по деревням к стороне Евпатории на поправку. Когда эти войска разместились по квартирам, то за Алмой, в покинутых деревнях, находили в домах много сгнивших трупов англичан, кучами, вповалку. Это были раненые в Алминской битве, не подобранные своими. По рассказам пленных, захваченных тогда казаками, можно было заключить, что большая часть раненых притащилась к берегу, когда флот уже снимался с якоря. На призыв их никто не отозвался и они так и погибли: кто тут же на берегу, а кто посильнее — тот забрел в деревни и погибал здесь от ран и голоду, в невыразимых мучениях. Когда трупы несчастных были убраны, то смрад, внедрившийся в жилищах, был так силен, что его невозможно было выносить: дома так и остались незанятыми войсками.

Так нашей многочисленной кавалерии и не удалось получить

применения к делу; она составила для армии более бремя, нежели принесла пользы. Лошади обессилели до того, что не в состоянии были нести всадника; главнейшей тому причиною был, разумеется, недостаток фуража.

Впоследствии думали воспользоваться лошадьми для транспортирования провианта на вьюках, но и это не удалось.

Неблагоприятное для военных действий время года вынудило врагов к взаимному затишью. Никаких движений предпринять было невозможно; грунт совершенно растворился, расползался под ногами, налипал на них.

Пользуясь временем, союзники ограждали свою позицию с тылу и с правого фланга непрерывным рядом укреплений и вскоре сделали ее неприступною. Между тем, траншеями они значительно приблизились к Севастополю и одолевали нас штуцерным огнем. Для наших амбразур потребовались заслонки, но они оказались как-то непрактичны: представленные главнокомандующему образцы были неудовлетворительны и общего применения не получили.

В это время участились вылазки и легкие стычки с неприятелем; как союзники, так и наши, желая воспользоваться непогодой, пускались в маленькие предприятия и наталкивались друг на друга. К нам, на Северную, часто приводили пленных, перебежчиков, и представляли их главнокомандующему вместе с удальцами, их захватывавшими. Офицеры, начальники вылазок, часто присылались к светлейшему для личного изъяснения дела.

Так тянулось время нашего тяжкого, безотрадного положения. Ненастье, недостаток приюта утомляли светлейшего; после тяжких трудов он не находил себе отдыха ни днем, ни ночью, ни на пароходе, ни в караулке. Тоска и бедственное положение войск, вынужденное бездействие, наконец, преклонные лета при мучительном хроническом недуге, до того расстроили телесные и нравственные силы князя, что он опасался окончательно слечь и перемогался потому только, что в армии не имел в виду лица, которому мог бы передать свой трудный пост. Притом, не веря в пользу большего состава штаба главнокомандующего, князь не спешил увеличивать численности его.

Стараясь управляться с теми лицами, которые он уже приспособил к делу, светлейший, вместе с тем, дорожил их силами и рабочим временем. Поэтому, избегая без особой нужды отрывать их от дела, он часто сам отправлялся работать к ним на квартиру.

Несмотря на разбросанное размещение и отдаленность квартир за горами и балками, князь, после вечернего доклада,

бывало, что нибудь вспомнит, сядет на лошака и отправляется: ночь, темнота, грязь, ветер, дождик, снег — его не останавливают. Казак идет впереди с фонарем; князь за ним пробирается, рискуя сорваться с кручи в овраг, но подобные опасения ему не приходили и в голову; он думал свою думу и ехал на Сухую балку к Вуншу, а оттуда, совсем в противоположную сторону — к Семякину. У меня бывало сердце обмирает; но Бог миловал и ни разу никакого несчастья не случилось… Отзывались эти разъезды только на его здоровье — растревожась к ночи, он потом плохо спал.

Утомляясь не по силам, князь сам всегда заботился о покое других и дорожил силами каждого. Так, например, в подобные тревожные ночи, он, бывало, даже не приказывал дожидаться себя шлюпке, отвозившей его на пароход, где ему ночевать было спокойнее. Князь не желал беспокоить капитана и утомлять матросов и ложился на берегу в караулке, в душном, маленьком чулане.

Вскоре в нашу армию на место Данненберга прибыл барон (ныне граф) Д. Е. Остен-Сакен.

После утомительно скучных дней, наступил наконец день и веселый — именно 15-е ноября, в которой главнокомандующий приступил к раздаче знаков отличия за Инкерманское дело. Первые награды он возложил на грудь Их Высочеств Великих Князей Николая Николаевича и Михаила Николаевичей.

Призвав Их Высочества к себе, Меншиков возложил на них знаки ордена св. Георгия четвертой степени и поздравил с монаршею милостью, так как Великие Князья получили этот почетный орден с соизволения Его Величества в воздаяние их мужества, оказанного 24-го октября в деле против неприятеля.

Не приготовленные к выражению высокой милости Императора, Их Высочества не знали, зачем их приглашал к себе главнокомандующий; но мы, штабные лица, уже за час до того проведали и собрались около выхода из караулки князя Меншикова, с тем, чтобы иметь счастье принести Их Высочествам наше поздравление.

Когда Великие Князья с Георгиевскими крестами на груди вышли от главнокомандующего, мы радостно их поздравили… Но Их Высочества, в смущении, сказали нам, в один голос, что им совестно перед нами; что каждый из нас более их заслужил награду; что на то была воля главнокомандующего и потому они убедительно просили его распространить награды за Инкерманское дело на всех достойнейших.

Действительно, через несколько дней, главнокомандующий подписал списки, ему представленные.

XIV

В ноябре месяце 1854 г. князь Меншиков очень беспокоился, опасаясь за недостаток провианта. Он писал князю М. Д. Горчакову, прося его пособить горю. Вследствие этого из южной армии высланы были сухари, которых мы ждали с большим нетерпением. Около этого времени, когда подвозы были почти невозможны и в армии ощущался до известной степени голод, сухари, после частых задержек в пути, наконец прибыли. Прибыли, но как? их подтаскивали частицами, и многие подводчики, истинные мученики, похоронив в грязи волов или лошадей, подле погрязнувших возов, приходили в штаб, спрашивая, что им делать?

— Что делать? — отвечали им, — да ничего: так и идите домой пешими, как есть. Вот вам и всё. Война, братцы, одно слово — война, ничего не сделаешь. Идите с Богом и спасибо, что хоть сами уцелели.

— Так, батюшки, так! — отвечали горемыки и уходили, а потом возвращались с грузом, как ни в чём не бывало. Иной бедняк вторично загубит скотинку и опять придет.

— Ты, — говорят ему, — другой раз здесь — и грязи не побоялся?

— Да чего, батюшки, бояться? Мы видали какой есть Севастополь, так вдругорядь смелей.

— Ведь ты уж раз поморил лошадей, знал какова дорога…

— Как не знать, родимые, знали; только мы теперь с «боньбами». Значит — *надо везти*…

Невольно подивишься, что это за славный народ! он своим не дорожит, лишь бы сдать в исправности кладь, и очень доволен тем, что ему не вменили в преступление его бедствия. Ни разу не случилось мне услышать жалобу или требование за убытки. Этот народ как будто был рад, что и на его долю выпадало принесение жертв на защиту Севастополя; но сам он своего подвига не сознавал, да и где ему было открыть в себе эти похвальные чувства. Они проявлялись в нём проблесками, именно в том спокойствии, с которым мужичок принимался за вторичный подвоз боевых снарядов или продовольствия.

Рассчитывали подводчиков щедро; но они брали деньги, не зная им счета, только благодарили за неожиданную плату и потом, когда опять собирались со средствами, жертвовали ими на новую перевозку.

При всех затруднениях, сухарей навезли в большом количестве, чему главнокомандующий был очень рад. Команды,

нарочно для того наряжаемые, разбирали сухари с брошенных подвод и пешие приносили их на себе, делая таким образом сами приемку их довольствия.

В один из последующих дней, главнокомандующий, взяв меня с собою, поехал к войскам, расположенным на Инкерманских высотах. Проезжая мимо бивуака казаков, еще близ главной квартиры, мы заметили на разостланных рогожах какие-то черные комки, которые сушили казаки. Приняв это за табак, вытащенный из моря с разбитых судов, мы с князем еще посмеялись этой добыче.

Дорогою, кн. Александр Сергеевич жаловался на неудачи и неурядицы в различных особенно важных распоряжениях по военному ведомству.

— Как же было в прежние войны, ваша светлость?

Князь махнул рукой и, не взглянув на меня, проговорил:

— То же самое было; так же воевали.

Потом, помолчав, он продолжал:

— Войны не каждый день бывают. Начнется — всем ново; путают, попадаются впросак, делают ошибки за ошибками… наконец выучиваются, дело пойдет на лад, а война кончается. С окончанием войны всё забывают; историки врут; наука не подается вперед; ошибки, беспорядки — шито и крыто. Новая война: новые ошибки на старый лад, или наоборот — старые ошибки на новый лад — и ловко сочиненные реляции обманывают не только безучастных, но убаюкивают внимание и самых влиятельных лиц; им приятнее выслушивать слова утешения и они не только не добираются до истины, но, напротив, как бы отворачиваются от неё. Утихает война и шумно подымается рой писак и валяют, кто во что горазд! Рассказы *очевидцев* отрывчаты и всегда клонятся к украшению частных эпизодов боя; общего хода дел в горячее время никто не выслеживает; события сменяются событиями и нить этой последовательной смены утрачивается. Проходят годы: являются историки, собирают материалы и зарываются в их лабиринте; были смешиваются с небылицами, проверить нет возможности — и историк в затруднении. При том, часто не будучи практиком военного дела, он начнет пригонять факты по теории вероятия, заблуждается и невольно искажает сущность происшествия. В горячей работе своей, распаляя воображение, он представляет себя полководцем и двигает полки по карте, быть может и так, как бы оно должно было быть на самом деле. Однако, в сущности этого не служилось и непосвященный в таинства военной науки читатель остается в заблуждении… Да этого мало: сам автор сочиненной им истории, увлекаясь удачной пригонкой и ловким

изложением происшествий, доходит до того, что совершенно добросовестно верит в свой же вымысел!

Произнося эти памятные для меня слова, кн. Меншиков оживился: он редко высказывался, особенно когда приходилось разочаровывать слушателя. Потом он опустил голову и долго ехал молча, задумавшись. Наконец, как бы продолжая речь, произнес:

— Я не доживу, но ты будешь читать историю!

В благоговении слушал я мудрого старца, который лучшие и самые впечатлительные годы жизни посвятил служению на ратном поле и пролил на нём немало своей крови[15]. Я не проронил ни одного слова из его речи, и не могло быть иначе: я слушал образованнейшего государственного мужа в полном смысле этого слова. С юных лет, независимо от военного поприща, он подвизался на разнообразных постах деятельности государственной и всегда был неусыпным стражем чести и славы России. Его уму каждый образованный человек отдавал преимущество, но не чувствовал стеснения в присутствии князя Александра Сергеевича, который не только не кичился своими способностями перед людьми, но скорее делился ими.

Объехав бивуак, князь обозрел аванпосты, выставленные от Инкерманского отряда генерала Липранди; проверил направление цепи. Возвращаясь по линии резервов, мы застали в последнём резерве ужинавших солдат: они черпали из манерок какую-то жидкость, похожую на кофе, вылавливая в ней кусочки, черные как угольки. Эта похлебка обратила на себя внимание князя; он приветствовал людей обычным пожеланием «хлеба-соли», пристально посмотрел на кушанье и проехал мимо, приказав мне слезть с лошади и попробовать пищу. Я исполнил приказание князя и крайне удивился, когда, отведав, увидал, что это был не кофе, а вода, окрашенная сухарями последней приемки. Определить вкус этой жидкости было невозможно: она пахла гнилью и драла горло.

Догнав главнокомандующего, я доложил ему о том, чем питаются солдаты. Его как бы передернуло и он почти вскрикнул:

— Ах, это верно из южной армии нам прислали те самые сухари, которые во множестве были забракованы войсками Горчакова. Интендантство сбыло их ко мне и то, что мы давеча видели с тобой на рогожах, был не тютюн, как ты мне сказал, а те же несчастные сухари!

Стиснув зубы, Меншиков погнал лошадь чрез кусты и рытвины, напрямки домой. Было уже темно, когда мы прибыли в главную квартиру. Князь немедленно послал за Вуншем и долго с ним совещался. На другой день главнокомандующий, очень

расстроенный, призвал меня:

— Поезжай к Липранди и попроси его научить меня, что мне делать с этими негодными сухарями? Липранди — человек практичный и бывалый: авось что-нибудь придумает, а я растерялся. Как, целая армия должна есть гнилушки!

Приехав к Липранди, я передал ему о том тревожном положении, в котором оставил князя. Липранди, выслушав меня очень спокойно, ответил:

— Видел и знаю эти сухари: съедят! Скажите князю, чтоб он не беспокоился и, главное, не примечал бы их, да не подымал истории. Других нет: на нет и суда нет! Солдаты видят, чего стоило и эти-то сухари привезти; они не жалуются. Не надо показывать и виду, что вы их жалеете. Ну, как нибудь подправим; в ротах это сделают… И я вам скажу: чем солдат голоднее, тем он злее; нам того и нужно: лучше будет драться. Дайте-ка им теперь неприятеля: разорвут!

Спокойствие, с которым говорил Липранди о неизбежных тягостях армии в военное время, заставило смотреть на эти дела равнодушно. Когда я передал главнокомандующему отзыв Липранди, Меншиков с грустною улыбкою сказал:

— Липранди прав; истории затевать не надо. Заменить этого провианта нечем, поневоле приходится его есть. Но какую же шутку сыграло со мною интендантство южной армии: ловко же оно воспользовалось нашей крайностью.

Горю помогали как могли и ропота в войсках не было слышно.

В другой раз князь посылал меня к Липранди в один из морозных дней декабря (числа не помню). С вечера выпал снег и стало крепко морозить. Главнокомандующий тревожился всю ночь и посылал по бивуакам приказание к начальникам частей — наблюдать, чтобы солдаты не спали, а грелись телодвижениями, и чтобы фельдфебеля и взводные не теряли из виду своих людей. Между тем мороз возрастал и к утру, если не ошибаюсь, достиг до 7°. Рано утром Меншиков послал меня проведать бивуаки. Стужа была так сильна, что я опасался найти ознобленных, однако ничего не бывало. На бивуаках Инкерманского отряда я застал солдат веселых и довольных морозом; о себе они не думали, а радовались, что союзникам, людям непривычным, вероятно, приходится жутко. У нас пострадавших от морозу не было.

— Доложите князю, что у нас и тепло и всё благополучно, — сказал Липранди. — На мороз мы не жалуемся: он *высушил* наш лагерь.

Затем, генерал повел меня в ближайший батальон, дабы я,

лично убедясь в том, как греется наш народ, мог успокоить князя. Шалашики, покрытые снегом, казались миниатюрными палатками; сделанные из ветвей кустарника, они были прикрыты землей, которая теперь замерзла как кора и образовала плотную кровлю. Внутри шалашей, посредине, в ямке, горел огонек и было тепло; в верху кровли у многих проделаны были отверстия, чтобы выходил дым; искусники сумели даже устроить нечто вроде труб, чтобы дым лучше тянуло.

— Видите, — сказал Липранди, — мы не замерзнем; успокойте князя.

Вообще этот дельный генерал вселял к себе доверенность, как войск, так и главнокомандующего: на Липранди можно было положиться. Везде, где только он чувствовал себя ответственным начальником, был исполнителен, как нельзя лучше. Зато, сознавая себя подначальным, чего он крайне не любил, он как бы умывал руки и содействия его ближайший начальник уже не ожидай. Меншиков его хорошо понял и говорил ему в глаза: «вы прекрасный начальник, но плохой подчиненный». Эти соображения побудили главнокомандующего переместить Липранди из Чургунского отряда, где старшим был князь П. Д. Горчаков, на Инкерман.

По отъезде Великих Князей в Петербург, в первых числах декабря, Меншиков расположился на зимовку опять в инженерном домике. Тут у него было две комнатки: одна служила ему спальной, другая — приемной.

Раз, вечером, князь, жалуясь на свои недуги, сообщил мне, что он просил их высочества доложить Государю о его расстроенном здоровье, вследствие чего он полагает, что состоится Высочайшее повеление, по которому вместо него будет назначен другой. Не ожидая подобного известия, я вытаращил глаза и произнес как бы про себя:

— Да кого же могут назначить сюда? Кто может здесь заменить вашу светлость?

Заметив мое удивление, князь поспешил ответом:

— А князь Михаил Дмитриевич? Вероятно, его пришлют и дела пойдут лучше; у него организованная армия. Вместо того, чтобы отрывать у неё части на подкрепление к нам, полезнее ввести всю его армию и задавить врага, что он, вероятно, и сделает.

— Но, ваша светлость, неприятель будет торжествовать, если вам придется оставить Севастополь.

— Отчего это?

— Оттого, ваша светлость, что имя князя Горчакова не внушает опасений неприятелю. В Алминском сражении,

англичане, зная, что князь Горчаков был против них, лезли на мост с большим упорством. Принимая Петра Дмитриевича за Михаила Дмитриевича, они говорили, как вы сами изволите помнить, что у них сложилось мнение: там, где войсками предводительствует князь Горчаков — бой не страшен.

— Не знаю, почему англичане сделали о князе Горчакове такое заключение, — возразил светлейший. — Горчаков был всегда храбрым и удалым офицером, а в молодости бывал смелым предводителем охотников. Не раз пускался в отчаянные предприятия.

После этого разговора князь долго стоял задумавшись над картою. Видя, что во мне более нет надобности, я откланялся и хотел уйти, но князь, повернувшись ко мне, сказал с улыбкою:

— Прощай. Так ты не желаешь, чтобы сюда приехал князь Горчаков?

— Никак нет, ваша светлость; я думаю только, что он не согласится. Как тут управиться новому человеку? Ему всё будет дико… Ведь это совершенно исключительное положение.

— А я так думаю напротив: он будет доволен назначением.

Выйдя от князя, я не придавал особенного значения этому разговору, полагая замещение князя несбыточным, надеясь на поправление его здоровья. Так как деятельность Меншикова не ослабевала, то я вскоре позабыл сделанный мне намек и был совершенно спокоен.

Около этого времени приезжал к нам из южной армии генерал-интендант Затлер. Полезными своими советами он успокоил князя и снискал себе его расположение. Приехал и знаменитый наш оператор Н. И. Пирогов, деятельность которого была почтена всею Россией. Штаб главнокомандующего был в самом ограниченном составе — импровизированный, менее корпусного. Будучи облечен в звание главнокомандующего только 8-го октября 1854 г., князь Меншиков неоднократно письменно просил военного министра о присылке ему хотя главных чиновников, в особенности генерал-интенданта и генерал-квартирмейстера, указать же сам ни на кого не брался, потому что оставил сухопутное ведомство более 30-ти лет тому назад. После долгих ожиданий, он получил уведомление военного министра, что на должность генерал-интенданта ему посылается генерал-майор Иван Иванович Бахтин, вице-директор комиссариатского департамента. Насколько князь уважал брата его, Николая Ивановича, долгое время служившего у него, настолько знал малозначительность посылаемого.

— Что я буду с ним делать, — сказал князь Крылову, — он стар (более 70-ти лет), мало сведущ и тучен так, что не войдет в

мою избушку. Пошлите пожалуйста навстречу ему фельдъегеря, чтобы он вернул его обратно. — Что и было исполнено.

Для облегчения перевозки провианта и фуража устроены были две большие команды. Над этим делом весьма усердно трудился полковник Д. К. Гербель.

Из лиц, приезжавших в главную квартиру, князь оставлял при себе весьма немногих, обращая внимание лишь на способнейших. Штаб его почти не увеличивался, отчего каждому работы было вдоволь и трудились все без устали. Умея ценить и ободрять полезных своих сотрудников, Меншиков, однако же, не спешил награждать их материально, хотя и не упускал случая высказывать им свое удовольствие и свидетельствовать о их трудах Государю Императору. К чести лиц, отличаемых князем, можно по совести сказать, что ни в одном из них не было заметно алчности к наградам: никто не искал их и не домогался; каждый довольствовался сознанием исполнения своего долга, доверенностью и расположением главнокомандующего, который, как известно, даром их не расточал.

Так как в это время всё внимание было устремлено на снабжение армии необходимым, то, понятно, что у нас перебывало множество приезжих, как из Петербурга, так и из других мест России. Не мало было и таких посетителей, которые чаяли тут кстати что-нибудь и заполучить, на что у князя была удивительная проницательность, и таковых гостей он спешил спроваживать, с подобного рода предисловиями:

«Не смею вас удерживать: вас ожидают с ответом» или: «ах, как вы кстати приехали! у меня совсем готово донесение… Вы, вероятно, проголодались с дороги? Закусите у нас хорошенько, покуда вам приготовят лошадей».

На кормление курьеров обращал особенное внимание А. Д. Камовский. «А то посланный скажет, — замечал он, — что армия умирает с голоду!» Бывало, он намекал князю, чтобы он послал гостя хоть проехаться по оборонительной линии.

— Нет! — ответит Меншиков, — он только запасется материалами для большего вранья; пусть себе с Богом едет!

Толкам, судам-пересудам и сплетням в Петербурге не было конца; переходя из уст в уста, они проникали даже во дворец и совершенно напрасно тревожили Императора, и без того душою скорбевшего за Севастополь и за армию. Каждое неблагоприятное известие вредно влияло на здоровье Государя. Справедливость частных слухов не всегда можно было проверить; нелепая сплетня, укореняясь в общественном мнении, принимала обманчивое подобие истины и как червь подтачивала доверие к главнокомандующему. Меншиков очень хорошо это понимал. Не

говоря уже о том, чего стоило ему отписываться по этому предмету, сколько тратилось понапрасну и забот и времени, — заметим только, что оно влияло на самый ход дел, ослабляло в князе энергию, самое же главное — тревожило Императора. Вот почему главнокомандующему были ненавистны органы пустых толков, именно частные переписки о военных действиях, с неуместными заключениями.

Считая — и не без основания — орудиями сплетен прибывавших тогда в армию из Петербурга сестер милосердия, князь их не слишком-то жаловал, отзываясь, что их услуги, расточаемые раненым, бедственно влияют на дух здоровых частей армии. «Женщины, — говорил он, — не зная сущности военных дел, на лету подхватывают всякий вздорный слух, делают из мухи слона, пишут в Петербург кумушкам — а те бьют в набат и производят кутерьму. Женские языки подлиннее и поворотливее наших. Уход севастопольских женщин за ранеными — дело другое: это свои и сору из избы не вынесут!»

Отзыв князя был резок, но быть может справедлив. Действительно, севастопольские женщины, проследив с самого начала ход военных действий, хорошо ознакомились со средствами и нуждами войны; им она была уже не в диковинку; они втянулись во все бедствия и были проникнуты теми же самыми чувствами самопожертвования, которыми были одушевлены и все защитники Севастополя. Приехавшие из Петербурга сестры милосердия, после удобств столичных больниц, встретили у нас, говоря сравнительно, целый омут ужасов: они не могли не быть подавлены тяжкими впечатлениями; не могли, конечно, утерпеть, чтобы не поделиться этими впечатлениями со своими, оставшимися в столице, родными и знакомыми. Можно себе вообразить, в каких выражениях писались их письма, заключавшие в себе рассказы о кровавых событиях на театре войны и за его кулисами — куда сестры милосердия вдруг были перенесены из мирной столицы! До сего времени все их представления о войне были и ниже и бесцветнее действительности.

Многие лица, приезжавшие из Петербурга в главную квартиру, добивались позволения съездить посмотреть Севастополь и при этом чистосердечно признавались князю, что им совестно возвратиться в столицу не повидав Севастополя.

— Что же мы будем рассказывать? — говорили они. — Ведь нас атакуют расспросами, ваша светлость; да и самим-то обидно уехать, не побывав на укреплениях: подумают, что мы побоялись…

Сочувствуя такому естественному желанию, кн. Александр

Сергеевич многим из приезжавших дозволял осмотреть город, давая им даже спутников, знакомых с условиями подобных поездок. Нередко он поручал посетителям отвезти в Петербург какие нибудь предметы вооружения неприятельских войск.

Так, раз, один из чиновников военного министерства, майор Денисов (славный такой человек), не удосужась побывать в Севастополе, очень этим сокрушался и, выражая мне свое горе, просил сообщить ему «что-нибудь интересное», как материал для рассказов. Не будучи расположен снабжать его сюжетами для рассказов, я уклонился и тем более, что уже для Денисова приготовлены были лошади.

— Да как же это я поеду с пустыми руками? Дайте мне отвезти хоть что-нибудь, — упрашивал он.

— Что-нибудь? Да вот, возьмите трехпудовую бомбу и везите! — сказал я ему шутя.

Денисов обрадовался: схватил бомбу, потащил ее на перекладную, и поскакал в Петербург. «Угостит она его дорогой», подумал я. Бомба эта, правда, была разряжена, но формы конической и весьма неуклюжая для укладки. Воображаю, что она выделывала на перекладной телеге и как от неё доставалось ногам Денисова. «Вероятно, он ее бросит дорогой»… Пожалел я — о бомбе.

Но Денисов бомбы не бросил, а упорно боролся с нею целую дорогу. Курьерские несутся во весь дух; бомба прыгает, катается в телеге, но храбрый Денисов, преодолевая все неудобства, нянчится с бомбой и бережет ее как сокровище. Наконец, на одной станции, где-то уже в Малороссии, бомба успокоилась, телегу по грязной черноземной дороге не колыхало и Денисов задремал… Вдруг, о ужас! Он пробуждается, ощупывает дно телеги — бомбы нет! У Денисова волосы стали дыбом: в телеге оказалась дыра и бомба в нее улизнула. «Стой, стой! бомба пропала!» Денисов спрыгивает с телеги, подлезает под нее, шарит, ощупывает… а ночь — хоть глаз выколи, дорога черная, грязь глубокая. В совершенном отчаянии топчется Денисов кругом телеги, не зная на что решиться: не бросить же бомбу! Опять принимается за поиски: побрел назад, ощупывая грязь на каждом шагу руками и ногами, в том предположении, что бомба ушла в нее с ушами. Но «усердие всё превозмогает»: отважный Денисов нашел, наконец, бомбу, но успехом своих поисков едва ли кому похвастался. Нелегко было вытащить бомбу из грязи; пришлось просто руками откапывать, потом тащить ее до телеги, а бомба-бестия из рук скользит, едва удержишь… Теперь и в телегу ее нельзя положить, а до станции вези на коленях!..

Помаялся Денисов с бомбой порядком; прикатил в Москву и

прямо на станцию железной дороги. Внес бомбу в залу: его обступили, стали расспрашивать… а Денисов и сболтни: везу-мол бомбу в Петербург, напоказ Государю! Не успел опомниться, его — в экстренный поезд, и в Петербург: здесь уже ждет его фельдъегерь, выхватил из поезда и во дворец; бомба с ним.

По этому полукомическому эпизоду, рассказанному мне потом самим Денисовым, можно судить с каким напряженным вниманием следили тогда за событиями в Севастополе; как жаждали получить из этого города и ничтожнейшую весть.

XV

Настал роковой 1855-й год…

В ожидании возвращения Великих Князей из Петербурга, им приготовлялось помещение в Сухой балке, в доме таможенного ведомства. Штаб главнокомандующего, до этого времени здесь помещавшийся, перевели к стороне Северного укрепления. Меншиков страшно перемогался, но работал неустанно; опасаясь слечь, он спешил исполнить и распорядиться важнейшими делами, а таковых была бездна. Наконец, непомерные труды и заботы свалили его, но не прекратили его занятий. Семякин, бывая у князя по делам, сообщал мне свои опасения, чтобы князь вконец себя не замучил.

То оправляясь, то опять заболевая, Александр Сергеевич кое-как поддерживал свое здоровье. С приездом их высочеств, 15-го января, быт наш снова оживился. Великие Князья, в милостивом внимании к их ратным сослуживцам, пригласили к себе, раз и навсегда, к завтракам, к обеду и к чаю всех лиц, состоявших в штабе главнокомандующего, и приезжавших из Севастополя начальствующих чинов. Все спешили, конечно, воспользоваться этим и многие бывали у их высочеств ежедневно. Радушие и гостеприимство Великих Князей образовали у нас, на Северной, отдельный центр, к которому направлены были общие стремления; другой центр составлял главнокомандующий и к нему направлялись лица должностные с вопросами, донесениями, докладами. Доброе, веселое расположение Великих Князей влекло к себе всех жаждавших отрады и отдыха после трудов. Многие, исполнив служебные обязанности в одном центре, спешили отвести душу в другом. Меншиков, вполне понимая подобное стремление, был озабочен лишь тем, чтобы посетители неуместными рассказами не тревожили юного воображения Великих Князей, и, помнится, говаривал:

— Теперь вы пойдете к их высочествам: всего им не говорите; есть вещи, которые не должны выходить из главной квартиры.

Бывали дни, когда припадки болезни приводили князя Меншикова в такое изнеможение, что он был вынужден заниматься делами лежа, и даже так принимал штабных лиц. Не один раз случалось, что директор канцелярии Александр Дмитриевич Крылов, очень расстроенный по выходе от князя, делился со мною тяжкими впечатлениями, которые он выносил из приемного покоя, где, чуть живой, распростертый на стареньком, плохеньком диванишке, лежал главнокомандующий, диктуя Крылову донесение свое Государю.

— Вообразите себе мое положение, — рассказывал он, — я, с картоном и карандашом, сижу против князя; он лежит навзничь и говорит чуть слышно, так, что я принужден наклоняться, чтобы ловить звуки его голоса… Вдруг замолчит, закроет глаза, бледный как смерть, и, кажется, не дышит: и я недоумеваю, сижу ли я перед живым, или уже перед мертвым. Это мимолетное недоумение надрывает душу: пошевельнуться не смею, звать на помощь не решаюсь, из опасения потревожить, может быть, дремоту. Обморок сменяется обмороком, но каждый раз, очнувшись, князь продолжает диктовать, только спросит, на чём мы остановились? Иногда обморок длится до получасу, и, надобно полагать, что страдалец борется с этим состоянием, потому что, когда мощная его натура преодолеет, наконец, забытье, то он с нервным усилием откроет глаза и рот, как бы от электрического толчка, так что я невольно каждый раз вздрогну.

Здесь замечу, что Крылов прибыл из Петербурга к нам, в армию, с поручением от Его Высочества, Генерал-Адмирала. Из нижеследующего предписания Великого Князя, в свое время напечатанного в «Морском Сборнике», усматривается, в чём именно заключалось это поручение:

2-го ноября 1854 г. №85.

«Предписываю вам, по получении сего, отправиться в Крым, к князю Александру Сергеевичу Меншикову, вручить его светлости прилагаемое письмо и, получив его указания заняться следующим важным поручением, которое возлагаю на вас, как особенную награду и доказательство моей доверенности:

1) Посетить в Крыму всех раненых чинов морского ведомства, от адмирала до матроса, и семейства убитых.

2) Собрать подробные сведения обо всех: где, когда и как ранен, где и в каком положении находится, в чём нуждается, чего желал бы для себя, или родных, как идет лечение ран и т. п.

3) Узнать, кто составляет семейства убитых, чего желали бы?

4) Объявить всем помянутым лицам от моего имени, что всё, что возможно, постараюсь сделать для них.

5) По мере собрания помянутых сведений о каждом, от адмирала до матроса, — доставлять оные мне, с каждой почтой или курьером, надписывая донесения ваши на мое имя: *в собственные руки*.

6) По обозрении таким образом всех раненых, продолжать следить за постепенным выздоровлением их

и доносить мне о ходе лечения впредь до предписания возвратиться в Петербург.

7) Затем, поручается вам присылать в инспекторский департамент морского министерства письма раненых к их родным и друзьям, для немедленной рассылки.

Для облегчения вас в материальном труде, вы можете взять с собой состоящего в военно-походной канцелярии писаря.

Прилагаю тысячу рублей для раздачи раненым и употребления в их пользу, по собственному вашему усмотрению, независимо той суммы, которая посылается с вами в распоряжение князя Александра Сергеевича, на этот же предмет.

Мне остается присовокупить, что вы постараетесь, конечно, исполнить это поручение, по долгу христианина, проникнутого святою обязанностью помогать ближнему. Управляющий морским министерством

Константин».

Благодаря заботам Его Высочества Генерал-Адмирала, — вполне выяснилось количество раненых морского ведомства и приступлено было к размещению раненых по Таврической губернии. Их во множестве отправляли в Симферополь и Николаев; приглашены были колонисты, которые приезжали на своих фурах и увозили к себе раненых. Для семейств убитых Крылов выхлопотал помещения в Симферополе и других местах Таврической губернии.

Кроме лестных поощрений его высочества, Крылова одушевляли еще и те сердечные излияния благодарности, которые раненые и семейства убитых спешили выражать, перед лицом Крылова, его высочеству, великому князю Константину Николаевичу. Крылов не раз возвращался от раненых очень растроганный и я, в особенности, помню его рассказ о том, как капитан 1-го ранга Юхарин убитый на Малаховом кургане тронул его до глубины души, слезами восторженной признательности.

Деятельность Крылова, совершенно независимая от распоряжений главнокомандующего в его армии, всегда возбуждала в светлейшем живейшее сочувствие.

Когда Крылов несколько управился с делами, то князь, имея надобность, за болезнью Камовского[16], в способном человеке, пользовался усердием Крылова, давал ему письменные поручения. Тем удобнее князю было заниматься с Крыловым, что он уже работал с ним ранее в Петербурге, как со старшим

чиновником военно-походной по флоту канцелярии, и так как тогда канцелярия эта помещалась в доме морского ведомства, где жил и князь, в Галерной улице, то он довольно часто призывал его заниматься в кабинет.

По делу о раненых, Крылову, 4-го декабря, встретилась надобность ехать в Симферополь; между тем и князю было нужно приготовить экстренные донесения государю; князь предупредил Крылова и ему пришлось отложить поездку. Тогда Крылов спросил Князя запиской, следует ли ему об этом донести его высочеству? князь на записке его пометил: «донесите, через это будут знать, что мы здесь нуждаемся в людях»; а 3-го января 1855 г. просил уже разрешения у его высочества для назначения Крылова директором канцелярии; на это его высочество писал князю 13-го января, где в записке, между прочим, было сказано: «я весьма рад, что ваша светлость были довольны Юшковым[17], и мне приятно уверить, вас, что офицер сей, имеющий весьма благородное направление, искренно предан своему бывшему начальнику и глубоко уважает его.

Не менее доволен я, что ваша светлость нашли коллежского советника Крылова полезным и, вполне соглашаясь на определение его директором вашей канцелярии, по званию главнокомандующего, я поздравляю его с этою должностью и благодарю за полезные труды его. О награждении Крылова чином, согласно желанию вашей светлости, я не замедлю представить государю императору, при первом всеподданнейшем докладе моем».

Отчеты, присылаемые Крыловым, Его Императорское Высочество Великий Князь делал известными публике через напечатание их в «Морском Сборнике», в этом почтенном журнале, которому, кстати сказать, русская печать, русская мысль, русская жизнь — так много и много обязаны. Кто не знает, что «Морской Сборник» положил начало гласного обсуждения весьма многих вопросов, с разрешением которых было тесно связано благосостояние и развитие нашего отечества.

XVI

Перехожу к рассказу о Евпаторийском деле.

Еще 18-го декабря 1854 года, флигель-адъютант, полковник Петр Николаевич Волков, вручил кн. Меншикову рескрипт Государя от 10-го декабря, и потом немедленно уехал в Евпаторийский отряд к генералу Врангелю. Содержание рескрипта было следующее:

> «Собирался отвечать на донесение твое от 1-го декабря, любезный Меншиков, как вчера вечером получил уведомление от князя Горчакова, что он распорядился уже не только отправлением в Крым десяти батальонов 10-й и 11-й дивизий, но, вслед за оными, и всей 8-й пехотной дивизии с её артиллериею. Совершенно одобряя эти распоряжения, остается мне требовать, чтобы этому значительному и *последнему*[18] подкреплению было сделано полезное употребление. Ежели справедливо сведение, что неприятель готовит высадку у Евпатории или у Качи, то самое опасное действие может быть у тебя в тылу; оно может быть, однако, замедлено действием кавалерии, ежели генерал Врангель поймет хорошо свою обязанность. Поэтому я передал флигель-адъютанту Волкову мои мысли, и желаю, чтобы он, передав их тебе, сейчас ехал к Врангелю и при нём остался, покуда это дело не объяснится. Намерение же следовать на Перекоп кажется мне менее удобоисполнимым и по отдалении от Евпатории и по трудности высадиться ближе к Перекопу. Но ежели это сбудется, то необходимо, чтобы первая пехота, которая подойдет, была обращена на подкрепление кавалерии. Желательно, чтобы оно последовало не ранее прибытия 8-й дивизии, более боевой, чем резервная бригада. Во всяком случае я хочу, чтобы флигель-адъютант Герштенцвейг там остался, в случае, если бы высадка совершилась, чтоб смотреть за порядком и за тем, чтоб прибывающая пехота употреблена была дельно. Ежели неприятель будет напирать к Перекопу в больших силах, тогда, вероятно, надо будет соединить резервные батальоны с 8-й дивизией, чтоб не быть разбитым по частям, и тогда всеми 26-ю батальонами при 48-ми орудиях пеших, соединясь с кавалериею Врангеля, отбросить неприятеля

и восстановить прерванное, быть может, временно, с тобой сообщение.

Будем надеяться, что всего этого не будет, или, по крайней мере, не так скоро. Тогда, я полагаю, что надо, чтобы резервные батальоны 10-й и 11-й дивизий шли не останавливаясь к тебе в Севастополь. Там ты обрати их сейчас на пополнение действующих батальонов своих полков, и отдели не медля кадры резервных батальонов с их знаменами и батальонными командирами и, по крайней мере, с половинным числом офицеров и, сведя в сводные батальоны, отправь, как скоро можно, назад, *на первый случай в Николаев*. Что же касается до 8-й дивизии, я нахожу, чтобы ты ее *непременно* оставил у Перекопа в резерве, ибо за будущее никак ручаться нельзя, а без значительной пехоты тут всё может быть потеряно.

По сведениям через Вену, — полагать должно, что бомбардировка или возобновилась, или скоро это будет. Да поможет Господь милосердый и на сей раз столь же славно отстояться. Будет ли штурм — не говорят. Когда всё, что выше писал про пехоту, будет устроено, возврати мне Герштенцвейга, он мне нужен.

Об сыновьях после 1-го ничего не знаю; дай Бог, чтоб отъезд их не сделал на войска дурного впечатления. Жене моей несколько лучше, но еще очень слаба и большую часть дня в постели; сыновей возвращу к вам сколь можно скорее.

Резервные батальоны Минского и Волынского полков полагал бы тоже обратить на пополнение своих полков, а кадры их отослать назад. — Вот покуда и всё. Обнимаю. Навсегда твой искренний доброжелатель

Н.

(*Собственноручная приписка*). Сейчас по телеграфу из Москвы узнал, что дети сегодня туда прибыли, а завтра должны быть здесь, и что у вас по 3-е число всё было благополучно. Слава Богу!

Ф.А. (т. е. флигель-адъютанта) Волкова тогда мне возврати, когда если высадки не будет, или от ней отбились; этих двух Ф.А. тебе отрекомендую, как самых отличных, способных и верных офицеров, которых душевно люблю, знаю их и не охотно их от себя удаляю, потому что они мне очень нужны. Но теперь дело слишком важно и на них ты *вполне*[19] положиться можешь».

В начале января поручено было очень дельному офицеру генерального штаба, состоявшему тогда при Врангеле, подполковнику Батезатулу, обдумать проект нападения на Евпаторию.

Однажды утром, в первые дни по возвращении их высочеств из Петербурга, князь потребовал меня; я вошел и застал у него Волкова, только что прибывшего из-под Евпатории. По случаю болезни, Меншиков был принужден принять его в спальне. Озабоченный Волков при мне откланялся, а князь, видимо взволнованный, приподнялся с постели и, с трудом утвердившись на ногах, сказал прерывающимся голосом:

— Государь всё настаивает на взятии и разрушении Евпатории; поручил Волкову присутствовать при этой экспедиции и дозволяет мне на этот предмет располагать 8-й дивизией. Надо исполнить монаршую волю. Хотя бы нам и удалось разрушить Евпаторию, но удержать ее за собой мы не можем: она совершенно открыта с моря! Наряди расторопного вестового, — заключил светлейший, — который повезет приказание Врангелю; оно у меня будет скоро готово. Я вызываю Врангеля сюда.

Врангель не замедлил прибыть в главную квартиру и после объяснения с главнокомандующим тотчас же уехал обратно. Проводив его, князь в этот день вышел на воздух и, встретясь со мною, рассказал, что Врангель, находя дело взятия Евпатории слишком трудным, отклоняет от себя начальство над экспедицией; он представляет на вид, что ему, как кавалерийскому генералу, опасно взяться за такое дело, какова атака укрепленного города, тем более, что в прежнюю кампанию, он, Врангель, был еще только эскадронным командиром.

— Это хорошо, что он осторожен, — заключил Меншиков, — но я всё-таки послал его — хорошенько, на месте, обдумать атаку, и, обсудив это дело вместе с Батезатулом, возвратиться с ним сюда.

Врангель и Батезатул приехали к главнокомандующему и оба, не видя шансов на успех взятия Евпатории, просили князя устранить их от влиятельного участия на дело. Тогда главнокомандующий вызвал генерала Степана Александровича Хрулева и, не отстраняя добросовестного и осторожного Врангеля, предложил Хрулеву, независимо от соображений, представленных Врангелем, — сделать свое заключение о вопросе нападения на Евпаторию, и затем, в качестве начальника артиллерии Евпаторийского отряда, пособить Врангелю при устройстве нападения. Хрулев охотно согласился, поехал на место, а Меншиков, обнадеженный, что теперь атака на Евпаторию состоится, уже послал Волкова и меня присутствовать

при этом деле.

Между тем, мне было заметно, что главнокомандующий, употребляя с своей стороны всё, что от него зависело, для исполнения предначертаний Государя, как будто желал внутренне, чтобы генералы, не смотря на все его возбуждения к Евпаторийскому делу, всё-таки отказались от этого предприятия. Авторитет двух военачальников, одного — осторожного, другого — предприимчивого, подтвердил бы собственное мнение князя, что Евпаторию брать не стоит, и таким образом он мог бы иметь поддержку для убеждения и успокоения Государя.

Осмотрев подробно укрепления Евпатории, помощью неоднократных и последовательных рекогносцировок в самом близком от неё расстоянии, Хрулев донес главнокомандующему, что он надеется овладеть Евпаторией. Между тем, Врангель, всё-таки не разделяя надежд Хрулева, писал главнокомандующему, что без формального его предписания он не берет на себя ответственности за решение вопроса о нападении на Евпаторию.

Уважив очень основательные представления Врангеля, главнокомандующий отменил предприятие; но, получив донесение Хрулева, решился передать командование Евпаторийским отрядом сему последнему.

Быв очевидным свидетелем минут передачи командования отрядом барона Врангеля Хрулеву, я никогда не забуду того отрадного впечатления, которое произвел на меня при этом почтенный предшественник Степана Александровича. От души желая успеха Хрулеву, Врангель просил забыть старшинство по службе и иметь его, Врангеля, в виду только как начальника драгун. В свою очередь и Хрулев деликатностью и уважением, с которыми обращался к Врангелю, выказал себя с прекраснейшей стороны. Этого мало: Врангель, во время приготовлений к бою и при самом деле, не только свято соблюдал свой долг и спешил выполнять распоряжения Хрулева, но еще предупреждал их и не оставлял его своими советами. Поступок — достойный глубокого уважения и подражания! Так как Хрулев пользовался славою запальчивого в бою, то Меншиков, назначая его в отряд к Врангелю, как бы для совместных распоряжений, имел в виду уравновесить предприимчивость одного осторожностью другого. Когда Врангель отказался, князь был не совсем покоен; но, как впоследствии оказалось, совершенно напрасно.

26-го января 1855 г., после обеда, Хрулев, Волков и я выехали из главной квартиры. За Алмой, в деревне Бурлюк, мы переночевали у общего нашего товарища артиллериста Мартынова, а на другой день, рано утром, поехали верхом к Евпаторийскому отряду. Дорога была очень вязкая и нашим

лошадям было нелегко подаваться вперед; когда же мы для сокращения пути свернули напрямки на пахотные поля, то грязь до такой степени налипала к ногам лошадей, что они едва двигались. Казаки, часто слезая с своих лошадей, оскабливали грязь от их ног; мы же на туземных лошадях ехали безостановочно, так как они обладали сноровкою опускать и выдергивать ноги из вязкого грунта так ловко, что грязь к ним не прилипала. Желая выследить эту особенность поступи, я, впереди себя, пустил очень маленькую и самую легкую из своих крымских лошадок и наблюдал за её ходом. Постановка ноги и её подъем составляли у лошадки как бы один темп: только что касаясь земли, она тотчас же коротко и быстро выхватывала ногу из грязи. На поспешном ходу лошадка подавала грудь настолько вперед, что ей приходилось вырывать ноги из грязи с наклоном по направлению пути и этим она как бы вытирала их о почву, оставляя косой отпечаток следа. Кроме того, ставя ногу перед ногой, она оттискивала след, как говорится, веревочкой, наподобие лисьего. Благодаря ловкости этой лошадки, мне вскоре удалось увернуться от преследовавшего меня татарского пикета.

Приближаясь к Евпатории, мы обогнули соляные озера и проливу правого фланга города усмотрели большой курган, с которого можно было видеть очертание Евпаторийских укреплений. Хрулев послал меня на этот курган. Я пересел на вышеупомянутую лошадку и, вместе с балаклавским греком Димитрием Подпати, подъехал к кургану и, у его подошвы отдав моему спутнику подержать мою лошадь, стал карабкаться по крутому и скользкому подъему. Достигнув вершины, я невдалеке от себя заметил неприятельский пикет, который встревожился, бросился к лошадям и погнался за мной. Сбежав с кургана, я вскочил на мою лошадку и был таков. Следом за мною соскользнуло с кургана несколько верховых татар и пустились в погоню; не тут-то было: моя лошадка, по топкому полю, неслась как стрела. Татары отстали, крикнув мне во след, по-русски: «хорошо, что у тебя наша лошадь, а то бы не ушел!» Пустив несколько выстрелов, они возвратились на прежнее место. Грек мой, чтобы раздвоить внимание преследовавших, понесся в другую сторону и тоже ускользнул.

Расположись за гнилым соляным озером, в деревне Тюп-Мамай, Хрулев, в сопровождении нескольких лиц, при нём состоявших, сделал несколько рекогносцировок вблизи укреплений Евпатории: вызывая этим пальбу из города, он проверял число орудий, выставленных по оборонительной линии. Получив приказание атаковать Евпаторию, он перенес свою квартиру в экономию (мызу) помещика Августиновича, Ораз, близ

деревни Хаджи-Торхан, и здесь приступил к составлению диспозиции и к другим предварительным распоряжениям. Ораз, в 9-ти верстах от Евпатории, был ближе к центру расположения войск, нежели Тюп-Мамай.

Ревностными помощниками Хрулева были состоявшие при нём: за начальника штаба — флигель-адъютант полковник Волков, начальником артиллерии — полковник Шейдеман, дежурным штаб-офицером — ротмистр Линденер, обер-квартирмейстером — капитан Цитович, за старшего адъютанта — уланского полка поручик Михалев[20], для особых поручений — артиллерии штабс-капитан Мартынов.

XVII

Продолжая свои рекогносцировки из Ораза, Хрулев работал неутомимо, кроме диспозиции, еще над многими письменными приказаниями и наставлениями по войскам; составлял подробные инструкции для уборки раненых и для подания им первоначальной помощи.

По диспозиции, атаку должны были произвести три колонны: центральною наносился главный удар; фланговые же, предварительными атаками, должны были отвлечь внимание неприятеля от центра; начинать дело должна была левая колонна. В приказаниях, кроме порядка, изъяснялись правила движения войск к месту боя; их размещение в боевой линии, действия приуготовительные; натиск, штурм, занятие города; наставление войскам на случай успеха, или неудачи; поведение и действия войск в захваченном городе и проч. и проч. Словом, всё было предусмотрено и подробно письменно изложено во множестве экземпляров для раздачи в каждую часть войск. Так как главная сила отряда, 8-я дивизия, еще не прибыла, то, кроме этого, во избежание проволочек во времени и для облегчения лиц начальствовавших в частях 8-й дивизии, были заранее заготовлены приказания, какие им следовало отдать по своим частям во исполнение общих распоряжений по отряду.

Деятельность Хрулева была необыкновенна. Утром, возвращаясь с рекогносцировок, он скидывал мундир, и нараспашку, чтобы быть совершенно на просторе, отдавал приказания, диктовал, прослушивал написанное, поверял, сличал распоряжения, принимал начальников частей, знакомился с ними; заставлял их прочитывать приказания при себе, потом переспрашивал их, чтобы убедиться, так ли они понимают предстоящие им дела. Кому из них приходилось в бою действовать совместно, того он при себе заставлял сличать распоряжения между собою, исправлял встречавшиеся неудобства; вытребовывая адъютантов и ординарцев, он втолковывал им их обязанности, потом — проэкзаменовывал. Всё это делал Хрулев переходя от стола к столу, или от одного лица к другому… наконец, утомясь, ложился на диван навзничь и, заложив руки за голову и подогнув ноги, продолжал свое дело, не теряя ни минуты времени. Если он внушал что-нибудь, то непременно стоя, а поверяя кого либо и выспрашивая — ложился опять. Эта кипучая деятельность длилась несколько дней, в течение которых Хрулев, можно сказать, почти ничего не ел, не пил и едва ли спал. Бывало, мы сядем за обед, а он об нём и не

думает: проходя мимо стола, возьмет кусок чего нибудь, ляжет на диван, наскоро жует, и диктует. Чай пил походя: о своем стакане не заботился, а где нибудь увидит стакан, хлебнет и отойдет в сторону. Если кого встретят без дела, того непременно засадит за работу. Его дружеское, приветливое обхождение со всеми придавало рвение всем нам и, проникнутые его деятельностью, трудились и мы, кто во что горазд. Мне Хрулев поручил составить план Евпатории, который мог бы ознакомить начальников частей с городом. Не быв никогда в Евпатории, я был принужден составлять её план по словесным показаниям лиц, хорошо знакомых с расположением города; при этом мне много посодействовал помещик Августинович. Таким образом я намалевал яркими красками 12 экземпляров: Хрулев их одобрил и разослал в войска.

Работая день и ночь, не зная отдыха, Хрулев не обнаруживал утомления, благодаря неистощимым запасам энергии в своей богатырской душе. Точная, определенная, подробная, обстоятельнейшая диспозиция была готова: она разрешала все возможные вопросы во все моменты действия. Общий характер, как диспозиции, так и приказаний, был тот, чтобы воодушевить войска уверенностью во взятии Евпатории; об отступлении не было и речи; войска возбуждались и на неприятеля и на добычу, которую мог представить завоеванный и на разорение обреченный город. Указаны были площади для сноса добычи, требовался известный порядок для опустошения города, но пожары были строжайше воспрещены; самым первым делом приказано было спасать образа и утварь из городской православной церкви. По взятии города, лишним войскам было приказано возвратиться на прежнюю позицию, к приготовленному для них обеду.

— Ничем так не натравишь войска на неприятеля, как обещанием добычи, — говорил Хрулев, — позволь солдату поживиться на счет неприятеля и он полезет чёрт знает куда!

Действительно, за всё время кампании, мне не случилось видеть такого веселого настроения духа солдат, такого рвения в деле, какие я подметил при сборах на штурм Евпатории.

Порядок, с которым шли приготовления к бою, внушая полное доверие к начальнику отряда, придавал и уверенности в успех. Мы достоверно не знали настоящего состава Евпаторийского гарнизона; видели только укрепления, еще не совсем возведенные и вооруженные незначительным количеством орудий. Необходимо было скрыть от неприятеля наши намерения, для чего были, разумеется, приняты всевозможные меры. Пехота была еще на походе, а кавалерии еще ничего не сообщалось

формально; между тем, на 4-е февраля 1855 г., тотчас по прибытии 8-й дивизии, дело было назначено, требовалось заготовить штурмовые лестницы, что поручено было исполнить тайно эскадронам уланской дивизии генерала Корфа. Эскадронные командиры распорядились приготовлением лестниц на своих дворах, в закрытых сараях и не выпускали рабочих, из опасения неуместных толков.

В это время Елизаветградского уланского полка 3-го эскадрона рядовой, из старых служивых, родом поляк, находившийся на эскадронном дворе при лошадях своего командира, ротмистра Добровольского, замыслив измену, прикинулся обиженным тем, что-де его товарищи употребляются на действительную службу, он же, как вестовой, постоянно лишен этой чести. «Хоть бы раз, — говорил он, — мне пришлось постоять на аванпостах!» Добровольский, поощряя это похвальное рвение, в тот же вечер велел нарядить просителя на аванпосты. Поставленный на ведете, предатель ускакал в Евпаторию и там сообщил неприятелям о нашем намерении и о заготовлении штурмовых лестниц. В Евпатории были, разумеется, приняты самые деятельные меры к усилению гарнизона, к исправлению укреплений и прибавке орудий; самое же главное; ров был соединен с морем и наполнен водою.

Главная сила отряда, 8-я дивизия, медлила приходом по случаю глубокой грязи по дорогам. Между тем, 2-го февраля, рано утром, из южной армии, к нам под Евпаторию прибыли пять рот греческих волонтеров: они шли налегке и потому опередили другие войска. Ротные командиры явились к Хрулеву все вместе. Весело и бодро, в национальных своих костюмах, вошли они в залу дома, занимаемого Хрулевым со всем его штабом. Командир первой роты был Николай Карайско, второй — Стамати Карамоди, третьей — Аристидо Христовери, четвертой — Мимико Таидо-Лиди, пятой — числившийся майором Антоний Гене Папа-Дука (т. е. священник). Одетый щеголеватее других, он был и благообразнее наружностью; блондин с голубыми глазами и красивой бородой; первые же четыре капитана, в особенности командир первой роты, были атлетического телосложения, с удалыми, раскаленными лицами. Все они, как было заметно, не слишком-то жаловали Папу-Дука, так резко от них отличавшегося. Широкие шалевые кушаки, их перепоясывавшие, были обвешаны и утыканы богато оправленным оружием; кроме турецких сабель при бедре, у каждого из-за пояса торчало по нескольку пистолетов, кинжалов и ятаганов.

Хрулев ласково их принял. Еще в южной армии он встречался с этими удальцами; они знали Хрулева и рады были находиться в

его распоряжении. Батальон этот, сколько мне помнится, был первоначально направлен к Севастополю; но, узнав на дороге, что под Евпаториею готовится дело под начальством Хрулева, греки-волонтеры свернули к нашему отряду и явились нежданные. До их прибытия, я ничего не слыхал о греках, и в боевых распоряжениях им еще не было назначено и места. Довольный их приходом, Хрулев тотчас же нашел им применение, согласно их боевой своеобразности, выработанной единственно практикою. Предуведомляя греческих ротных командиров о замышленном штурме, Хрулев сообщил им, что их назначение в деле: броситься первыми на укрепление правого фланга города, овладеть или засесть в ближайших домах и, обстреливая батареи с тыла, содействовать успеху общего штурма.

В храбрых капитанах не было заметно и мысли об опасностях такого отважного поручения; они, напротив, видели в нём предоставленную им честь первыми ворваться в Евпаторию и только просили Хрулева указать место атаки каждой роте отдельно. На это Степан Александрович предложил молодцам, по их усмотрению, выбрать из среды своей одного капитана, чтобы ему быть за батальонного командира, который, подведя роты, распределил бы на месте пункты атаки для каждой. Но греки решительно отказались подчиняться одному из своих товарищей.

— Мы все равны, — говорили они, — и старшинства между нами нет!

Хрулев указал им на доблестного капитана Христовери, уже отличавшегося на Дунае; но и сам он отказывался, и товарищи не уступали ему преимущества над ними. После того Хрулев предложил выбрать Папу-Дука;

— Чего вам лучше, — сказал он, — Папы-Дука, вашего священника; он пойдет впереди вас, с крестом и мечом!

Но и Папу-Дука единогласно отвергли, хотя он сам был бы и не прочь. Не состоялся выбор и Карайско, командира 1-й роты, истого атлета, сурового видом. Не порешив ничем, Хрулев отпустил греков, советуя им подумать. Они возвратились через час, прося генерала назначить им в батальонные командиры одного из штаб-офицеров русских войск, обещая подчиниться ему безусловно. Видя, что греки между собою не поладят, Хрулев назначил меня им в командиры. Узнав, что я адъютант главнокомандующего, греки были очень довольны. В помощь мне Хрулев оставил при ротах капитана Алексапольского полка Степанова, который сопровождал греков из дунайской армии в нашу.

Переводчиком при переговорах Хрулева с греками служил, состоявший при мне, Димитрий Подпати. После того, каждый из

капитанов, подходя с ним ко мне, говорил приветствие. Окружив меня, они стали рассказывать о своих действиях на Дунае, обещаясь и здесь выказать свою преданность и благодарность государю. При этом они выражали сожаление, что только пять греческих рот успели прорваться за Дунай, во время отступления южной армии через мост; другим же и многим ротам греческих волонтеров это не посчастливилось. Они рассчитывали перейти мост в хвосте армии, как внезапно переправа была прекращена, мост был разобран, и греки остались на противоположном берегу одни против турок, со множеством болгарских семейств, искавших спасения в покровительстве наших войск… И греки и болгары — брошенные нами — были перерезаны турками.

Возвращаюсь к своему рассказу. Дело с греками было улажено. Вечером того же дня, приехал давно и с нетерпением ожидаемый командир 8-й дивизии, князь Урусов. Не теряя времени, Хрулев спешил посвятить его во все распоряжения, приготовленные для частей войск. С своей стороны. Урусов охлаждал горячность Хрулева, представляя ему на вид, что дело необходимо отсрочить, так как войска 8-й дивизии еще бедствуют на пути и прибудут лишь на другой день. Не сразу соглашаясь отложить назначенный для боя день (4-го февраля), Хрулев просил князя Урусова прежде прослушать диспозицию, сообщая ему, что неприятель предуведомлен изменником-уланом о нашем намерении и потому надо спешить делом.

Князь Урусов сел, мы все разместились вокруг него, чтение диспозиции началось. На первых же строках князь остановил чтеца и, взяв от него тетрадь, внимательно прочитал вступление, и произнес:

— Постой, братец Степан Александрович: ты пишешь это мне в форме предписания; ты забыл, что я старше тебя. Вели переписать.

— Да, точно, я упустил это из виду, — отвечал Хрулев, — но не в этом дело! Слушай дальше…

— И не думай! — отвечал Урусов, — перепиши, тогда буду слушать.

— Помилуй, когда тут переписывать! Что за формальности!.. На это понадобится целая ночь. После перепишем…

— Нет, вели переписать теперь, а то и слушать не хочу!..

Никакие убеждения Хрулева не действовали; князь Урусов непреклонно стоял на своем. Нам казалась не ко времени подобная щекотливость; князь, разумеется, не знал чего нам стоило и это-то написать: писарей не было, мы все писали под диктовку Хрулева.

Делать было нечего, пришлось уступить требованию Урусова.

Штаб-капитан Цитович уже взялся было за перо, как князь смиловался: взял опять тетрадь в руки, перелистовал ее, и убедясь, что по объему диспозиции на её переписку действительно потребуется много времени, согласился на переписку только одного заглавного листа.

Мы, не расходясь, молча сидели в кружке, пока Цитович писал; Степан Александрович призадумался; князь Урусов, довольный тем, что настоял на своем, весело что-то рассказывал, утешая нас тем, что, покуда переписывают диспозицию, мы успеем напиться чаю.

Заглавный лист был переписан и диспозиция прочитана; князь Урусов всё одобрил, но сказал в заключение, что покуда все до одного орудия в укреплении не будут сбиты, он своих войск на штурм не поведет. Хрулев его обнадежил; все разошлись и мы все полегли спать, а утром приступлено было к «исправлению» тех из остальных бумаг, которые были адресованы прямо князю Урусову.

Приступ к Евпатории был отложен на 5-е февраля. Накануне утром, войска, расположенные вблизи Ораза, собрались возле деревни Хаджи-Тархан. К ним выехал Хрулев с Урусовым и был отслужен молебен. Все пять рот греческих волонтеров присутствовали тут же, в своих национальных костюмах, с целым арсеналом оружия за кушаком у каждого волонтера.

Так как они ранее просили меня снабдить их для штурма еще нашими пехотными ружьями со штыками, то я тут же сообщил им о сделанном по этому предмету распоряжении по войскам.

Между тем, так как для атаки укреплений, прикрывавших правый фланг Евпатории, собственно для греков назначались два главнейшие пункта, то Хрулев счел за удобнейшее разделит пять рот на два полубатальона: первые три роты на штурм должен был вести я, остальные две — Степанов; при этом от меня не устранялось общее командование греками. Адъютантами были: первой половины — Димитрий Николаиди, второй — Лиодас Вульгарис.

Вечером, около 5-ти часов, когда греки опять собрались для выступления на позицию, у них во фронте поднялся ропот, выражавший сомнение, что их пошлют на штурм только с их собственными ружьями, не имевшими штыков. Они не доверяли тому, что ружья им раздадут по прибытии всех войск на позицию, в эту же ночь. Подпати, переводя мне буйный говор волонтеров, выражал беспокойство, что они и своих командиров не ставят в грош.

— Я, на вашем месте, отказался бы от этих сорванцов, ваше высокоблагородие! — заключил он, — не стоит с ними возиться,

они вас бросят!

Войска тронулись; греки шли в голове колонны, рядом с Хрулевым. Дорогою он объяснял мне разные уловки, к которым надобно прибегать при штурме и при занятии строений, повторяя не раз, что греки на это молодцы.

Мы шли прикрытые от наблюдения неприятелей лощиной и вечерним сумраком. Двигаясь почти параллельно Евпатории, мы держали направление к известковому колодцу, у моста чрез отрог гнилого соляного озера, в трех верстах от Евпатории. Уже совсем стемнело, когда Хрулев остановился под бугром близ упомянутого колодца и тем определил крайний пункт левого фланга нашего пешего отряда. Я же с греками, перевалившись чрез бугор, расположил свой батальон в лощине, по скату к стороне сказанного отрога.

Место своего ночлега Хрулев избрал при левой колонне потому, что от её частей назначался первый приступ, и Степан Александрович желал быть возле, чтобы самому направить атаку.

XVIII

Наступила ночь и довольно холодная, так что грунт подстыл, чем облегчено было передвижение войск: почва окрепла, держала, но не гремела, именно так, как нам было нужно. Когда, по расчету времени, рабочие для устройства эполементов для батарей и ям для штуцерных — должны были находиться на местах, Хрулев сам поехал поверять эти работы. Ночь была до того темна, что ему приходилось ехать, так сказать, ощупью; но артиллерийский полковник Шейдеман, его сопровождавший, не терял направления и безошибочно проводил по линии работ. Прикрытия эти приготовлялись затем, что по диспозиции канонада наша должна была открыться на довольно близком расстоянии от укреплений и поэтому необходимо было укрыть наши орудия от неприятельских стрелков. Разбивка, расстановка рабочих и наблюдение за ними возложены были на Шейдемана. Темнота и недальнее расстояние от города немало затрудняли этого распорядительного полковника; при всём том, он совершил это дело очень успешно, сохраняя глубокую тишину, и скрыл работы от наблюдений неприятеля. Цепь казачьих аванпостов и стрелки, выставленные впереди линии рабочих, тоже сумели своею осторожностью сохранить в тайне наши приготовления к приступу.

Как движение наших войск, так и самое бивуакирование совершились с большими предосторожностями; между прочим, в нашем отряде был строжайше воспрещен всякий признак огня. Поэтому не только о самоварах, даже о курении табаку не могло быть и помину.

Порядком продрогнув и мучимый жаждою и искусительной мечтой о запрещенном плоде — в виде стакана чаю, я бродил в стороне от батальона взад и вперед, карауля подносивших ружья и подсумки, присылаемые грекам из частей войск, и направлял носильщиков в батальон. Вдруг вижу, в темноте, мелькнула тень, одна, другая, третья; там еще кто-то пробирается и все к одному пункту, и возвращаются оттуда с каким-то самодовольным чмоканьем и покрякиванием. «Что там такое?» подумал я, направился туда и вижу — толпа окружает маркитанта, тайком разливающего чай… Ага, попался! мелькнуло у меня в мыслях и я протянул руку, чтобы схватить ослушника за шиворот, но он, не струсив, проворно сунул мне в распростертую руку стакан чаю — и я смягчился, шепнув на ухо благодетелю, чтобы он приберег стакан чайку для Хрулева. При этом не мог не подивиться: необыкновенной ловкости промышленника, сумевшего скрыть от

всех глаз громадный, горячий самовар и тем заслужить, вместо нарекания, всеобщую благодарность.

Возвратясь к прежнему своему месту, я заслышал непонятный мне шум у меня в батальоне … Бросаюсь туда, а мне навстречу, в сильнейшем перепуге, бежит Подпати:

— В батальоне бунт, ваше выс-дие, — едва мог он проговорить задыхаясь, — требуют вас!

Бегу к грекам. Подпати за мной, ухватил меня за полу.

— Не ходите, — твердил он мне, — они остервенели! Я вам говорил: опасный народ!

Что же оказалось? Греки, и в домашней их жизни свыкшиеся с опасностями, хорошо знали цену исправности оружия. Как только роздали им ружья и подсумки, принесенные из рот ефрейторами, волонтеры, как истинные знатоки в оружии, начали его осматривать, ощупывать; примыкать, отмыкать штыки; пробовать спуски; вынимать и вставлять шомпола, считать, осматривать патроны и мерить подсумки… словом, делали всё, что наш солдат не всегда догадается своевременно сделать. Впрочем, тогда, даже заметив неисправность оружия, он мирился с нею, так как не умел его ценить; к тому же, в наши времена для щегольства ружейных приемов солдаты сами нарочно расшатывали штыки, шомпола и ослабляли гайки, чтобы ружье — по солдатскому выражению — было «по-темпистее». С подобными ружьями наши и на войну пошли. Когда было отдано приказание пехоте снабдить греческих волонтеров ружьями и подсумками, ефрейтора весьма расчетливо придумали воспользоваться «удобным случаем» сбыть с рук негодные ружья, порванные подсумки и неполные патроны. По освидетельствовании греками принесенных им боевых предметов, оказалось, что у большинства ружей не взводились курки, или вовсе не было собачек; штыки не примыкались, или не держались на стволе; шомполы у многих ружей были растеряны; полного количества патронов не было, между ними попадались отсыпанные и — что всего ужаснее, и кто поверит? в некоторых патронах, вместо пороху, *насыпано было просо*!

Ничего не подозревая, я прибежал в батальон. С криком, ругательствами и проклятиями окружили меня греки, причем каждый, спеша показать мне найденную им неисправность, кричал: «измена! измена!! нас и здесь, как на Дунае, решились погубить!» …Показав мне негодные ружья, греки разбивали их о камни и бросали в кучу, равно и подсумки. Ружей я не жалел: туда им и дорога! но когда волонтеры стали высыпать мне на ладонь просяные зерна из патронов — я решительно остолбенел: гляжу, глазам не верю; беру в рот, разжевываю — не верю вкусу.

Подпати едва поспевал переводить мне слова греков, полные яростного негодования.

— Мы пришли вам помогать, — говорили они, — не жалеем жизни, а вы даете нам негодные ружья и первых посылаете на штурм! Возьмите ваши дубины назад; мы и без штыков, с ятаганами, сделаем свое дело. Ружья наши не колют, зато выпалят, когда будет надо; они не обманут нас, как вы обманывали нас везде! На Дунае сколько наших погибло от вашего обмана!

Тут они с ругательствами припомнили резню при переправе через Дунай.

Я, сколько мог, старался успокоить их. С помощью переводчика объяснил им, что умысла тут никакого быть не могло; что виною тому ефрейторы, которые, принимая ружья, не осматривали их; солдаты же, не зная, что эти ружья достанутся грекам, сдавали неисправные. В заключение я советовал волонтерам выбрать годные; остальные же собрать и поставить при них караул, чтобы после разыскать виновных, которые будут наказаны. Теперь же шуметь нельзя, так как мы стоим вблизи неприятеля; он может услышать крики и, таким образом, греки могут быть причиною неудачи нашего нечаянного нападения на город.

Последний довод подействовал на них убедительнее всех прочих; они утихли и занялись выбором ружей и сортировкою патронов, причём я заметил, что патронов с просом они не бросали, а тщательно припрятывали. Впоследствии, когда греческие волонтеры шли на присоединение к севастопольскому гарнизону, то на северной стороне бухты они не преминули показать патроны с просом князю Меншикову. Предупрежденный мною, князь заранее сделал надлежащие распоряжения чрез начальника штаба.

Шум, произведенный греческим батальоном, не был услышан передовыми постами Евпатории, чему, вероятно, способствовала глубина лощины, в которой происходила эта сумятица. Успокоив греков, я выбрался из балки и встретил показавшегося из тьмы Хрулева. Он возвращался с объезда, очень довольный распоряжениями Шейдемана. Донесение мое о беспорядке не слишком-то его удивило: он, как видно, был с ним знаком. Отдав мне последние наставления на завтрашний день, он спустился к известковому колодцу; я, присев на камень, продремал до зари.

Чуть забрезжило, бивуак зашевелился. Хрулев, на белом статном коне, которого он выбрал с целью быть видимым в бою — желая встретить рассвет ясного и веселого утра, поскакал к тому месту, откуда было назначено делать первый приступ. Греки

поднялись и двинулись за Хрулевым. Их ротные командиры, верхами, лихо гарцевали перед своими отрядами, с удалью помахивая саблями. Один перед другим хотел щегольнуть ловкостью, дабы тем возбудить гордость своей команды. Рядовые, в свою очередь, приосанясь подтрунивали над другими ротами и их капитанами. Весело было смотреть на движение батальона: греки шли не колоннами, а развернутым фронтом и каждый из них казался самостоятельным бойцом. К локтю они не держались, шли не в ногу, но выходил строй, каждый солдат которого был отдельно виден, не будучи замаскирован плотностью массы. Каждый стремился вперед и оттого выходил развернутый фронт С любопытством заглядывал вперед каждый греческий рядовой, желал знать, куда его ведут, что на пути, что в стороне, что впереди. Походка волонтеров была легкая и быстрая; поворачивая головы во все стороны, подымая их вверх, они старались проникнуть вдаль. Для меня было ново видеть подобный отряд и я наблюдал за ним.

Когда мы поравнялись с курганом, на котором я, в день прибытия под Евпаторию, наткнулся на татарский пикет, — то Хрулев, со мною и с пятью капитанами волонтеров, поскакал вперед и остановился вблизи укреплений, чтобы указать нам на места более удобные для приступа. Татарский пикет стоял на кургане и теперь, но на этот раз мы его спугнули и он ускакал в город.

В Евпатории поднялась тревога: войска становились в ружье, прислуга к орудиям… Вот грянула пушка, за ней другая, и поднялась канонада с обеих сторон.

Хрулев запылал, глаза его засверкали, щеки зарделись ярким румянцем. Повернув коня в пол-оборота к Евпатории, он ждал греков, послав между тем меня с войсковым старшиною Савельевым и с Христовери подъехать, со стороны озера, поближе к стенам Евпатории, и осмотреть местность, прилежащую ко рву. Проскакав обратно вдоль линии укреплений до кургана, на котором ожидал нас Хрулев, я едва успел сообщить ему ответ, как показались греки. Они спешили, а Хрулев между тем, приподняв грудь, выправившись на седле, поворачивал голову то в ту, то в другую сторону, и в ожидании боя жадно втягивал в себя сладкий ему пороховой дым.

Нельзя было не любоваться и не гордиться таким полководцем. Глядя на Хрулева, я понял обаятельную власть предводителя над войсками. Узнав Хрулева в его предусмотрительных распоряжениях перед боем и в самом бою, я не удивлялся, что солдаты так охотно и доверчиво шли за ним повсюду. Это был бы Суворов нашего времени, если бы ему

встретилось поприще вполне достойное его военных способностей. Когда он бывал с войсками, они об опасностях не думали и были «рады стараться» — воистину.

И через два года после этого, в мирной жизни, довелось мне увидеть того же полководца, скромно промышляющего квасом — под заманчивым этикетом «севастопольского».

Итак, греки не заставили себя дожидаться: они толпой окружили Хрулева и, выслушав несколько кратких его наставлений и ободрительных слов, в единый миг рассыпались, по команде своих командиров, и составив множество линий рассыпного строя, так мастерски пошли вперед, что каждый стрелок, даже из задних линий, имел пред собою свободное пространство для выстрела. Быстро подавались они вперед, последовательным перебеганием линиями, так что задние попеременно делались передними. Когда же, в близком расстоянии от рва, окружавшего Евпаторию, турки из-за бруствера как варом обдали нас жеребьями (на четверо перерубленными пулями), греки, как один, все ринулись на землю и притаились недвижно за разными местными неровностями, пользуясь камнями, рытвинами, буграми, промоинами и тому подобными защитами, не пренебрегая ничем, что только могло их укрыть от неприятельского огня.

Я не сразу понял этот маневр; оставшись на виду один, верхом, вместе с Подпати, я, сначала, не знал, на что решиться; это мне не совсем понравилось и я уже хотел поднять их, как вдруг вижу, после минутного совершенного спокойствия, греки зашевелились, осторожно выправили ружья, метко выпалили и, перебежав вперед, переменились местами. Опять притаились на минуту, повторили то же самое несколько раз и, наконец, почти достигли рва: передние стрелки уже не подавались, зато задние постепенно примыкали к передним. При мне были первые три роты, а 4-я и 5-я, отделясь, с капитаном Степановым, точно также поспешили влево, к стороне кладбища. Левее Степанова двинулись четыре сотни спешенных казаков, при старшине Савельеве. Следовательно, все мы залегли вблизи рва, прикрываясь кто чем мог; метко и не торопясь палили из ружей, выжидая минуты штурма. Турки, не умолкая, обстреливали нас из ружей, большею частью жеребьями и круглыми пулями; штуцерных было немного. Греки, ловко укрываясь, мало страдали от неприятельского огня. Взяв с них пример, я с лошадью спрыгнул в яму и, соскочив с седла, прислонился к наружной её стенке: жеребьи, как горсти гороху, перекидываемые через яму, пролетали надо мною. Ко мне притащился жестоко раненый капитан 2-й роты Стамати Карамоди, за ним Христовери.

Последний, осматривая свою раненную ногу, неосторожно сел на внутренний край ямы, и в ту же минуту был вторично ранен, в живот. Ко мне подползали и перебегали, из-за прикрытий, еще некоторые раненые. Время шло, а о штурме не было слышно; канонада не умолкала, по временам грохотали взрывы… наконец, гул выстрелов стал громче, что заставило предполагать, что батареи перешли на ближнюю дистанцию, потом пальба затихла… Штурм!

Греки, вскочив, разом бросились к спуску, готовились спрыгнуть в ров, и не тут-то было: ров наполнен водой! Забегали туда, сюда, но делать было нечего; хватились за лестницы, опустили — плывут, а тут еще из-за бруствера в них чем попало, и картечью, и пулями, и жеребьями. Греки — назад и опять притаились. В это самое время на поддержку к грекам подоспели спешенные драгуны Московского полка. «Что-мол, вы?» Ничего, лежим. «Как же так, а штурм?» Мы были. «Что же там?» Ничего; идите, посмотрите — увидите. Так можно было перевести мимические переговоры подошедших драгун с греками. Видя драгун, бодро и весело подходящих твердым фронтом в колонне, я выскочил из ямы, побежал к ним навстречу, предупреждая, чему они подвергаются, представляя для турецких стрелков такую сплошную мишень. При этом я указывал им на практический способ подступа рассыпным строем, и советовал пользоваться местными прикрытиями и последовать примеру греков в подобного рода маневрах. Но драгуны, как неопытные в бою, гордо отвергли мое предостережение и стали издеваться над тем, что греки прячутся за камни; помню, какой-то удалой офицер крикнул мне из колонны острое двустишие:

A la grecque лежать не будем,
Своего долга не забудем!

Любо — и с тем вместе — грустно было смотреть на молодцов, идущих на явную и совершенно бесполезную погибель. Они в это самое время вступили на места, занимаемые греками, и покрикивали на них; те, поняв, что им пора, уступив свои прикрытия драгунам, разом выскочили. Лошадь моя, которую я держал за повод, испугавшись мгновенного их появления, бросилась и крепко наступила мне на ногу: я захромал, а в отряде предположили, что я ранен. Это тем правдоподобнее, что в этот самый миг с укрепления из полевых орудий, на драгун и на вскочивших греков, ударил град картечи, от которой последние потерпели более нежели у рва. За это греки долго досадовали на драгун, заставивших их не вовремя и без нужды оставить

прикрытия, не послужившие на пользу и самих драгун, которые поспешили ко рву. Больно было смотреть как они гибли напрасно и принуждены были вскоре воротиться, конечно, в расстройстве и с большою потерею. Я, со Степановым, собрал наши пять греческих рот у кладбища, под прикрытием ограды. Роты Степанова, точно так же как и мои, при общем движении на штурм, сунулись ко рву и натолкнулись на ту же воду; только у него потеря была значительнее: у него было двое убитых, и, к сокрушению товарищей, тел их не успели выхватить. В общей сложности, из греческого отряда выбыло до 25-ти человек. Не особенно великий процент на 600 с лишком человек, правда, но для греков он был ощутителен, по непроизводительности затраты: мы ничего не заняли. Придавая цену каждому выпущенному заряду, греки избегали всех тех случаев, где могли сами быть ранены, так сказать, без пути, приберегая себя к моменту действительного удара.

Азовский полк, как уже испытанный в Балаклавском деле при штурме редута, был нарочно прислан главнокомандующим к Хрулеву в его отряд. Третий и четвертый батальоны этого полка пошли было молодцами на штурм, правее волонтеров, на пункт еще труднее нашего, но, кроме ружейного, попали еще под убийственный картечный огонь и потерпели порядочно: вода остановила их точно также как греков и драгун, и потому, после безуспешных попыток воспользоваться лестницами, они были принуждены возвратиться на свои места.

Признавая это неожиданно встреченное нами препятствие непреодолимым, Хрулев поспешил остановить дальнейшие попытки к штурму и поскакал ко мне. Завидев его издали, я пустился к нему навстречу и мы съехались около дальнего угла кладбища, за которым теперь стояли 5-й и 6-й резервные батальоны Подольского полка.

— Евпаторию взять нельзя! — громко сказал мне Хрулев. — Ничего не сделаешь: выводите ваши команды, отступить!

Затем он скомандовал резервным батальонам Подольского полка «налево кругом!», но они, не трогаясь, в один голос заговорили:

— Ваше превосходительство! Позвольте: мы возьмем… только прикажите!..

Хрулев остановился. Молодые солдатики так жалостно просили и, стоя под огнем, не заботясь об утратах, с такой улыбкой надежды смотрели ему в глаза, что он, видимо, колебался. Лицо его пылало, молодецкая кровь кипела, слово согласия из глубины сердца рвалось на уста… но благоразумие взяло верх: глубоко вздохнув, Хрулев переломил себя.

— Спасибо, спасибо вам, молодцы! — произнес он нетвердым голосом. — Мы пойдем, только не сейчас! Мы много потратили патронов, надо опять запастись, а пока пойдем обедать!

Затем, махнув рукой, в знак отступления, он поехал назад, весело улыбаясь. Приказав грекам, спешенным казакам и другим выбираться из огня, я последовал за Хрулевым. Отъехав немного, мы были настигнуты князем Урусовым, прискакавшим из центральной колонны.

— Как! что! ты велишь отступать? — начал он, — помилуй, братец, зачем? мы так славно пошли… Напрасно, напрасно! Мы бы непременно взяли Евпаторию…

— Игра не стоит свеч, братец; ты это хорошо сам знаешь! — сухо отвечал Хрулев.

— Солдаты рвутся! я их поведу. Как же это — отступать в такую благоприятную минуту?

Но Степан Александрович, вместо ответа, въехав на бугор бывший возле расположения центральной колонны, громко скомандовал: «отступление в шахматном порядке, первые батальоны, начинай!»

И подняв саблю вверх, выждал покуда команда передавалась батальонными командирами, потом опустил ее, с возгласом «марш!»

И отступление началось так же чисто, как оно обыкновенно делается на линейном учении. Когда первые батальоны отошли на известное расстояние, Хрулев возобновил команду для вторых и так далее; шли мы вплоть до места нашего ночлега. При начале отступления, флигель-адъютант Волков, прискакавший к Хрулеву, сообщил ему, что часть турецкой конницы и пехоты выходила из Евпатории с целью преследования, но, устрашась наших двух батальонов Азовского полка при батарее артиллерии, воротилась вспять; при этом турки осмеливались подскакивать довольно близко к нашим каре. Когда мы и с места тронулись, в нас палили таки и с укреплений Евпатории, и с пароходов, но мы скоро спустились за высоту — и всё умолкло.

Отступив от Евпатории, Хрулев довел отряд и приказал дать обедать людям и пополнить убыль в патронах; слез с лошади на тот самый камень, на котором провел ночь, и заснул глубоким сном.

Я отправился к греческому батальону проверить убыль и навестить раненых; рядовые были на перевязочном пункте, а капитаны при своих ротах. Христовери сидел в кибитке и, благодаря за участие, весело успокаивал меня на счет последствий ран; Карайско, лежа на телеге, жестоко страдал: раны своей он не пережил.

По первым сведениям на самом поле битвы, насчитали раненых несколько более 500 человек; раны, в большинстве случаев, были легкие, круглыми пулями или жеребьями; многие солдаты не вышли даже из фронта; но самую ощутительную потерю понес Азовский полк: кроме многих офицеров и нижних чинов, был ранен довольно серьезно в берцовую кость командир полка, храбрый генерал Криднер.

Блестящий результат предварительных распоряжений Хрулева отразился в том примерном порядке, с которым убирали с поля и перевязывали раненых. Когда они доставлены были в Симферопольский госпиталь, то старший доктор поспешил засвидетельствовать главнокомандующему о той образцовой исправности перевязок, которую он нашел у раненых, прибывших с поля Евпаторийского сражения, причём он присовокупил, что и в госпитале в настоящее время трудно было бы сделать перевязки подобным образом. Вся честь и заслуга в данном случае принадлежала хирургу Евпаторийского отряда, надворному советнику Райскому; честь и слава благоразумным распоряжениям Хрулева! Под Евпаторией начальники частей артиллерии отличались распорядительностью как перед боем, так и в самом бою. Артиллерия работала на славу и много положила врагов в Евпатории. Штуцерники действовали тоже мастерски. Пехоте и кавалерии правой и центральной колонн не довелось приложить их готовности к делу; они отступили, с надеждою возобновить бой после обеда[21].

Пообедали, позапаслись сколько было возможно патронами и снарядами, осмотрелись и ожидали приказания. Никому не было известно решение Хрулева; он спал глубоким сном и добудиться не было никакой возможности. Этот сон похож был на какую-то летаргию. После стольких бессонных ночей и голодных дней, при сильнейшем напряжении всей нервной системы, после увлечения боевыми минутами, сопровождавшимися целым роем самых разнообразных ощущений, — Хрулев, под гнетом утомления, погрузился в совершенное забытье.

Возвратясь из батальона, возле Хрулева я застал Волкова и Шейдемана.

— Степан Александрович! Степан Александрович!! — будили они его, — батюшка, проснитесь… что нам делать с войсками? Они готовы, управились!..

Видя, что все усилия их напрасны, Волков и Шейдеман пошли к войскам, посоветовались, опять возвратились к Хрулеву: будили, будили… наконец, он открыл глаза.

— По домам! — произнес он, — дайте лошадь!

И опять погрузился в прежний сон.

Подали лошадь: Хрулев спал сидя на камне. С трудом усадили мы его, полусонного, на лошадь и поехали. Я с правой стороны, Волков — с левой, держась как можно ближе к его стремени. Степан Александрович машинально держал поводья и сильно дремал.

Нагнав азовцев, мы с Волковым заметили, что многие, легко раненые, идут во фронте, как ни в чём не бывало. Мы разговорились о молодцах, и Волков вполголоса поощрял их. Хрулев, заслышав говор людей, очнулся.

— Азовцы?! А, молодцы, спасибо, спасибо! — заговорил он, обгоняя батальоны.

— Когда же, ваше превосходительство, опять? — с нетерпением спрашивали азовцы.

— А вот, подождите, дайте срок; управимся! — отвечал Хрулев, и, обогнав полк, опять заснул.

Мы с Волковым ехали молча, поглядывая друг на друга и карауля Хрулева, чтобы он не упал; но Степан Александрович, по привычке, свойственной кавалеристам, и спящий твердо держался на седле.

Образцовый порядок в деле и стройное отступление войск, живописно освещенных солнечными лучами, оставили в нас не только не тяжелое, но, можно сказать, приятное впечатление боя под Евпаторией. Все мы сознавали себя правыми, не смотря на то, что отступали. Каждый чувствовал, что сделал всё бывшее в его силах и понимал, что естественное, встреченное нами препятствие было непреодолимо. Где же та безрассудная запальчивость, в которой обвиняют Хрулева? Здесь ему представлялся случай предаться ей: взяв дело на свой страх, Степан Александрович развивал, лелеял мысль — овладеть Евпаторией и порадовать государя; изготовился к делу как нельзя лучше; настроил он солдат, одушевил их, увлек на приступ и, когда они устремились на добычу, он оторвал их от неё единым словом: «отступить!» Войска рвутся в бой, Хрулев — ведет их обедать, жертвуя личною своею отвагою требованиям благоразумия.

Доехав до Тюк-Мамая, куда заблаговременно было назначено перейти обозам штаба, Хрулев машинально спустился с лошади и, поддерживаемый нами, взошел на крыльцо. В комнате он направился к широкому оттоману и, опустясь на него, захрапел.

XIX

Чтобы не терять времени, я, по возвращении в Тюк-Мамай, распорядился всем для отъезда: выслал верховых лошадей на три подставы и ожидал. Сели обедать; будили Хрулева — не встает; подали чай — спит по прежнему. В страшном нетерпении я ходил из угла в угол, от окошка к окошку; то выйду на крыльцо, то забегу в конюшню. «Светлейший, — думаю, — ждет меня с часу на час, а я еще и не думал трогаться. И зачем только я спросил Хрулева о поручении?» Мне ехать бы просто с докладом очевидца и я был бы прав… а теперь, когда Хрулев приказал мне подождать письменного донесения, уехать не дождавшись значило бы оскорбить полководца. Самое главное: никто не был уверен в том, действительно ли Хрулев отказался от мысли взять Евпаторию и не намеревается ли он с утра возобновить приступ. Общий голос лиц, состоявших при Степане Александровиче, решил, чтобы я переночевал.

Я остался; Хрулев проснулся лишь после полудня, проспав, таким образом, целые сутки. Первыми его словами было:

— Дайте есть! Я голоден, как собака!

Наскоро перекусив, Степан Александрович стал диктовать донесение главнокомандующему. Покуда писали, переписывали, запечатывали давно мною ожидаемый конверт, было уже 6 часов вечера. Уложив донесение за пазуху, я поскакал, но не надолго: вскоре стемнело и я был принужден умерить свою прыть. На небе темно, на земле черно и, только благодаря необыкновенной сметливости казаков и способности лошадей чуять дорогу, я, после двух перемен, прибыл на последнюю подставу. Уже брезжило, когда я пересел на доброго иноходца и пустил его во весь мах, уже по знакомой, мне и лошади, дороге. Я несся совсем сонный и скоро достиг Северной. Здесь все еще спали и я присел на завалинку, в беспокойном ожидании пробуждения князя. Я промедлил более суток и меня мучила совесть за мою ненаходчивость.

Когда я, сконфуженный, наконец подал князю конверт, он, с удивлением посмотрев на меня, сказал:

— Ах, батюшка, я думал ты ранен? Что же ты так долго?

Сознавая себя кругом виноватым, я пробормотал:

— Хрулев спал, — велел подождать…

Этот ответ видимо не удовлетворил князя. Пробежав наскоро донесение Хрулева, он произнес:

— Реляция! — и бросил тетрадь на нижнюю полку походной этажерки.

При подробном изложении хода дел, Хрулев прислал со мною копии с диспозиций и приказаний; даже приложил экземпляр намалеванного мною плана Евпатории. Всё это не утешило князя: он видел только опять и опять неудачу.

Через несколько дней воротился из командировки и Волков, которого князь послал в Петербург с объяснением дела государю.

Между тем, еще ранее, в день моего возвращения из Евпатории, 7-го февраля, князь отправил в Петербург курьера с донесением его величеству (за № 541), где, вкратце сообщая об Евпаторийском деле, придал ему смысл усиленной рекогносцировки. Жаль, что донесение это не запоздало: оно имело великое несчастье огорчить императора в последние дни его жизни!

Как ни маловажна была неудача Евпаторийского дела по своим последствиям и по сравнению его с предшествовавшими делами, она тяжелым камнем легла на воспоминания всей России. Так дело как бы и заглохло: никто о нём не вспоминал; образцовое его подготовление и маневрирование остались лишь в документах. Князь Меншиков никогда не говорил о нём; никогда меня о нём не расспрашивал.

8-го февраля, утром, была заслышана пушечная пальба от стороны Чургуна. Оказалось, что неприятель, пользуясь вьюгой, сделал от Балаклавы к стороне Чургуна нечто вроде рекогносцировки, но скоро был замечен нашими и своевременно остановлен. Перепалка еще изредка продолжалась, когда я, посланный светлейшим, отыскал в метелице наш отряд, осторожно преследовавший союзников. Когда всё успокоилось, я возвратился к князю и застал у него Тотлебена, с докладом о выборе места для редута за Килен-балкою. 9-го числа вечером, Тотлебен его уже разбил, а ночью открыл работы, помощью нескольких батальонов Селенгинского и под прикрытием всего Волынского полков, под общею командою отрядом генерала А. П. Хрущева. 10-го февраля, около полудня, главнокомандующий, сопровождаемый мною, поехал осмотреть работы. Найдя, что они настолько подвинулись, что оставленные на день несколько рот селенгинцев уже могли укрываться от неприятельских выстрелов, князь был очень доволен и, в поощрение трудившихся, назвал этот редут «Селенгинским»; ободрял молодцов, указывал как им удобнее работать и, вместе с тем, прикрываться от неприятельских штуцерных пуль. Сам он однако же очень рисковал, будучи верхом и тем представляя хорошую цель стрелкам. Хрущев, днем вместе с полком укрывавшийся в балке, завидя князя, присоединился к нему и указал место ночной своей позиции.

Возвращаясь, в хорошем расположении духа, на Северную, дорогою князь объяснял мне ту пользу, которую наступление редутами может принести обороне Севастополя. Он прибавил к этому, что если бы Инкерманское дело удалось, то теперь нам не пришлось бы занимать позицию на Сапун-горе таким медленным способом, каково наступление редутами, и что теперь, кроме затруднений в работах, нам предстоит, чуть ли не ежедневно, вступать в бой с неприятелем. Мысль укрепиться на Сапун-горе была еще у князя 24-го октября, в день Инкерманской битвы. Припоминая о том, князь заключил разговор словами:

— Открытою силою нам что-то не удается двигаться вперед… Попробую контр-апрошами.

Я заметил, что мысль выступления на Сапун-гору, с некоторого времени, особенно часто посещала князя и стала его любимою. Желая лично наблюдать за работами, светлейший надеялся поддержать в себе энергию и восстановить силы.

11-го и 12-го февраля работы на редуте порядочно успевали, хотя каменистый грунт очень затруднял селенгинцев и неприятельские выстрелы не умолкали.

С 12-го на 13-е февраля я заслышал гром пальбы с пароходов. Окно занимаемой мною лачужки выходило как раз против Киленбалки, прямо на Селенгинский редут. Пробужденный пальбою, гляжу в окно и вижу, на Киленбалкской высоте, как на небе, сверкают огоньки, в виде перекрещивающихся нитей. Эти огоньки, кучками, то подавались вперед, то двигались назад; то вправо, то влево; либо, показываясь в стороне — то исчезали, то вспыхивали опять. Выбежав на берег бухты, я там уже нашел князя; дело несомненное: неприятель атаковал Селенгинский редут! Вот, вижу, огоньки раздвоились: опять сошлись; со стороны противников погасли, с нашей стороны побежали вперед… затем всё стемнело. Отбили? нет: видим, огоньки опять устремились в нашу сторону, перепутались кучками, то там, то здесь, сливаясь, разбегаясь… местами огоньки вспыхивают залпами: видно, там жаркие схватки. Князь, притаив дыхание, впился взорами в темноту и проговорил в волнении:

— Хрущеву там жарко!

В третий раз огоньки со всех сторон устремились на наших.

— Наши отступают!.. — проговорил было князь. — Нет, нет! отбили! — произнес он, радостно переводя дух.

Тут уже можно было, судя по направлению огоньков, верно определить, как наши, взяв перевес, преследуя бегущих неприятелей, далеко забрались. Наконец, всё утихло, огоньки погасли и не возобновлялись более. Во время дела, пальба с пароходов прорезывала мрак с оглушительным грохотом.

Соображаясь с огнями ружейных выстрелов, наши комендоры удачно направляли орудия и тем много содействовали успешному отбитию приступа, известие о котором, чуть-свет, привез главнокомандующему прапорщик Волынского полка Маклаков, ординарец и воспитанник Хрущева. Он рассказал, что Селенгинский редут атаковали зуавы: что волынцы, при содействии селенгинцев, ставших по первой тревоге в ружье, отбили французов. Заслышав их приближение, волынцы встретили неприятелей хотя и горячо, но натиск зуавов был так дружен, что одну минуту волынцы смутились; но Хрущев отважно бросился вперед, крикнув своим: «ребята, не выдавайте!» и волынцы ринулись за ним, защитили командира и лихо отразили неприятелей. Три раза французы возобновляли нападение и три раза были отбиты; наконец, после отчаянной кровавой схватки, отступились от редута. Тогда селенгинцы опять принялись за работу, а волынцы занялись уборкою раненых и погребением убитых, которых насчитали множество: около сотни трупов насчитали еще до прибытия к нам Маклакова. С нашей стороны потеря была на половину менее.

Князь был чрезвычайно обрадован этим успехом, в особенности доволен тем, что отличился его любимый полк. Подавая мне связку георгиевских крестов на лентах, он сказал:

— Тут двадцать пять знаков; отвези Хрущеву и обними его за меня. Пусть раздаст, кому знает!

Сев на лошадь, в сопровождении торжествующего Маклакова, я поехал в Троицкую балку, на позицию Волынского полка. Приехав на бивуак, я застал командира и солдат в самом веселом расположении духа. Поздравив Хрущева от имени главнокомандующего, я подал ему георгиевские кресты. Радующийся Александр Петрович вынес их из палатки, стоявшей над бивуаком, и, подняв над головами солдат, крикнул:

— Главнокомандующий прислал вас поздравить, ребята! Вот георгиевские кресты… Ура!!

Лишь только Хрущев возвратился в палатку, как новый взрыв радостных кликов загремел по бивуаку…

Хрущев выглянул и, схватив каску, проговорил:

— Великие князья!

Посещение бивуака их высочествами усилило радость ликовавших победителей.

В течение последующих дней Селенгинский редут был окончен и вооружен: а с 16-го на 17-е февраля был заложен волынцами еще новый редут впереди и несколько левее Селенгинского. Этим временем князь весьма сожалел, что, по болезни, не может посетить волынцев и лично поблагодарить их.

Затем он до того расхворался, что доктор Таубе уговорил его переехать на время подальше от Севастополя, чтобы отдохнуть и поправиться. 17-го февраля князь решился, наконец, отправиться в Симферополь, сообщил мне об этом и послал его величеству следующее всеподданнейшее донесение, за № 552:

> «Физические силы мои совершенно ослабели, а недуги, коими я одержим, ожесточаются и уничтожают совершенно мою служебную деятельность. Недуги эти такого рода, что всякое усиливание припадков лишает меня способности командования.
>
> Преступно было бы мне долее умалчивать вашему императорскому величеству о моем положении, в котором ежели застанет меня необходимость маневрировать, отражать или вести в бой войска, они будут без главного начальника, ибо он не в состоянии найдется не только вести их, но даже и сопровождать.
>
> С сокрушенным сердцем испрашиваю соизволения вашего императорского величества сдать, кому повелено будет, начальство над войсками, к Крыму расположенными, а мне дозволить отъехать в Николаев и Одессу для пользования».

18-го февраля 1855 года, князь Александр Сергеевич Меншиков, без особенных сборов и передав начальство барону Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену, сел в легкую бричку вместе со мною, перекрестился, и, вынув серебряную коробочку, в которой врезаны были двое часов, посмотрел и сказал, видимо, чтобы запомнить время:

— Тридцать три минуты первого.

Этот час, по градусам, минутам и секундам петербургского меридиана, соответствовал *двадцати минутам первого* — роковому часу кончины императора Николая Павловича[22].

Экипаж тронулся; я и не подозревал, что мы окончательно выезжаем из Севастополя и что князь Меншиков в близком будущем сложит с себя звание главнокомандующего. Когда мы проехали Бельбек и тянулись на гору, нас охватил пронзительный ветер. Князь стал жаловаться на ломоту в руке и что он ею как-то плохо действует.

— Хорошо, — заметил он, — что, предчувствуя эту боль, я велел себе сшить рукав из заячьей шкурки и надел его; а то бы этот холодный ветер меня донял.

Проехав еще немного, князь стал утомляться и поговаривать, что не худо было бы ему в Бахчисарае отдохнуть, только он не знает, где ему там приютиться, так чтобы никого не обеспокоить.

Тогда я предложил ему расположиться в маленьком домике унтер-офицера грека Василия Подпати, куда я уже отправил передовой экипаж. Князь ничем не решил; но, приехав в Бахчисарай, нашел в теплом, уютном домике грека такую опрятность и такое радушие хозяев, что почувствовал отраду, какой давно не испытывал.

Когда, утром, я вышел к нему, он с чувством довольства сказал мне:

— Ах, братец, как мне здесь хорошо; я бы не выехал! Останемся здесь подольше, съездим в Чуфут-Кале. Мне гораздо лучше.

Заложили лошадей, мы выехали за город по дороге в Чуфут-Кале; но, не доехав до него, воротились. Князь не понадеялся на свои силы, так как на скалистую гору Чуфут-Кале возможно взобраться лишь верхом на лошаке. По возвращении в Бахчисарай, князь велел подать себе верховую лошадь, желая осмотреть расположение города. Лошадь стояла уже у крыльца, как из Севастополя приехал Константин Романович Семякин. Отложив свою поездку, светлейший предоставил мне осмотреть Бахчисарай одному. Семякин, 17-го и 18-го февраля находившийся в командировке, ничего не знал об отъезде князя и, по возвращении своем, нашел приказание догнать Александра Сергеевича в Симферополе. Князь целый день занимался с Семякиным и распростился с ним лишь поздно вечером, предупредив меня, что завтра мы выезжаем в Симферополь. Семякин вышел от князя растроганный и, обняв меня, сказал:

— Прощайте, Панаев; воротится ли князь? А мне такого командира не нажить.

Так и не удалось князю воспользоваться отдыхом, который мог бы весьма быть полезен для его здоровья. Здесь, в Бахчисарае, под гостеприимным кровом добрых, радушных людей, князю так отрадны были мельчайшие заботы и попечения о его спокойствии простой и с тем вместе деликатной женщины. На другой день, 20-го февраля, мы выехали из дома Подпати.

В Симферополе князю отвели официальную квартиру в прекрасном доме; но здесь было уже не то, что под мирным кровом Подпати. Здесь присутствие должностных лиц и городских властей, донесения, запросы из Севастополя — опять растревожили князя. Он спешил уехать в Николаев; приказал мне изготовиться к 23-му февраля, но прибытие накануне курьера из Петербурга заставило его отложить поездку. Получена была печальная весть о тяжкой болезни государя; великие князья вызывались в Петербург. Князь Меншиков, встревоженный сам, но, чтобы не повергнуть в уныние войска, тщательно скрывая

полученное известие, поручил барону Остен-Сакену содействовать ему в том. Вследствие итого, их высочествам было сообщено, что они призываются в Петербург по случаю нездоровья августейшей их родительницы. Великие князья понеслись в Петербург; в Симферополе они не успели повидаться с князем; наскоро пообедали у губернатора. Один А. Д. Крылов, знавший истину, обедал в этот день с их высочествами и рассказал нам о тревожном состоянии духа и о той поспешности, с которыми великие князья неслись в столицу. Окружавшие Меншикова всё еще ничего положительного не знали, но расстроенное состояние духа и принужденность, с которыми князь и Крылов говорили с нами, не предвещали ничего доброго. В унынии бродили мы из угла в угол, мало разговаривая друг с другом, не в силах будучи чем-либо заняться…

Вдруг — зловещий посланный из Севастополя: барон Остен-Сакен извещает князя Меншикова, что союзники, вызвав парламентера, сообщили ему прискорбное известие о кончине императора Николая I!

Как громом пораженные, мы не знали чему верить: болезни ли императрицы, или кончине императора? Нас обдало ужасом; князь слег — у него открылась жестокая лихорадка: доктора настаивали на безотлагательном выезде князя из Крыма.

Тогда князь поручил мне расформировать нижних чинов состава главной квартиры. В то же время он вкратце сообщил мне смысл полученного им, 22-го февраля, рескрипта Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича от 15-го февраля, которым князь, за болезнью, увольнялся от звания главнокомандующего.

Вот содержание упомянутого рескрипта[23]:

> «Государь, чувствуя себя не совершенно здоровым, приказал мне, любезный князь, отвечать вам его именем на последнего вашего курьера, от 7-го февраля.
>
> Его величество крайне был огорчен неудачною попыткою, произведенною, по вашему приказанию, генералом Хрулевым, на Евпаторию, и значительною потерею, вновь понесенною нашими храбрыми войсками *без всякого результата*.
>
> Его величество не может не удивляться, что, пропустив *три месяца* для атаки сего пункта, когда в нём находился *самый незначительный гарнизон, не успевший еще укрепиться*, вы выждали теперешний момент для подобного предприятия, тогда именно, когда, по всем сведениям, *достоверно было известно*, что туда прибыли

значительные турецкие силы с самим Омер-пашой. Его величество не может не припомнить вам, что он предвидел этот грустный результат.

Из журнала осадных работ под Севастополем, его величество убеждается, что союзники, подвигаясь всё ближе, устраивая новые батареи, как против 4-го бастиона, так и на Сапун-горе, и получив значительные подкрепления, замышляют что-то решительное, что также подтверждается всеми газетными статьями.

С другой стороны, усматривая из ваших неоднократных донесений, что, при теперешнем числе войск, вы решительно считаете *всякое наступательное движение невозможным*, его величество видит один только выгодный исход всему делу, а именно: если неприятель покусится на штурм и Бог поможет отбиться, то немедля перейти в наступление, как из самой крепости, так и со стороны Чургуна на Кадыкиой, назначив для сего последнего движения сколь возможно большее число свободных войск с нужною артиллериею и кавалерией, дабы угрожать одновременно центру, правому флангу и даже тылу неприятельского расположения.

Если же неприятель сам предпримет наступательное движение, то его величество не сомневается, что принятыми вами мерами, на крепкой и почти неприступной позиции, ныне вами занимаемой и столь сильно укрепленной, вы везде встретите его и с Божиею помощью остановите всякое дальнейшее покушение.

Что касается до признаваемой вами необходимости нового затопления *3-х линейных кораблей* для замены разнесенного прежнего заграждения севастопольского рейда, его величество, не отвергая пользы сего заграждения, не может, однако, не заметить, что мы сами уничтожаем наш флот.

За сим государь поручает мне обратиться к вам, как к своему старому усердному и верному сотруднику, и откровенно сказать вам, любезный князь, что, отдавая всегда полную справедливость вашему рвению и готовности исполнять всякое поручение, доверием его величества на вас возлагаемое, государь, с прискорбием известившись о вашем болезненном теперешнем состоянии, о котором вы нескольким лицам поручали неоднократно словесно доводить до высочайшего его сведения, и желая доставить вам средства поправить и

укрепить расстроенное службою ваше здоровье, высочайше увольняет вас от командования крымскою армиею и вверяет ее начальству генерал-адъютанта князя Горчакова, которому предписано немедленно отправиться в Севастополь. До его приезда, его величество вполне остается уверенным, что вы с прежним усердием будете продолжать исполнять должность вами доселе занимаемую.

Известясь также о болезненном состоянии сына вашего, вследствие сильной контузии, его величество разрешает ему воротиться сюда и вместе с тем назначает его генерал-адъютантом.

За сим, государь поручает мне, любезный князь, искренне обнять своего старого друга Меншикова и от души благодарить за его всегда усердную службу и за попечение о братьях моих».

XX

По получении рескрипта, князь Меншиков написал Его Высочеству Государю Наследнику Цесаревичу следующее донесение от 24-го февраля 1855 года (за №553).

«Рескрипт Вашего Императорского Высочества от 15-го сего истекающего февраля месяца с изложением высочайшего увольнения меня от командования войсками в Крыму, застал меня уже в Симферополе, куда я прибыл по сдаче начальства генерал-адъютанту барону Остен-Сакену, и в положении здоровья столь расстроенного, что я лишен всякой физической возможности принимать участие в действующей армии.

Не сумею выразить Вашему Высочеству сколь глубоко чувствую и высоко ценю я то лестное внимание, которое оказано мне при этом.

Убежденный искренно, что в выполнении всего, требуемого настоящими событиями, одного усердия недостаточно — нужны силы и разумение, — я, с благоговейною признательностью приемлю высочайше дарованный мне отдых, так существенно моим ослабевшим силам необходимый.

Священным долгом поставляю себе, при свидании с князем Горчаковым, передать ему всё, что знаю, не только с откровенностью, но и с чувством той дружбы, которая взаимно связывает нас с юных лет.

При всеподданнейшем донесении Вашему Высочеству об этом, да будет мне дозволено обратить внимание Ваше, на — осмелюсь так выразиться — существенную необходимость дать преемнику моему разрешение двигать войска по своему ближайшему местному усмотрению в то время, когда придется ему маневрировать из одного края полуострова в другой и обращать головные войска наступательных колонн, те войска, которые будут ближе под рукой, для стратегического направления их от турок к сардинцам, либо к французам, или к англичанам, и обратно, смотря куда и как понадобится.

В таком передвижении могут быть войска 6-го корпуса и 8-я дивизия. Уполномочие — своевременно и по своему усмотрению распоряжаться сею последнею — необходимо дать моему преемнику потому, что их

императорские высочества государи великие князья, между переданными мне высочайшими указаниями, изволили, также именем государя, объявить запрещение сближать к себе 8-ю дивизию. Разрешено было мне только одну бригаду передвинуть в случае крайней надобности и то не далее как до высоты Симферополя.

Вышеизложенное соображение мое повергаю милостивому воззрению Вашего Императорского Высочества.

Тяжкое состояние моего здоровья вынуждает меня, по настоятельному требованию медиков, не оставаться долго в Крыму».

В бытность нашу в Севастополе, состав нижних чинов при главной квартире был не велик; насчитывалось всего-навсего 58 человек; в этом числе были: 4 сапера, 39 казаков, 8 балаклавских греков, 5 писарей, курьер и фельдшер. Впоследствии, при более обширном сформировании штаба, прибавилось еще человек 12 казаков для ухода за лошадьми приезжавших лиц, да еще на Северной, при штабе, бивуакировали, на всякий случай, полсотни казаков и полуэскадрон крымских татар. В Симферополь, за князем, пришло, конечно, и того менее, так что расформирование состава не было сопряжено с особенными затруднениями. Все рядовые из нижних чинов были произведены князем в унтер-офицеры и возвращены в свои части с заслуженными ими хорошими аттестациями. Некоторым князь подарил лошадей, лошаков, верблюдов; роздал также и денежные награды[24].

Кротким своим обращением, необыкновенным терпением и редкою снисходительностью, князь, без всяких материальных поощрений, умел привязать к себе людей, не возбуждая в них корыстных видов. При награждениях он не забыл и тех из отличных казаков, которые не могли следовать за ним в Симферополь.

Скоро всё было готово к отъезду князя и 26-го февраля он выехал из Симферополя. Я сел с ним в один экипаж, и когда мы проехали первую станцию, Сарабуз, князь сказал:

— Надо ожидать встречи с петербургским курьером; посматривай вперед, чтобы нам с ним как не разъехаться!

Проехав 65 верст от Симферополя до станции Айбары, князь утомившись, вышел из экипажа и, не будучи в силах продолжать путь, остался ночевать на станции. На другой день, ранним утром, мы опять тронулись в путь и за Ишюнью, последней станцией до Перекопа, встретились с ожидаемым курьером: это был генерал князь Ф. И. Паскевич, сын фельдмаршала. Он ехал в

Севастополь с повелением привести войска к присяге новому Императору Александру II и вез депеши князю Меншикову.

Прочитав депеши, Александр Сергеевич перекрестился и, расспросив Паскевича о подробностях последних минут жизни покойного государя, отправился в дальнейший путь.

Содержание первого рескрипта Императора князю Меншикову, от 18-го февраля 1855 года, было следующее:

> «Исполнив в последнем письме по словам незабвенного Государя нашего и благодетеля, Я хочу сегодня выразить вам, любезный князь, мою искреннюю благодарность от его имени за вашу всегдашнюю ревностную службу.
>
> Будьте уверены, что все те, которых любил и уважал незабвенный мой родитель, всегда останутся близки моему сердцу, а вы знаете, что он называл вас своим *другом*.
>
> Увольняя вас, для поправления расстроенного на службе вашего здоровья, от всех занимаемых вами должностей, вы остаетесь моим генерал-адъютантом и Я рад буду видеть вас при мне. Если же вы предпочтете остаться в Севастополе, то я вам в этом не препятствую.
>
> Последнее известие о построении редута на Сапун-горе, привезенное сыном вашим за несколько часов до кончины нашего государя, было ему последним утешением.
>
> Да благословит Бог храбрых защитников Севастополя! — Вас искренно любящий
>
> *Александр».*

Второй рескрипт, от 19-го февраля, был такового содержания:

> «Князь Александр Сергеевич! Августейший родитель мой известился с искренним сожалением в последние дни неусыпных его попечений о защите церкви и отечества, что расстроенное здоровье ваше не может восстановиться среди неусыпных трудов, подъемлемых вами по званию главнокомандующего военными сухопутными и морскими силами в Крыму. Согласно просьбе вашей и всемилостивейшему предположению в Бозе почившего государя, увольняя вас от сей должности и звания начальника главного морского штаба и финляндского генерал-губернатора, дабы предоставить вам необходимый для течения отдых, но оставляя вас генерал-адъютантом и членом государственного совета,

Я отдаю полную справедливость самоотвержению, с каким, не взирая на болезненное состояние, вы исполняли доселе важные и многочисленные обязанности, на вас лежавшие.

В общей глубокой горести о кончине нашего благодетеля да будет нам утешением истинно русская храбрость, с которою вверенные вам войска встретили неприятеля и противодействуют его покушениям.

Поблагодарите от Меня всех доблестных защитников Севастополя за блистательные подвиги, коими они украсили наши военные летописи. Перешедший в жизнь вечную царственный вождь православного воинства благословляет свыше их стойкость и беспримерную неустрашимость.

Пребываю к вам навсегда благосклонным (подписано)

Александр».

Проехав несколько времени с грустно поникшей головой, князь обратился ко мне:

— Я уволен от всех должностей с оставлением членом государственного совета, поэтому уже не имею права на адъютантов. Ваша судьба меня беспокоит: некоторых Его Высочество Великий Князь Константин Николаевич перечислит, вероятно, к себе, как, например, Грейга; Виллебрандт останется у Горчакова; Веригин, я знаю, после кампании, не останется на службе… а ты, как про себя думаешь?

Так как я еще ничего не сообразил, то и ответил князю, что покуда он мне позволит сопровождать себя, то я не желаю ничего лучшего, а там, Бог даст, война скоро кончится и я оставлю службу, чтобы вполне предаться занятию кавалерийским искусством.

Особенное, высокое уважение к князю Александру Сергеевичу не допускало во мне мысли видеть в ближайшем моем начальнике кого-либо другого, кроме его. Лица, состоявшие при князе, подчинялись ему невольно, по глубокому внутреннему убеждению в его превосходстве над собою.

После краткого рассуждения о размещении своих адъютантов, князь замолк, и, склоняясь то к одному, то к другому боку экипажа, искал удобнейшего положения, но всё напрасно: его душевные и телесные страдания были слишком ощутительны. К тому же дорога от Симферополя всё время шла очень грязная; легкий экипаж князя шестериком и сзади тарантас четверкой с большим трудом, но всё-таки подавались вперед, тогда как

встречавшиеся нам обозы страшно маялись. Усилия подводчиков были неимоверны: многие из них, потеряв надежду вытащить из грязи свои телеги, бросали их и уводили лошадей на отдых, в ожидании просухи. По мере приближения к Перекопу, солонцеватый грунт низменности до того растворился, что представлял непрерывную топь, широко изъезженную по всем направлениям. Движущихся подвод было мало, большая их часть была брошена и утопала в грязи без лошадей, которые, в свою очередь, трупами валялись на пути: под слоем грязи едва можно было различить очертания членов несчастных животных. Немало попадалось и таких подвод, которые, как казалось, уже давным давно ожидали своего спасения, а между тем они были нагружены предметами насущной необходимости для армии. Вид этого плачевного подвоза тревожил князя: он сокрушался об участи войск; беспрестанно выглядывал из брички, чтобы узнать какая кладь была на погрязшей подводе; а так как мы и сами-то едва-едва двигались шагом, то и не трудно было даже сосчитать число подвод. Вдруг наша бричка стала! Шестерня не могла ее стащить. Выйдя из экипажа, вижу, что её колеса превратились в сплошные валы от плотно налипшей на них грязи. Пользуясь моим большим кинжалом, я с ямщиком принялся срезывать с колес целые глыбы грязи — и признаюсь, немалого труда стоило нам привести колеса в такое состояние, чтобы они могли вертеться. Проехав немного, лошади опять стали; мы опять принялись за ту же работу… и так, очищая колеса, мы чуть-чуть подавались вперед, причём, каждый раз, налипшая грязь отделялась труднее: ветер, обдувая землю, начинал ее просушивать, грязь густела и, по особому свойству липкости своей, всё плотнее и плотнее приставала к колесам. Наконец, за три версты до Перекопа, колеса до такой степени слились с почвой, что составили как бы нераздельную с нею массу и лишь лопатами еще можно было что нибудь сделать: ни моего кинжала, ни наших сил уже не хватало! [25] Разуваев, камердинер князя, был очень болен; изнуренный припадками чахотки, он лежал в тарантасе и не мог нам пособлять. Добрый шестерик напрягал все свои усилия, но не мог даже сдвинуть с места нашу нетычанку. Пришлось послать ямщика верхом, в Перекоп, за помощью… В степи водворилась мертвая тишина. Заметив, что князь дремлет, я оставил его одного в бричке, прикрыл ее запоном и спустил зонтик. Князь крепко уснул.

Уже вечерело, когда из Перекопа пригнали десять пар волов и пришли рабочие с лопатами; светлейший всё еще спал. Без шума откопали колеса брички, запрягли в нее все десять пар волов, которые и поволокли экипаж.

По неимению волов для тарантаса, мы были принуждены оставить его ночевать в степи, вместе с больным Разуваевым.

Когда мы, наконец, втащились в город, то здесь грязь оказалась пожиже; экипаж задвигался пошибче, заколыхался и князь проснулся.

— Где мы остановимся?

— В доме соляного пристава, — отвечал я, — там всё приготовлено.

Князь поморщился и заметив мне, что он не любит никого стеснять.

Однако, радушный прием, ему оказанный, расположил Александра Сергеевича в пользу гостеприимного хозяина. Выражая ему свою искреннюю признательность, князь ему говорил:

— Мне так у вас хорошо, Петр Петрович, что, откладывая всякую церемонию, я покоряюсь вашему задушевному обо мне попечению. Делайте со мной что хотите; я вижу ясно, что вы не тяготитесь мной.

Действительно, наш хозяин, соляной пристав Озерецковский, с таким непринужденным тактом держал себя и с такой простотою, без всякого отступления от обыденной своей жизни, угощал нас, что в его доме мы чувствовали себя очень легко.

Петр Петрович Озерецковский был человек умный и образованный; князь с удовольствием беседовал с ним и, по свойственной ему любознательности, знакомился с соляными промыслами Крыма. Князь намеревался дождаться здесь встречи с князем М. Д. Горчаковым и писал к нему в Кишинев узнать о времени его выезда.

Беспокоясь об участи оставшегося в степи Разуваева, утром 28-го февраля, я поехал верхом к нему навстречу. Прождав довольно долго, я подумал, не умер ли наш больной. Однако, часу в одиннадцатом, камердинер князя, очень веселый и довольный, въехал в Перекоп, влекомый в тарантасе десятью парами волов. Бодрое состояние духа и здоровья камердинера меня удивило; впоследствии князь объяснил мне, что чахоточные, вообще, на влажном и открытом воздухе дышат свободнее. Так и Разуваева подкрепила ночь, проведенная им в степи; но князь с грустью заметил при этом, что самый этот признак подтверждает неизлечимость болезни его камердинера.

В Перекопе и сам князь несколько оправился здоровьем; он был в состоянии принимать начальников проходивших мимо частей войск; давал им свои наставления; написал прощальный приказ по крымским войскам и, пробыв в доме Озерецковского до 5-го марта, выехал далее, располагая встретиться с князем

Горчаковым в Херсоне.

Отрадный приют в Перекопе подкрепил силы Александра Сергеевича, но надобно было поспешить в Херсон. Князь Горчаков уже выехал из Кишинева, а от Перекопа до Херсона еще 90 верст; в последнем всего удобнее будет съехаться обоим главнокомандующим. При этом кн. Меншиков заботился, чтобы, для проезда князя Горчакова, лошади на станциях после нашего перегону успели отдохнуть, чем облегчалось прибытие Михаила Дмитриевича к Севастополю.

XXI

За Перекопом дорога пошла лучше, местность была возвышеннее; ветерком обдувало дорогу и за время, проведенное нами в Перекопе, она успела пообсохнуть, ехали мы шибко и около двух часов пополудни достигли Алешек. Дорогой мы встретили несколько дормезов, в которых ехали передовые из южной армии: ясно было, что проезжавшие и не подозревали, какой сюрприз озадачит их экипажи за Перекопом, и мы немало удивились непредусмотрительности ехавших.

Город Алешки расположен на луговой стороне Днепра; Херсон — насупротив, на правом, нагорном его берегу. Тотчас по прибытии в Алешки, князь послал в Херсон просить князя Горчакова, ежели он уже там, то подождать его прибытия; сам же, из опасения разъехаться с ним на Днепре, решился дождаться точных сведений в Алешках. Днепр в этом месте очень широк и от стороны Алешек покрыт густыми камышами, почему разъехаться было немудрено.

Со своей стороны, князь Горчаков, через посланного из Херсона, просил князя Александра Сергеевича не переезжать Днепра, так как он уже находился на пути в Алешки. Эта торопливость князя Горчакова обеспокоила кн. Меншикова: он рассчитывал на просторе заняться со своим преемником обсуждением столь важного вопроса, какова передача всех военных соображений защиты Крыма и Севастополя. Из предложения же Горчакова Александр Сергеевич заключил, что Михаил Дмитриевич не расположен обсуждать с ним предмет, так горячо озабочивавший бывшего главнокомандующего.

В ожидании прибытия князя Горчакова, я бродил по берегу. Завидев лодку, нагруженную чиновными людьми, я доложил кн. Меншикову; он вышел на берег и сел на камень, видимо в нервном настроении. Став поодаль, я думал о той укоризне, которую предстояло нам встретить в глазах нового главнокомандующего и всех его спутников. Тяжелое, гнетущее душу впечатление, вынесенное нами из Севастополя, ожидало всех, туда ехавших; они могли выразить нам справедливый укор за то, что мы «подвели их под сюркуп». И я ждал, что князь Горчаков начнет с того, что выразит неудовольствие своему предшественнику.

Не могу описать моего удивления, когда я увидел, что князь Михаил Дмитриевич, стоявший приосанясь в лодке среди генералитета, причалил к берегу в самом веселом настроении духа, и едва лодка коснулась пристани, как он выскочил из неё и

с восторженными телодвижениями поспешил навстречу князя Меншикова, в это время тихо и задумчиво спускавшегося к берегу. Встреча двух главнокомандующих при их смене — минута торжественная.

Я отошел в сторону.

Из разговора князя с его преемником я не мог слышать ни слова, однако же заметно было, что обоюдные отношения их самые дружественные. После обычных приветствий, сделанных Александру Сергеевичу свитою князя Горчакова, князь Меншиков подозвал меня и представил его сиятельству Михаилу Дмитриевичу; потом они вошли в домик на берегу, занятый Меншиковым. Я присел возле домика. До того дня никого из вновь прибывших я никогда не видал; все они были бодры и веселы… Свежие силы, ехавшие в Севастополь, не ведали, что их там ожидает.

Когда смерклось, я вошел в домик, чтобы отыскать людей из прислуги и приказать им подать свечи в ту комнату, в которой занимались главнокомандующие. В это время князь Александр Сергеевич растворил двери мне навстречу, и в анфиладе двух покоев я увидел князя Михаила Дмитриевича, который, сидя боком к столу, кушал пряники. Притворив дверь, князь Александр Сергеевич подошел ко мне.

— Ты что?

Я ответил; князь, понизив голос, сказал мне:

— Удивляюсь настроению Михаила Дмитриевича! Он решительно не входит в план моих распоряжений, а приехал со своими предвзятыми идеями, которые хочет исполнить. Я старался расположить его к продолжению уже успешно начатого плана наступления редутами, но он меня не слушает и говорит, что не напрасно следил за ходом севастопольских дел и на просторе, там, в Кишиневе, у него созрел чудный план, помощью которого и с теми средствами, которые он вносит для обороны Севастополя, он уверен, что вскоре вытеснит неприятеля с полуострова.

Я не мог удержаться от изумления; но князь продолжал:

— Подожди; я тебе покажу план, который Горчаков привез с собой!

Затем он ввел меня в боковую комнату и, подойдя к столу, по секрету показал карту, на которой я увидал нанесенные редуты в шахматном порядке, вдоль северного берега глубины бухты и по Инкерманским высотам. Первое, что мне бросилось в глаза, было то, что редутов оказывалась масса и размещены они были в симметрическом порядке, так что приходились на тех местах, где невозможно было их и построить. Взглянув на меня, князь, тихо и

скороговоркой, произнес:

— Ты хорошо знаешь эти места. Посмотри — где редуты приходятся, какая их цель, каковы должны быть силы, чтобы их занимать и можно ли ими изгнать неприятеля?

Спеша положить карту на прежнее место, князь шепнул:

— Не уходи.

Через несколько минут он опять вышел; прошелся по комнате; опять воротился… и так делал несколько раз: в нём были заметны волнение и беспокойство, которые он старался преодолеть.

— Не могу, — произнес он, наконец, вполголоса, — никак не могу настроить Горчакова на серьезный тон! Он ничего не слушает, а ходит от одной тарелки к другой и ест пряники… Я всё дожидался: «вот — думаю — съест все пряники, займется делом», — не тут-то было: он приказал подать себе еще; уж не знаю, сколько он их там привез, только я теряю всякое терпение и надежду наладить его на дело. Боюсь, он заболеет! Постой…

И князь вышел, не притворив за собою дверей, так что мне было видно, как человек Горчакова вошел и поставил две тарелки, наполненные пряниками, одну на одном столе, другую на другом.

Поискав в своих бумагах, Александр Сергеевич вынес какую-то записку и, выводя меня в прихожую, сказал:

— Отнеси эту записку к Коцебу, она ему нужна; но под этим предлогом постарайся разговориться и узнать, в каком он настроении?

Квартира Павла Евстафиевича Коцебу находилась на другом конце Алешек; я застал его в занятиях с начальником артиллерии Сержпутовским. Приняв меня, Коцебу просил обождать, пока он кончит объяснение с генералом. Потом, пробежав записку, которую я принес, поручил благодарить его светлость испросил, что я делаю при князе? Когда же узнал, что я всё время находился при нём безотлучно и что передвижения и хозяйственные распоряжения по главной квартире были в моем ведении, то предложил мне сесть и рассказать обо всём том, что могло быть полезно для его соображений, предупредив меня, что они, из Кишинева, тронулись большим штабом, какого у князя Меншикова не было и что теперь он озабочен вопросом о размещении и содержании этого штаба. Расспрашивая меня о всех подробностях и узнав о затруднениях, которые я встречал, Коцебу выразил беспокойство и удивление тому, что им, в Кишиневе, не было известно сообщенного мною.

Обстоятельные расспросы и внимание, с которым начальник штаба южной армии выслушивал мои ответы, расположили меня

к откровенности. Время пролетело незаметно, так что я около двух часов пользовался почтенной беседою с генералом Коцебу и заинтересованным Сержпутовским, который, не торопясь уходом, предлагал мне со своей стороны многие вопросы.

Доклад мой о благоприятном результате данного мне поручения видимо успокоил князя, и главнокомандующие разошлись почивать.

В этот день князь Александр Сергеевич удостоился получить собственноручный рескрипт Государя Императора, от 25-го февраля, следующего содержания:

> «Из донесения вашего, от 17-го февраля, полученного вчера вечером с флигель-адъютантом Левашевым, усмотрел Я, любезный князь, что усилившиеся ваши недуги принудили вас сдать командование над Крымскою армиею генерал-адъютанту Сакену.
>
> Сожалея искренно о причине, не могу однако не одобрить вашу решимость, предугадавшую как бы волю незабвенного нашего благодетеля.
>
> Еще раз благодарю вас его именем за всю вашу долговременную и полезную службу.
>
> Надеюсь, что совершенное спокойствие и душевное, и физическое укрепит снова службою расстроенное ваше здоровье.
>
> Обнимаю вас от души, вас искренно любящий
> *Александр.*
>
> Насчет места вашего пребывания, предоставляю совершенно на вашу волю».

Кончилась тяжкая роль князя Александра Сергеевича Меншикова: он сошел со сцены кровавого театра войны; военное поприще закрылось для него и князь, чувствуя, что сделал всё от него зависевшее, был спокоен совестью.

Надобно полагать, что отбытие князя Меншикова ободрило союзников: они боялись и ценили его дороже, нежели мы. «Нигде нет пророку меньше чести, как в отечестве своем и в доме своем» (Матфея, гл. XIII), сказал Спаситель и в этих словах истина непреложная. Союзники отзывались о главнокомандующем, что для них самая опасная голова в России — голова князя Меншикова: они страшились его способностей; не смотрели на мундир, им носимый, но дорожили даже и пуговицей с этого мундира[26]! А у нас армия не могла простить князю его флотского мундира, а флот косился на его сухопутный мундир. В таком положении, да еще до назначения своего

главнокомандующим по армии и по флоту, нелегко было князю идти навстречу громадной союзной армии, противопоставляя ей обрывки войск; нелегко было предоставить и Севастополь защите моряков, не расположенных к главному военачальнику. Ожидать назначения, повелений, приказаний князь, по совести, не мог, и, не страшась нареканий, принял на себя всю тяжесть ответственности. Он вымаливал себе войск отовсюду; разыскивал, откуда бы добыть пороху, снарядов, продовольствия; боролся с интригами до последней степени. Оставил Севастополь, но неприятелю его не отдал. Еще ли не наступило время выставить этого деятеля в истинном свете, хотя бы во избежание упреков нам, его современникам, от наших правнуков.

Опустели Алешки: ранним утром 6-го марта, главнокомандующие распростились: один, новый, по грязной, едва проезжаемой дороге, выехал из ворот налево; другой — бывший, спустился на чистые воды Днепра и, переправясь чрез реку, вышел на берег, как из купели, в которой омылся от тяготевшего на нём бремени забот, тревог и попечений!

После обеда в Херсоне, князь сказал мне:

— Пойдем, братец, пошляться по городу.

Состояние духа князя Меншикова тогда напоминало то, в котором находится студент, сдавший окончательный экзамен: после неустанных занятий, властелин своего времени, не веря наступившему отдыху, он не спешит домой, но, без цели фланируя по улицам, обращает внимание на самые ничтожные безделицы, находя в них и забаву и развлечение.

Пошли мы по городу; день был ясный и теплый. До сей поры мне еще ни разу не случалось прогуливаться с князем без цели. Переходя из улицы в улицу, подошли к памятнику Потемкина[27]. Александр Сергеевич, приостановясь, рассматривал его несколько минут, потом, как бы про себя, произнес в задумчивости:

— Потемкину… памятник!

Потом предложил мне пройти в лавки, для покупки черного сургучу.

Войдя в первую попавшуюся лавку канцелярских принадлежностей, он обратил внимание на огромные жестяные песочницы, низенькие, шириною в поперечнике более трех вершков и чистенько окрашенные синею краскою. Они так ему понравились, что он скупил их все, находившиеся в лавке, до полудюжины, и заметил при этом:

— Первый раз вижу такие практичные песочницы! Тут песку мимо не просыплешь; а главное — просто!

На другой день мы выехали из Херсона и, проехав 62 версты, 7-го марта [28], к обеду, прибыли в Николаев.

Настали теплые, весенние дни, которые, в соединении с совершенным спокойствием, которым князь пользовался в Николаеве, благотворно подействовали на его здоровье. Первый его выход с квартиры был к адмиралу Морицу Борисовичу Берху, тогдашнему главному командиру Черноморского флота, бывшему, по преклонности лет, так сказать, лишь номинальным командиром. Вся работа по управлению флотом была возложена прежде на способнейшего начальника штаба Черноморского флота В. А. Корнилова; потом же, в Николаеве, вся деятельность была в руках адмирала Николая Федоровича Метлина, обер-интенданта Черноморского флота и портов. Мориц Борисович Берх был расположен вверяться способностям Корнилова и потому, в назначении его в главные командиры, после смерти Михаила Петровича Лазарева, легко было усмотреть мысль — доставить Корнилову обширнейший круг деятельности по Черноморскому флоту, в духе чтимого моряками покойного Михаила Петровича. Таким образом, князь Меншиков, как начальник главного морского штаба, не замедлил обратить внимание на способности Корнилова.

Вскоре по приезде в Николаев, кн. Меншиков получил следующий Высочайший рескрипт, от 3-го марта:

> «Князь Александр Сергеевич! Во всё продолжение долговременного управления вашего морскою частью, неусыпными вашими трудами вы постоянно заслуживали одобрение и благодарность в Бозе почившего государя императора и Мне вполне известно, как он высоко ценил вас. Ныне, при увольнении вас, согласно желанию вашему, по расстроенному здоровью, от многотрудных лежавших на вас обязанностей, Я вспоминаю с благодарностью, сколь часто незабвенный родитель мой бывал радостен при виде своего флота и признателен вам, как главному своему помощнику при трудах на пользу флота. Выражая вам мою искреннюю признательность за постоянные старания ваши облегчать труды и в точности исполнять предначертания в Бозе почившего государя императора, Я желаю душевно, чтобы необходимый отдых поправил здоровье ваше и чтобы своими познаниями и опытностью вы приносили отечеству ту пользу, которую оно вправе ожидать от сановника, бывшего в продолжение четверти века в главе одного из важнейших управлений и снискавшего доверие блаженной памяти императора Николая.
>
> Пребываю к вам навсегда благосклонным —

Александр».

XXII

В это время в Николаеве строилась в защиту от неприятеля оборонительная стена, между Бугом и Ингулом. Князь, лишь только оправился силами, стал посещать постройку, не оставляя строителей своими советами. Осматривал адмиралтейские работы всегда в сопровождении Метлина, заботившегося о снабжении всем необходимым для обороны Севастополя. Принимал и знакомился с начальниками частей войск, проходивших чрез Николаев, и снабжал их наставлениями. Навещал и учебные заведения.

Тихо и однообразно князь проводил время в Николаеве: изредка бывал у Берха, или у коменданта Павла Карловича Мердера; верхом выезжал не часто; по вечерам рассказывал мне эпизоды из минувших войн, в которых участвовал.

Наступила шестая неделя Великого поста (Пасха была ранняя: 27-го марта) и князь, намереваясь говеть, пригласил исполнить с ним вместе христианский долг тех из числа близких к нему лиц, которые случились тогда при нём в Николаеве. Вообще Александр Сергеевич говел аккуратно каждый год; последнее же время жизни, чувствуя ослабление физических сил, говел в год и по два раза. Духовником его, в течение около тридцати лет, в Петербурге был всё один и тот же отец Александр, протоиерей церкви при арестантских ротах морского ведомства, что в Новой Голландии. В Севастополе же и в Николаеве священники были из флотских экипажей: они так же, как это делалось обыкновенно и в Петербурге, служили корабельную *обеднищу*[29] и всенощную у князя на дому. Причащался он всегда за ранней обедней.

Странно, что к числу неосновательных и незаслуженных обвинений, которыми недоброжелатели князя Меншикова пытались его очернить, присоединилось нарекание, будто он не почитает церковных обрядов. Это совершенно несправедливо: князь, чуждый ханжества, был религиозен, как следует быть человеку образованному, и хорошо знал все догматы православия. Для своей библиотеки он собрал громадный отдел духовных сочинений и был знаком с содержанием этих книг. Беседы его с санкт-петербургским митрополитом, высокопреосвященнейшим Никанором, были необыкновенно интересны и поучительны. Я не раз имел счастье присутствовать при них, когда митрополит обедывал у князя. Не менее удивительно, что и в высших слоях общества очень мало была знакома нравственная сторона князя Александра Сергеевича; что

и там его почитали безбожником. Однажды был такого рода случай. Лет через пять после крымской кампании, мне пришлось быть на крестинах, где восприемником был гр. П-ский, обряд же совершал вышеупомянутый отец Александр. В разговоре с крестным отцом, он сказал, что вот уже около 30-ти лет как он духовник князя Меншикова.

— Как? — воскликнул гр. П., — у князя Меншикова есть духовник? Первый раз слышу! Да разве он в Бога верует?

Священник так и остолбенел от этих слов.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — воскликнул он, — отчего же вы так полагаете, что князь в Бога не верует? Он, правда, шутит иногда над нашим братом, попом, только уж над таким, который того и заслуживает; но самой религии князь никогда не касается. Да вот, я, — продолжал отец Александр, — в 30 лет только раз и слышал от него шутку, да и то было давно, в первые годы как он избрал меня в свои духовники. Вынес он тогда показать мне огромный походный крест прадеда своего Александра Даниловича: крест этот водружали в землю подле ставки сподвижника Петра Великого; крест железный и очень тяжелый, так что князь Александр Сергеевич едва мог удержать его в обеих руках. Я, рассматривая, дивился его исторической редкости, а его светлость и скажи:

— Не правда ли, батюшка, этим крестом можно *благословить*!

— Вот только один раз, во все тридцать лет, я и слышал от него вольное слово, — заключил священник, — и не знаю, право не знаю, почему сложилось о князе такое дурное мнение? Говеет он каждый год; в храм ходит; только не любит, чтобы на него обращали внимание и для этого всегда становится сзади всех, у стеночки, по левую сторону входа.

Радуясь, что отец Александр так горячо вступился за князя, и я, в свою очередь, подтвердил сказанное священником и добавил к тому, что набожность князя проявляется еще и в том, что, проезжая мимо церквей, он никогда не забудет перекреститься.

Вечером 26-го марта, в страстную субботу, я был один с князем и помню, как он мне подробно объяснял Бородинское дело, набрасывая моменты битвы и расположение войск на лоскутке бумаги. При его словах, что люнет, который, по ошибке, был поставлен тылом к неприятелю, ныне вошел в ограду церкви на поле Бородинском и что о бесполезности его сооружения он и до сих пор может свидетельствовать своим очертанием, — в комнату вошел курьер из Петербурга. Я встал и отошел от стола. Князь вскрыл депеши, с волнением прочитал рескрипт Государя; потом подозвал меня к столу, и, положив бумагу перед моими

глазами, сказал:

— Прочитай этот милостивый рескрипт Государя.

> «С.-Петербург, 18-го (30-го) марта 1855 г.
>
> Благодарю вас искренно, любезный князь, за все чувства, которые вы Мне выразили в письме вашем от 28-го февраля; в них Я никогда не сомневался. Общую горесть России и мою должны в особенности разделять ближайшие сотрудники незабвенного отца моего, удостоенные его доверием и дружбою.
>
> Душевно сожалею, что ваша болезнь не дозволяет вам еще прибыть сюда; желаю, чтобы курс лечения в Николаеве и Одессе ускорил выздоровление ваше. По восстановлении ваших сил, Мне приятно будет вас видеть здесь и пользоваться вашею опытностью в круге подлежащих вам действий.
>
> Остаюсь навсегда к вам доброжелательным (подписано)
>
> *Александр».*

— В Одессу я уже не поеду, — сказал князь, пряча рескрипт в старинный, темно-красного сафьяна портфель. Вели осмотреть дормез. Думаю, что на Фоминой неделе буду в силах пуститься в дорогу; мне теперь как-то лучше. Поедем в Петербург!

Заметно было, что милостивое желание Государя видеть князя в столице и пользоваться его опытностью благодетельно на него подействовало: он повеселел, оживился и день ото дня укреплялся в силах. Уже со второго дня Пасхи я заставал его за сборами к отъезду: в кабинете он понемногу сортировал бумаги, прочие предметы и начал укладываться. Сборы были непродолжительны. Покуда исправляли дормез, я успел отправить вперед транспорт с вещами и с частью любимых верховых лошадей князя. 15-го апреля мы уже оставили Николаев: князь сел один в дормез, а я в тарантасе поехал сзади его. Покойный экипаж дал возможность князю ехать день и ночь, так что до Харькова он нигде не ночевал и вообще спешил прибытием своим в Петербург.

Еще не доезжая Харькова, князь обратил внимание на большое сборище народа, на некоторых станциях встречавшего и окружавшего его экипаж; ежели князь выглядывал из окна или выходил из дормеза, народ приветствовал его радостными кликами. Не понимая тому причины, князь поручил мне осведомиться о поводе к подобным сборищам. Я спрашивал у станционных смотрителей, которые все отозвались, что народ этот пришел издалека и уже несколько дней ожидает проезда

князя Меншикова. Как тогда, так и до сих пор, для нас было и осталось необъяснимым, каким образом народ мог проведать о проезде князя. Курьер Шаров, ехавший от нас за одну станцию вперед, никак не мог быть причиною стечения народа из окрестностей большой дороги… Так как подобные сборища и приветствия возобновлялись последовательно на станциях, то князь приказывал экипажу въезжать во двор станционных домов и здесь перепрягать лошадей, спуская в это время шторы у окон дормеза. Он сказал мне, что ему весьма неприятны подобные овации, которые могут быть приняты за демонстрацию с его стороны. Опасаясь, что и в Харькове его может ожидать подобная же встреча, он в этом городе до тех пор не вышел из экипажа, покуда не затворили ворот дома гостиницы, в которой мы остановились. И выезжая из Харькова, князь велел тоже затворить ворота двора, пока не запрягли лошадей и он не уселся в дормез. Кроме того, от Харькова он вперед себя курьера уже не послал, а поручил мне рассчитываться с станционными смотрителями.

Помню еще одно обстоятельство в дороге. В прекрасную, тихую ночь, когда мы еще приближались к границе Харьковской губернии, князь пересел ко мне в тарантас, а Разуваева, с которым я ехал, посадил в дормез. Степь миновалась и вдруг князь завидел первую березу… Я еще не успел ее порядком разглядеть, как он радостно воскликнул:

— Береза!.. береза!! Слава Тебе Господи, — он перекрестился. Вот мы и в России!

После этого князь повеселел, шутил и рассказывал мне о той тоске, которую каждый русский чувствует в странах, где нет березы, ржаного хлеба, снега и морозов. Сердечный порыв князя Александра Сергеевича, в его годы и при его серьезном настроении, поразил меня неожиданностью и так радостно отозвался в моем сердце, что я, отложив в сторону мою обыкновенную и, признаюсь, невольную сдержанность в разговорах с князем, весело разговорился с ним, так что и ночь промелькнула незаметно.

XXIII

Мы прибыли наконец в Москву, часу в шестом вечера, и прямо к дому князя Александра Сергеевича, на Якиманке. В Москве князь пользовался особенною популярностью: москвичи его любили и считали своим.

Когда мы въехали во двор, князь приказал затворить ворота и тогда мы вышли из экипажей. Из всех дверей надворных строений высыпала прислуга, видимо обрадованная приездом барина, чего, быть может, уже и не чаяла. Князь, обойдя все комнаты, тотчас же отправился к дочери своей, Александре Александровне Вадковской, дом которой находился стена о стену с домом князя. На другой день, опять уходя к ней, князь взял и меня с собою. Как сама хозяйка, так и милые её дети (сын и четыре дочери) ласковым своим обращением расположили меня к себе сердечно. Когда ввели внука князя, малютку Колю, то в чертах его детского личика и в некоторых телодвижениях и манерах я заметил сходство с дедушкой.

— Ты находишь? — отозвался князь, когда я сказал ему об этом, — а я так еще и не разглядел его… такой крошка!

Когда, к обеду, мы возвратились в дом Вадковских, князь посадил внука к себе на колени и, пристально всмотревшись в его личико, погладил по головке и обласкав отпустил. С этой минуты в князе зародилась мысль, чтобы сына дочери своей, Николая Вадковского, приготовить к наследию и к продолжению фамилии Меншиковых, так как у сына Александра Сергеевича, князя Владимира Александровича, детей в живых не было.

За обедом г-жа Вадковская рассказала нам забавный анекдот, случившийся у неё в доме еще в бытность князя в Севастополе. Прежде всего, должно заметить, что у нас тогда отличался особенным удальством на вылазках, прославленный по всей России, матрос — Петр Кошка. Рассказы о его лихих и часто потешных подвигах как-то особенно нравились посетителям бастионов, приезжавшим в Севастополь из Петербурга; они, запоминая эти рассказы и передавая их с вариациями на все лады, так расславили Кошку, что забавное его имя сделалось популярным в обеих столицах. Оно переходило из уст в уста и дошло, наконец, до того, что Кошка, при затишьи толков о военных действиях по недостатку новостей, делался предметом всеобщих разговоров. «Ну, что Кошка? — спешили спросить приезжих из Севастополя — расскажите нам про Кошку!» А вдруг и сам Кошка явился в Москве. Раненый в грудь и в руку, с окровавленными повязками, притащился он в дом дочери князя

Меншикова — передать ей поклон от доблестного родителя.

Легко себе вообразить какая поднялась суматоха, какая была радость в Доме Александры Александровны! Посланный от отца, да еще и кто: герой из героев — Кошка! О внимании, о заботах, оказываемых ему, и говорить нечего: Кошке в глаза глядят, не знают где усадить; в нём позабыт матрос, это гость, дорогой, почетный. Созывают друзей: в честь Кошки обед; пир горой. Кошка не может резать кушанье: дамы наперерыв спешат услужить увечному воину; за Кошкой речь: врет напропалую; проверять некому — и его слушают, ему удивляются. Из всех гостей, только один как-то хмуро посматривает на Кошку; его не забавляют россказни матроса и он, как офицер, не слишком-то доволен излишней развязностью нижнего чина.

Обед кончился; Кошка отяжелел; ему потребны отдых, перемена повязки. Посылают за доктором, раненого отводят в прекрасную комнату, где для него приготовлена отличная постель. Кошка отдыхает и в доме всё затихло: разговаривают вполголоса, ходят на цыпочках; чуть скрипнет или стукнет дверь — все шикают неосторожным: «не разбудите Кошку!»

Между тем, хмурый офицер, в ожидании доктора, пробрался к окну той комнаты, в которой отдыхал Кошка, и, заглянув чрез неплотно задернутые занавеси, увидал, что увечный герой, сняв свои окровавленные повязки, так-то ловко укладывает по карманам, из щегольской обстановки комнаты, всё, что ни попадает под руку. Ай, Кошка: поистине, блудлив как кошка, только не труслив, как заяц!

Чтобы никого не тревожить в доме, офицер тихонько послал за полицией и, без шуму связав Кошку-самозванца, отправил его на расправу к обер-полицмейстеру.

В короткое время пребывания своего в Москве, князь едва успел посетить почтенных лиц, своих сверстников, проживавших тогда в Белокаменной. В числе их был и младший брат князя, отставной полковник лейб-гвардии гусарского полка Николай Сергеевич.

Кроме брата, князь Александр Сергеевич познакомил меня еще с своею племянницею, княжною Екатериною Андреевною Гагариной. Своим живым, веселым характером и любезностью княжна умела занимать и развлекать князя, всегда находившего удовольствие в её обществе.

В Москве, первый выезд Александра Сергеевича был к Алексею Петровичу Ермолову. По возвращении от него, князь сказал мне, что Ермолов нездоров; а на другой день, посылая меня к нему осведомиться о здоровье героя Кавказа, заметил:

— Вот тебе случай увидеть этого замечательного человека!

Алексей Петрович принял меня в кабинете, где он, сидя за письменным столом, беседовал с каким-то купцом, одетым в сибирку и сидевшим напротив хозяина. При входе моем, Ермолов приподнялся и я во всём её величии увидел колоссальную, но уже одряхлевшую фигуру героя-полководца, в нанковой, серого цвета партикулярной одежде: короткий сюртук и крупными складками осевшие брюки не шли к могучим формам Алексея Петровича; с представлением о нём в моем воображении был неразлучен артиллерийский сюртук. Выражение лица маститого старца было доброе, приветливое; продолжительная, мирная жизнь, вероятно, смягчила тот суровый, грозный взгляд, который мы привыкли видеть на его портретах… Но это был всё тот же лев, хотя и состарившийся!

— Поблагодари князя, — сказал мне Алексей Петрович. — мне сегодня лучше; а вчера я не успел с ним поговорить. Подойди поближе и расскажи, что и как вы там воевали… Начинай с начала и иди по порядку.

Я приблизился и Ермолов, поставив меня, как ребенка, почти между колен, устремил на меня приветливый взор. Не ожидая экзамена Ермолова, при виде этой большой седой головы, покрытой массою курчавых, всклокоченных волос, я оторопел. Но Ермолов заговорил так ласково, что я постепенно ободрился и начал обстоятельно излагать свой рассказ; мельчайшие подробности тогда еще живо сохранялись в моей памяти. Разложив карту Крыма, Алексей Петрович следил по ней за моими рассказами и внимательно меня слушал. Часа два длились они, почти без перерыва.

1-го мая 1855 года, по выходе из вагона в Петербурге, князь был встречен на станции чинами морского ведомства; в тот же день его посетили Великие Князья. На другой день, по возвращении из дворца, Александр Сергеевич послал за мною.

— Государь дозволил мне провести лето в деревне, — сказал он, — мы поедем в Ивановское. Дня через три я соберусь.

Ивановское — подмосковная усадьба князя, находилось в 25-ти верстах от станции Подсолнечной.

Сюда, по приглашению Александра Сергеевича, прибыли погостить: княжна Екатерина Андреевна Гагарина и Александра Александровна Вадковская с детьми. Желая доставить все возможные развлечения племяннице, дочери и внучатам, князь приказал сформировать верховых лошадей для взрослых, выписать осликов для детей. В кругу семьи, князь повеселел и видимо поправился здоровьем; ежедневно гулял, катался с детьми. Раз привели из Крыма лошаков и все пошли на них посмотреть. Дети обступили еще невиданных ими животных и

тогда один лошак как-то лягнул в ногу старшую внучку князя. Не могу никогда забыть того испуга, который мгновенно выразился на лице дедушки: он побледнел, руки его затряслись и, не будучи в состоянии говорить, он заикался. Хотя девочка и поспешила успокоить князя, но он до тех пор не мог опомниться, покуда гувернантка не увела ушибленную питомицу и не подала ей почти ненужной помощи. Это движение сердца Александра Сергеевича может свидетельствовать против обвинений в его сухости и черствости.

Соседства у князя почти никакого не было. В ближайшем имении, «Дмитровке» графа Виктора Никитича Панина, никто не жил: в десяти верстах проживала престарелая княжна Долгорукова, по странной прихоти еще смолоду отвергнувшая женский костюм и постоянно одевавшаяся в мужской. Её примеру последовала другая соседка, Надежда Павловна Н-ая, преобразившая себя в совершенную амазонку: гарцевала на коне, охотилась с ружьем, пела с аккомпанементом гитары песни.

Образ жизни князя в Ивановском отличался простотою и регулярностью. Вставал Александр Сергеевич рано, выходил побродить в сад; потом уходил в свой кабинет и занимался до самого завтрака. Когда всё наше общество собиралось, он спускался в столовую, и хотя сам не завтракал, но любил смотреть на семейную трапезу, принимая отчеты и проверяя распоряжения своего управителя Андерсона, финна, в ужасном рыжем парике, — человека весьма исполнительного. До обеда, князь, сопровождаемый мною, катался верхом. За обедом любил, чтобы блюда, подаваемые присутствующим, были им по вкусу; в особенности заботился о детях. После обеда для всего нашего кружка придумывались прогулки, устраивались кавалькады, parties de plaisir. По возвращении пили чай; князь же уходил к себе в кабинет и занимался до ночи. Летом 1855 года, Александр Сергеевич почти исключительно был занят ведением записок о своей минувшей военной деятельности; так, по крайней мере, я мог заключить из тех вопросов, которые он мне делал тогда, если я случайно входил в его кабинет. Ответы мои он тотчас же вписывал в оставленные пробелы на исписанных им листах бумаги, особенного формата и цвета; кроме того, на памятном листке у него было записано многое, необходимое для справок и опросов у меня. Впоследствии, когда кто-нибудь спрашивал князя: нет ли у него собственных записок о Крымской кампании? он отвечал, что записок не вел.

Прошло лето; князь, переехав на несколько дней в Москву, отсюда выехал в Петербург. Война еще не кончилась: ожидали покушения союзников на Кронштадт. Князь Александр Сергеевич

получил назначение быть кронштадтским военным генерал-губернатором и командующим военно-сухопутными и морскими силами в этом городе на правах главнокомандующего. 11-го января 1856 года князь вступил в новую свою должность. К нему были назначены: начальником штаба — генерал-адъютант вице-адмирал граф Евфим Васильевич Путятин; дежурным штаб-офицером — полковник Нестеровский; адъютантами, кроме меня, вновь назначены: Чевкин, Мейендорф, Акулов, князь Ухтомский и Пономарев; директором канцелярии — опять А. Д. Крылов.

Для заграждений фарватера, на известном расстоянии от Котлина вбивали целый лес свай; на льду было наставлено бесчисленное множество копров; сваи спускались в небольшую прорубь во льду и забивали их, насколько было надобно, чтобы скрыть их под водой. Работа шла успешно; сотрудники князя, адмиралы, по всем отделам усердствовали от души. Кроме того, в воде строилось несколько земляных батарей на бутовых фундаментах; работы была пропасть, но ко вскрытию залива всё было окончено.

Между тем, война прекратилась; мир был заключен и 6-го апреля 1856 года последовал высочайший приказ об увольнении князя Меншикова от должности кронштадтского военного генерал-губернатора и командующего военно-сухопутными и морскими силами в Кронштадте, с оставлением генерал-адъютантом и членом государственного совета. Адъютантов всех отчислили; только я один, на основании высочайшего повеления, 1855 года 23-го марта состоявшегося, по ходатайству Его Высочества Генерал-Адмирала, — был оставлен при князе, в виде исключения.

XXIV

Мирно потекла жизнь князя и осталась без официальных изменений до самой его кончины. Он вошел в колею обыденной жизни так же легко, как будто из неё никогда и не выходил. В Петербурге он жил в бывшем доме грузинского царевича, купленном в казну и подаренном князю.

Сначала он занимался приведением в известность своих дел по собственным имениям, которыми, как видно, будучи отвлечен службою, он не занимался. Потом, стал приводить в порядок бумаги, накопившиеся у него по разным отраслям переписки, со времени отъезда его в Константинополь в качестве чрезвычайного посла; это заняло у него немало времени. Кроме того, он давал письменные отзывы и ответы на встречавшиеся вопросы о Крымской кампании. Словом, князь сложа руки не сидел: всегда был занят, всегда всё делал аккуратно и большею частью сам. Сколько раз случалось мне заставать его с иголкой, или с шилом в руках: прокалывая в тетрадях скважины, он сшивал их тонким шнурком. На письменном столе у него находилось всё под рукой, так что не было надобности вставать с места.

Письменный стол был у князя необыкновенный. Можно сказать — целая платформа, фланг которой, со стороны входов в кабинет, был прикрыт еще двумя громадными столами в две линии с высившимися на нём этажерками и столиками, над которыми был поставлен бюстик Суворова. Другой, противоположный край стола прикрыт был конторкой, шкафчиками, этажерками с разными секретными помещениями и над этими сооружениями высилась модель монумента Петра I-го, завещанная князю императором Николаем Павловичем и пожалованная в знак особенной милости Государя к Александру Сергеевичу.

Самый кабинет был замечателен громадными своими размерами. Это был зал пространством 72 квадратные сажени в площади, в два сквозные света, при 16-ти окнах, из которых 8 нижних были огромные, с тройными рамами для зимнего времени. Отапливался кабинет двумя круглыми, низенькими печами, помещенными посредине комнаты; топка печей производилась в подвальном этаже.

Кроме обыкновенных дверных створок, вход в кабинет загораживался еще железными ставнями, разобщавшими его с прочими комнатами, на случай пожара. Ставни эти были сделаны по повелению государя после бывшего в доме пожара. Так как кабинет помещался в здании, которое поперек двора соединяло

два фаса домовых построек, то в нём находилось два выхода, с обеих сторон жилья, и приходилось так, что один вход из аванзалы был как раз против другого, из библиотеки. По стене между входами было 4 окна; два средние отделялись от двух крайних стеклянными ширмами, между которыми, под окнами, стоял диван, перед ним стол, а у ширм по стулу. За этим столом князь, по утрам, пил кофе и запросто обедывал в кругу своих. Под дальним окном, к стороне библиотеки, стояла высокая, с плоским верхом, конторка, на которой всегда лежали карты тех стран, где когда-либо происходили войны. По этим картам князь внимательно следил за передвижениями войск, отмечая их части булавками с разноцветными головками. Таким образом он был всегда в курсе войн на всех пунктах земного шара.

По стенам, от обоих входов в кабинет, тянулись шкафы, с помещениями в два яруса, наполненные отделом справочных книг, важнейшими и подручными бумагами, атласами, картами и другими научными пособиями; кроме того, на шкафах же открыто стояли книги военного содержания и лексиконы.

В библиотеке, рядом с кабинетом, помещались шкафы, во всю высоту комнаты. Число её книг простиралось до 30 000 томов, большею частью избранных сочинений. Она была окончательно разобрана и приведена в порядок в 1851 году, стараниями состоявшего тогда при князе чиновником особых поручений, капитана 1-го ранга Бориса Давидовича Нордмана. Каталог для библиотеки был им придуман самый удобный: на раздвижных прутьях, по примеру распределения справочных листков в адресных столах. На эти прутья нанизывались карточки с означением заглавного листа каждой книги. По алфавиту весьма легко было отыскать желаемое сочинение; масса прочих карточек опрокидывалась на другую половину дуги, а нужная из них вынималась из раздвинутых прутьев. На каждой карточке, особыми знаками, помечены были нумера шкафов и полок.

Однажды, князь, показывая мне свою библиотеку, сказал, что здесь еще не все его книги, что множество их находится в других помещениях; что большая часть книг юридического и статистического отделов, за неимением места, еще заключается в ящиках; что в кабинетах — по деревням и в московском доме — наберется еще порядочная библиотека.

Любознательность развивалась в князе с самых юных лет. Он прекрасно знал немецкий и, разумеется, французский языки; читал английские, латинские и итальянские сочинения; в ранней молодости пешком обошел, как я слышал, главнейшие университеты Германии; имел глубокие познания во многих науках, хорошо был знаком с медициной. Он сам показывал мне

полученный им за границею диплом на ветеринара, а от князя Александра Аркадиевича Суворова я слышал однажды, что, кроме того, князь Меншиков имеет степень ученого кузнеца. Путешествуя по Германии, Александр Сергеевич уже начал собирать редкие сочинения по всем отраслям наук, продолжал это неустанно всю свою жизнь и составил себе громадную, замечательную библиотеку. Люди, ему незнакомые, но сочувствовавшие благородной страсти князя, доставляли ему редкие книги в виде приношения. Узнав об адресе подносителя, князь обыкновенно отдаривал его тем же, дубликатами редких книг своей библиотеки.

Князь питал к книгам особенную страсть. Большая часть его выездов со двора имела целью отыскивание каких нибудь особенно интересовавших его сочинений. С книгами он обходился и бережно и почтительно. До тех пор не ставил новую книгу в шкаф, покуда не ознакомится с её содержанием. Щеголеватых переплетов не любил, предпочитая всем прочим английский способ переплета, при котором книга, легко открываясь, как бы распадается и листы не перекидываются на открытой странице. Обладая необыкновенною памятью и легко сохраняя в ней всё им читанное, князь умещал в своей памяти как бы конспект содержания всех книг своей библиотеки.

Мне часто случалось бивать свидетелем поразительных примеров этой способности Александра Сергеевича. Заинтересованный в разговорах каким нибудь предметом, князь, ссылаясь на относившееся к нему сочинение, доставал книгу и в ней легко находил желаемое место, заранее предупреждая о главном смысле текста. Кроме того, он обладал особенным даром — скоро пробегать книгу и делать верную оценку труду автора.

Ревнуя о своей библиотеке, князь, вместе с тем, любил снабжать книгами тех, которые особенно интересовались каким нибудь отделом и, кроме того, любил приохочивать молодых людей к чтению, всегда с похвалою отзываясь о читающих много. Общество людей начитанных ему особенно нравилось и в беседах с ними он одушевлялся. Указывая на сочинение, незнакомое собеседникам, Александр Сергеевич тотчас же доставал книгу из библиотеки, рекомендовал для прочтения и определял направление, искомое читателем. Этого он никогда не упускал из виду, подготовляя множество книг для его выбора при следующем посещении; часто, даже, не ожидая свидания, князь посылал книги желавшему их прочитать. Он всегда радовался, если книгами его пользовались; узнав противное, не унывал и выбором новых сочинений пытался подстрекнуть любознательность. Библиотекою князя пользовались лица,

занимавшиеся военными науками. Последнее время я особенно часто встречал у князя покойного Петра Семеновича Лебедева и еще того чаще Михаила Ивановича Драгомирова. Последний был с хорошей стороны известен князю еще бывши очень молодым человеком, своим сочинением «о высадках в древние и новейшие времена». Узнав, кто автор, Александр Сергеевич не замедлил пригласить его к себе и М. И. Драгомиров бывал у князя еще до поступления своего в генеральный штаб. Невзирая на юные года нового своего знакомого, князь беседовал с ним с удовольствием, оказывая молодому человеку, тогда только что кончившему курс военной академии, редкую внимательность.

Снабжая книгами своей библиотеки лиц, имевших в них надобность, князь всегда интересовался знать о впечатлении читателей. Возвращением книг не торопил, однако же в этом деле любил аккуратность и всегда записывал кому какая книга выдана. В случае продолжительного пребывания книги в чужих руках, в особенности имея в ней необходимую надобность, напоминал о том читателю всегда самым деликатным образом.

При громадном запасе знаний, при обширной своей начитанности, князь не только не выдавал чужих мыслей за свой авторитет, но предполагавших это всегда спешил выводить из заблуждения, ссылаясь на автора, даже приводя из него цитаты. Уважая труды мыслителей былых времен, Александр Сергеевич старался указывать на то, сколь много полезного можно почерпнуть из сочинений почти забытых.

Ценя по достоинству свою библиотеку, князь заботился о полезнейшем её употреблении и постоянно сокрушался об ожидающей ее участи, после его смерти.

— Сын мой не разделяет моей страсти к книгам, — часто говаривал князь, — кому достанется моя библиотека? Ее растащат, разрознят; нахлынут рыночники, букинисты, станут покупать мои книги на вес… Обидно, обидно! И не придумаю, как ее устроить!

Не раз приходило ему на мысль завещать библиотеку военной академии или генеральному штабу; но при этом он затруднялся сомнением о вековечности этих учреждений, или боязнью, что многие отделы библиотеки, не любопытные для военных специалистов, останутся без употребления. Мысль разрознить библиотеку, завещая её отделы различным правительственным учреждениям, всегда пугала князя. Опасения его о библиотеке или, по крайней мере, заботы о будущности её, прекратились, когда Александр Сергеевич взял к себе на воспитание своего внука, Николая Вадковского, который своими способностями и наклонностями подавал князю самые блестящие

надежды. Но внук этот умер на шестнадцатом году; эта утрата разрушила все намерения Александра Сергеевича: библиотека досталась прямому его наследнику, князю Владимиру Александровичу, которому князь успел однако же завещать, чтобы весь морской отдел библиотеки был отдан бывшему его адъютанту, свиты Е.И.В-ва контр-адмиралу В. А. Стеценко. Последний, по просьбе князя Владимира Александровича, принял на себя труд разборки этого хаоса книг, сваленных где и как ни попало, и отправки библиотеки на Кавказ. Дом князя Александра Сергеевича, потребовал капитальной переделки, и хотя помещение кабинета и библиотека доныне остаются в прежнем виде — тем не менее из этих комнат всё повынесли, а книги перетащили в подвалы, из подвалов на чердаки, с чердаков куда-то еще. При этих переносках тома сочинений разрознились, отделы смешались и вышел сумбур, в котором букинисты не могли добраться толку и отказались от покупки «хлама». Книги валялись грудами, на которых наслаивалась пыль и расстилалась паутина. Наконец, по исправлении дома, князь Владимир Александрович возвратился из-за границы и решился пожертвовать библиотеку кавказским войскам, сосредоточив для этого все книги покойного своего родителя в Петербурге. Их навезли из Москвы, из деревень князя; к ним присоединили библиотеку, доставшуюся после князя Николая Сергеевича, что немало увеличило ценность пожертвования. С великим трудом на разборку книг употребили более трех месяцев. После разборки, книги были запакованы в ящики, и отправлены в Ставрополь и в Тифлис, на иждивение князя Владимира Александровича. Пересылка и постановка на место обошлась, как я слышал, князю В.А. тысяч в 25 да и самая стоимость библиотеки простиралась, по словам покойного Александра Сергеевича, более 100 000 р. сер. До 70-ти больших ящиков насчитывали одни ученые сочинения, кроме отделов морского и литературного, которые отправлены не были[30].

Князь любил видеть у себя за столом общество людей, которые, не стесняясь его присутствием, свободно выражали свои мысли и кушали бы с аппетитом. Ежели кто из гостей встречал блюдо не по вкусу, князь это запоминал и, ожидая это лицо опять к обеду, принимал это в соображение и предупреждал своего повара, накануне заказывая ему обед, чтобы блюда, нелюбимого гостем, за столом не было. Необыкновенная память и внимательность князя даже и в безделицах его не оставляли.

Разговоры за столом заводились, разумеется, сообразно кругу собравшихся гостей; расположение духа хозяина всегда было ровное и приятное. Вслушиваясь в общий говор, князь его

поддерживал, дополняя своими воспоминаниями и суждениями. Ожидая к обеду человека нового, известной специальности, Александр Сергеевич, помимо подбора соответствующих собеседников, для приятного и полезного развлечения гостя, доставал из своей библиотеки самые любопытные и редкие сочинения по части специальности нового гостя. Книги переносились в прилегавший к гостиным комнатам кабинетик и раскладывались на большом столе, для удобства чтения и рассматривания рисунков и чертежей. Скажу о себе: когда я, тогда еще только уланский штаб-ротмистр, был в первый раз приглашен князем к обеду, то совершенно неожиданно встретил у него моего приятеля и товарища по занятиям гиппологиею, Н. С. Мартынова, и еще нескольких охотников до лошадей, с которыми князь меня познакомил. Приведя нас в кабинетик, Александр Сергеевич указал на разложенные на столе, в хронологическом порядке, совершенно мне неизвестные, старинные и новейшие сочинения, на разных языках, о кавалерийском искусстве, начиная с XVI столетия. Тут были почтенные фолианты в пергаментных переплетах, отпечатанные готическими шрифтами, с грубыми рисунками, похожими на наши лубочные картинки. Гости окружили стол, а князь, перелистывая книги по порядку, сообщал мне о их содержании, об идеях автора, и, таким образом, объяснив последовательность развития кавалерийского дела, предложил мне выбрать на прочтение те из книг, которые особенно меня заинтересуют. Впоследствии многие из этих сочинений перебывали у меня в руках и я возвратил их Александру Сергеевичу незадолго до его кончины.

При первом моем посещении дома князя Меншикова, я еще не мог оценить внимания, оказанного его светлостью мне, незначительному специалисту. Мне не могло и прийти на мысль, чтобы груда сочинений по части гиппологии была перенесена из библиотеки в кабинетик единственно для меня, юного кавалериста; я полагал, что эти книги находятся тут постоянно.

В конце анфилады комнат, в доме князя был другой маленький кабинетик в одно окно, снабженный зрительными трубами и другими оптическими снарядами. Из окна, выходившего фонариком на Неву, князь мог наблюдать за движением судов. Тут же, на полках разложены были книги, объяснявшие сигналы, принадлежности флагов, многие морские сочинения и карты.

Из большого кабинета князя в парадные комнаты, окна которых были обращены на Неву, ход был через длинный, узкий зал, освещенный одним итальянским окном и поэтому довольно

темный. При прежнем владельце этого дома, грузинском царевиче, предполагалось устроить в этом зале домовую церковь; но предположение это не состоялось, а у князя этот зал не имел определенного назначения. Меблировку его составляли плетеные стулья и большой раздвижной стол; перед окном стоял огромный бюст князя Александра Даниловича Меншикова; на противоположной стене висел большой, во весь рост, портрет императрицы Екатерины I. В бильярдной был портрет Великого Князя Константина Николаевича в отроческом возрасте, во весь рост, на палубе корабля, с подзорною трубкою в руках.

До поступления в собственность грузинского царевича, дом этот, вместе с соседними, был занят орденом масонской ложи и князь Александр Сергеевич, припоминая однажды масонские обряды при приеме в ложу новых лиц, рассказывал, указывая на замурованную дверь, соединявшую прежде эти оба дома, как тогда молодому офицеру Соломке приказано было великим мастером, для испытания его преданности и повиновения — удариться головою в стену. Решительный Соломка стукнулся — и со всего размаха очутился в соседней комнате: в указанном ему месте была, заклеенная шпалерами, дверь, которую он легко и без вреда для себя открыл. За свое послушание посвящаемый заслужил общее одобрение всех чинов ложи.

Когда князь, высочайшим рескриптом от 19-го февраля 1855 г. был, по расстроенному здоровью, уволен от звания главного начальника морского штаба, то, с тем вместе, должен был очистить и занимаемое им в доме морского ведомства помещение, приспособленное к его образу жизни. Это обстоятельство крайне озабочивало и затрудняло князя, так как в его лета нелегко было вновь устраиваться домом. Его Высочество Великий Князь Генерал-Адмирал, милостиво приняв это во внимание, исходатайствовал у Государя Императора пожалование помянутых двух домов в вечное и потомственное владение князю Меншикову, о чём Александр Сергеевич получил уведомление еще в бытность свою в Николаеве. Сообщая нам об оказанной ему монаршей милости, князь был проникнут к Его Высочеству, за благосклонное ходатайство, чувством глубокой сердечной признательности.

Остроты и анекдоты, приписываемые князю Меншикову, все те, в которых заключается явное оскорбление чьих-либо личностей — ему решительно не принадлежат, по их очевидной пошлости. Авторы их, для придания весу своим шуточкам, относили происхождение собственных выдумок издавна известному своим остроумием Александру Сергеевичу. Мне нередко случалось слышать какую нибудь пущенную в ход

остроту, о поводе к которой князь не успевал еще и узнать. Язвительные шуточки, распространяемые в обществе под фирмою острот князя, были одною из главных причин тому, что он нажил себе так много врагов. Сам он иногда от души смеялся чужим остротам, выданным их авторами за сказанные им, но никогда не говорил ни слова к оправданию себя от незаслуженных нареканий[31]. Во всю бытность мою при нём я не могу указать ни на одну шутку, или остроту, которую он сказал бы за всё это время. Какие же были именно его остроты? Не могу указать, но те, которые не его — я всегда узнаю, по языку, или по направлению. Всего справедливее предположить, что было время когда князь остроумной шуткой или каламбуром выставлял на вид существенный порок, вредивший делу или обществу. Не шуточками, не балагурством, не каламбурами был удостоен князь Александр Сергеевич Меншиков имени «друга» Государя. Покойный Император знал Меншикова лучше всех и понимал его, как полезного и серьезного своего сподвижника: князь, ради авторской славы, никогда не был способен унизить себя измышлением какого нибудь пошлого анекдота, или натянутой остроты. В последние 18 лет жизни князя, мне не удалось подметить в нём той склонности к юмору, которую ему так настойчиво навязывали; время ли уже его прошло — не знаю, только с первого моего с ним знакомства и до конца его жизни не напоминал он мне Меншикова, прославленного за его язвительные остроты и шутки.

Александр Сергеевич многих, конечно, не жаловал, но не имел обыкновения ни над кем издеваться. Между тем ему приписывали остроты на счет некоторых сановников, и тем поселяли разлад между ними и князем. Правда, он иногда шутил над иными сановниками, но шутки эти никогда не роняли их достоинства. Так, однажды, говоря о Сайминском канале, сооруженном его заботами, Александр Сергеевич сказал, что в награду за то он испросил у государя разрешение носить мундир путей сообщения, чтобы тем возбудить ревность в их главноуправляющем, и надевал этот мундир, чтобы подразнить П. А. Клейнмихеля, к которому, однако же, всегда питал уважение, как к человеку преданнейшему государю и исполнительному, усердному служаке. Помню, что, во время болезни графа Петра Андреевича, князь, с большим к нему участием, постоянно справлялся о состоянии его здоровья. Ненависть, будто бы существовавшая между Меншиковым и Клейнмихелем, более нежели сомнительна. Самое благоговение князя к особе государя не могло дозволить Александру Сергеевичу дерзко глумиться над человеком, особенно любимым

покойным императором.

Был, правда, один сановник и уже окончивший земное свое поприще, к которому князь Меншиков питал непримиримую ненависть, неослабное отвращение; чье имя произносил с презрением, ни от кого не скрываемым. Сановник этот был фельдмаршал граф Дибич-Забалканский. Александр Сергеевич никогда не забывал — 29-е мая: день годовщины кончины Дибича, приглашая к себе гостей на обед. В этот день, единожды в год, подавалось шампанское и, по наполнении бокалов, князь произносил:

— Сегодня годовщина дня, в который *издох* Дибич! В память счастливого дня, в который Россия избавилась Дибича, я, раз в год, пью у себя в доме шампанское!

Слово «издох» тем страннее звучало в устах князя, что он, вообще, никогда не употреблял при разговоре резких или бранных слов. Мы, люди к нему близкие, знали его обычай за обедом 29-го мая и к странному тосту в позор усопшего привыкли: но гостей посторонних это всегда поражало. Распространение в обществе ненависти к памяти Забалканского видимо был приятно князю. Никогда не распространяясь о своих отношениях к покойному, князь никогда не объяснял мне, в какой степени Дибич заслуживал подобного отзыва. Судя по официальности выражения злобы к фельдмаршалу, можно предполагать, что причины эти, в свое время, не были даже и тайною[32].

XXV

После Крымской кампании, как известно, довольно часто стали появляться в печати статьи, в которых о деятельности князя Меншикова находились не совсем для него выгодные и, самое главное, далеко не правдивые отзывы; многие из приближенных к нему лиц намеревались печатно защищать Александра Сергеевича. Он, однако же, от этого постоянно их удерживал, и, наконец, раз и навсегда объявил, что, во избежание полемики, предоставляет своим недоброжелателям писать о нём что кому угодно.

— Стоит ли на это обращать внимание? — говорил князь, — на всякое чиханье не наздравствуешься. Для дельной, фактической защиты нужны документы, обнародовать которые еще не пришло время. Придет пора, будут открыты архивы и история свое дело сделает.

В числе первых статей, написанных в тоне враждебном князю, появилась одна, написанная приверженцем Кирьякова. Вскоре по её напечатании. Александр Сергеевич сказал мне, что к нему приходил офицер генерального штаба с извинением, что статья написана им при совершенном неведении подробностей о действиях князя, но под диктовку Кирьякова. Досадуя на свою оплошность, желая ее загладить, автор статьи просил князя сообщить ему необходимые сведения и документы для составления другой статьи, в опровержение первой. Способности, замеченные князем в авторе, расположили к нему Александра Сергеевича, и хотя он никаких документов ему не передал, но, в виду намерения офицера собирать материалы для Восточной войны, предложил ему обратиться с расспросами ко мне, как к очевидцу. Офицер этот, некто Сокович, воспользовался предложением князя и записал некоторые из сообщенных мною сведений, но не знаю, воспользовался ли он ими, так как мне не случалось читать какой-либо статьи с изложением фактов, сообщенных мною.

Кроме упомянутого Соковича, к князю являлись еще многие другие лица с настоятельными просьбами о дозволении воспользоваться находившимися в руках Александра Сергеевича документами, но ни одна из этих просьб не была уважена. Между тем, князь сам приводил все свои материалы в порядок, размещая их в переплеты особого устройства. Эти переплеты состояли из корешков разных форматов, со стальными иглами внутри, на которые накалывались листы, перемещаемые в каком угодно порядке. Так были переплетены князем все его бумаги,

перевезенные им постепенно в Петербург, из Москвы и из его деревень. К концу жизни Александра Сергеевича в его кабинете были сосредоточены все важнейшие документы за всё время его служебной деятельности. Он сохранял эти драгоценные для истории материалы в особом помещении и при таком удобном подборе в хронологическом порядке, что при пользовании документами не могло бы встретиться ни малейшего затруднения. К сожалению, при жизни князь не успел сделать никаких распоряжений относительно этого драгоценного собрания исторических материалов. В день его кончины, кабинет Александра Сергеевича, по общему положению для кабинетов государственных деятелей, был опечатан; затем, особою комиссиею все бумаги, в нём находившиеся, были отобраны. Комиссия, конечно, не имея в виду соблюдать систему порядка, заведенную покойным, невольно нарушила хронологическую связь между документами, так что приведение их в прежний порядок ныне почти немыслимо… Немаловажная утрата для отечественной истории.

В феврале 1860 года, тогдашний военный министр, Николай Онуфриевич Сухозанет, из любезности к князю, препроводил к нему рукопись статьи генерала Ф. К. Затлера, для прочтения и дозволения напечатать ее в «Русском Инвалиде». По прочтении статьи, князь возвратил ее Сухозанету при следующем письме, от 1-го марта 1860 года:

> «Принося мою чувствительную благодарность за препровождение этой статьи для моего предварительного прочтения, я спешу уведомить вас, милостивый государь, что если цензура не встречает препятствий к напечатанию, то и я не вижу затруднений к напечатанию её в «Русском Инвалиде», на том простом основании, что не всё то истина, что печатается.
>
> В статье генерала Затлера заключается предположение его, представленное мне в то время, когда начертанный до его прибытия план действий к доставке провианта к армии приводился уже в исполнение. Об этом он умалчивает. Не совсем также правдивы его показания о херсонском губернаторе, который, от 31-го декабря 1854 года за № 16471, уведомлял меня, что он уже распорядился высылкою требуемых подвод и, для личного наблюдения за этим, сам отправился на место.
>
> Считаю не лишним сказать при этом, что статья генерала Затлера своим решительным тоном может

убедить читателя, незнакомого с событиями того времени, что единственно генералу Затлеру Крымская армия обязана была устройством продовольственной части в конце 1854 и в начале 1855 годов, — между тем, в действительности, это было не так, ибо он пробыл всего в Севастополе не более суток, а на Крымском полуострове лишь несколько дней и в то время, когда при содействии исправлявшего должность новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, управлявшего таврическою палатою государственных имуществ, и генерал-губернатора Хомутова, находившегося в Керчи, а также при участии немецких колонистов, принятые меры к доставлению заготовленного провианта земским подвозом уже приводились в исполнение. Официальные сведения того времени удостоверяют, что армия была уже тогда обеспечена продовольствием на 4 месяца 12 дней, да и в течение всего 1855 года довольствовалась, кажется, провиантом, не генералом Затлером заготовленным.

Вполне сознавая пользу, проистекающую от гласности, я уверен, что статья г. Затлера вызовет ответ от служивших в то время, и, может быть, удивлялся бы его самоуверенному тону и не совсем правдивым показаниям, если бы всё это не объяснялось настоящим положением генерала Затлера[33].

Выразив лично для вашего высокопревосходительства взгляд мой на статью генерала Затлера, которую имею честь при сем возвратить, я пользуюсь сим случаем засвидетельствовать вам, м.г., мое совершенное почтение и преданность.

Князь А. Меншиков».

Между появлявшимися тогда статьями о Крымской войне, еще не было истинно серьезных; во всех них выказывалось лишь стремление сказать что-нибудь про войну. Интерес, с которым общество спешило читать статьи о недавних военных действиях, поощрял писателей, которые, на скорую руку, набрасывали статью за статьей, не заботясь о правдивости их; да, признаться сказать, и некогда им было сверять слухи с действительностью.

Князь Александр Сергеевич не одобрял торопливости в суждениях о недавней войне и потому из круга его приближенных никто не дозволял себе пускаться в печатные повествования о событиях 1854–1855 годов. Писали по большей части лица,

бывшие в Севастополе при князе М. Д. Горчакове, которые, по пристрастию к бывшему их начальнику, все его неудачи сваливали на предшествовавшие распоряжения князя Меншикова. Из числа служивших при нём многие, оставаясь при князе Горчакове на продолжительнейшее время, чем при князе Меншикове, отшатнулись от последнего. Таким образом, число лиц, пристрастных к эпохе защиты Севастополя Горчаковым, значительно увеличилось, а с тем вместе и число голосов, оправдывавших князя Михаила Дмитриевича. Оправдывали его — обвиняя Меншикова, молчание которого придавало только более задору его непризванным судьям.

Поспешность, с которою истолковывали тогда военные действия, дошла до того, что еще и война не была окончена и материалы к её описанию не были разобраны, а уже наш почтенный профессор военной истории Модест Иванович Богданович был вовлечен в чтение публичных лекций об экспедиции англо-французов. Эти лекции имели целью официальное ознакомление военных чинов с ходом кампании: главнокомандующий гвардейскими и гренадерскими корпусами генерал-адъютант Ридигер пригласил к слушанию этих лекций всех генералов, штаб и обер-офицеров. Чтения должны были происходить по субботам и первое из них было 3-го декабря 1855 года. Аудитория до того была переполнена слушателями, что для младших чинов не доставало мест. Мне удалось, однако, попасть на это чтение. Внимательно вслушиваясь в рассказы почтенного лектора, я, как очевидец излагаемых им событий, мог бы возразить ему; я считал это даже до некоторой степени моею обязанностью… и едва удержался в виду авторитета чтеца и высокого положения его слушателей. Впрочем, чтения ограничились лишь одним сеансом.

По окончании войны, когда Э. И. Тотлебен, уже в генеральском чине, возвратился из Крыма и посетил князя, Александр Сергеевич сказал мне о том удовольствии, с которым он увиделся с Тотлебеном и сообщил мне его адрес. Я поспешил к Эдуарду Ивановичу; он принял меня как товарища. Не желая отвлекать его от сборов за границу, куда он отъезжал для поправления здоровья, я распростился с ним — и с того времени мы более не видались. Из чужих краев он возвратился через два года, обремененный лаврами, которыми его увенчали иноземцы, наши недавние враги-друзья и давние друзья-враги. Князь Александр Сергеевич особенно радовался успехам Тотлебена в мнении европейских инженеров и с любопытством читал всё о нём печатаемое в иностранных газетах.

Вскоре по возвращении Эдуарда Ивановича из-за границы,

князь узнал, что Тотлебен предпринял труд исторического описания обороны Севастополя. Вполне уверенный в добросовестности автора, князь надеялся увидеть на страницах «Описания» Тотлебена ряд истинных данных для справедливой оценки публикою его деятельности. Он не мог допустить мысли, чтобы Тотлебен, при своем труде, мог руководствоваться слухами, распространенными, в 1854–1855 годах, в Севастополе и в столице, о мнимых ошибках князя…

Первый том «Описания обороны г. Севастополя, составленного под руководством генерал-адъютанта Тотлебена» вышел в 1863 г.[34]

Князь был одним из первых лиц, прочитавших эту книгу немедленно по выходе её в свет — и, не говоря ни слова о её достоинствах, передал ее на прочтение мне. Не имею смелости судить о труде Э. И. Тотлебена, во многих отношениях драгоценном, как материал для будущего историка Крымской войны; но с тем вместе, нравственным своим долгом поставляю привести из «Описания» несколько выдержек, резко противоречащих фактам, а вместе с ними и истине о деятельности князя Александра Сергеевича. Сопоставляя эти выдержки с моими рассказами, читатель без труда убедится, насколько отзывы Э. И. Тотлебена о действиях князя Меншикова противоречат исторической правде и навлекают на князя Александра Сергеевича незаслуженные им упреки.

> «Уступая господствующему в то время мнению, — говорит Э. И. Тотлебен, — о трудности производства десантов в больших размерах, князь Меншиков не считал вероятною высадку союзников в Крым в значительных силах». («Описание», стр. 117).

Совершенно наоборот: князь Меншиков, вопреки господствовавшему тогда мнению о трудности десантов в больших размерах, один предвидел десант и даже определял его размеры. В подтверждение ссылаюсь на подлинное письмо князя Меншикова от 29-го июня 1854 года, сообщенное на страницах «Русской Старины» А. Д. Крыловым. (См. «Русская Старина» изд. 1873 г., т. VII, стр. 851).

О возможности десантов неприятельских войск в больших размерах, князь судил по собственному, тогда еще недавнему, опыту перевозки бригады 14-й дивизии из Одессы в Севастополь и одновременно с нею всей 13-й дивизии, с артиллерией и тяжестями, к кавказским берегам, да еще в течение каких-нибудь десяти дней, на парусных судах, с незначительным числом пароходов и военных транспортов. Не прибегая к помощи

торговых судов, наш военный флот, при своих малых размерах, поднял разом довольно значительный десант, по тогдашней численности полков, и высадил его на кавказские берега, представлявшие к тому менее удобств, нежели берега Крыма. Средства же англо-французского флота значительно превышали наши.

По одному мановению Государя, первый опыт десанта наших войск был совершен блестящим образом, и за успешное выполнение Его воли, покойный император удостоил князя Меншикова следующим милостивым рескриптом, от 3-го октября 1853 года:

> «Князь Александр Сергеевич! Донесение ваше, от 25-го сентября, о благополучном перевозе войск 13-й пехотной дивизии к кавказским берегам, Я получил с чувством истинного удовольствия, приписывая вашей распорядительности и неутомимой деятельности скорое и, во всех отношениях, отличное исполнение Моей воли; Я душевно благодарю вас.
>
> При нынешних обстоятельствах, пребывание ваше в Черном море служит залогом успеха всех мер, которые мы будем принуждены принять там, и Я убежден, что, жертвуя своим спокойствием и здоровьем, вы найдете награду в мысли, что эта жертва необходима для пользы империи.
>
> Повторяя вам искреннюю признательность, Мы пребываем к вам навсегда благосклонным.
>
> *Николай».*

> «Князь Меншиков, — говорит автор «Описания», — вверив оборону Севастополя резервным батальонам 13-й дивизии, флотским экипажам и другим командам, начал стягивать все остальные войска на Алминскую позицию». (См. стр. 151).

Тотлебену хорошо было известно, что, оставляя молодых солдат и вновь сформированные морские команды в Севастополе, князь не мог *вверить* им обороны этого города. Он рассчитывал только, что за оборонительными стенами и молодежь эта, на случай, пригодится; оставить же Севастополь совершенно без войска было нельзя; уделить большего отряда для гарнизонной службы в Севастополе, от своего, действующего, князь не мог.

О фланговом движении князя, зрело обдуманном и рассчитанном, автор «Описания» говорит как бы о произвольном отступлении, вследствие которого Севастополь был покинут на

произвол судьбы. Именно:

> «Между тем, неприятель, 12-го числа, подошел уже к Бельбеку и бивуак, его виднелся с Северного укрепления. Малочисленный гарнизон теперь ежеминутно ожидал нападения сильного врага на слабые укрепления и положение его было тем труднее, что в ночь князь Меншиков оставил Севастополь и чрез Мекензиеву высоту предпринял с армиею движение к Бахчисараю». (См. «Описание», стр. 209).

> «Удаляясь из Севастополя, он поручил… и т. д. С удалением армии князя Меншикова… Таким образом, Севастополь, предоставленный защите моряков, только что снятых с кораблей, и резервных войск, в числе которых часть состояла из новобранцев, должен был приготовиться к предстоявшей борьбе с сильным врагом». («Описание», стр. 200–210).

Дальнейший ход событий доказал, однако же, Э. И. Тотлебену, что это «удаление» имело важные последствия на действия союзников, о чём, впрочем, автор «Описания» не умалчивает и тем только противоречит предыдущим своим рассказам об «удалении» князя Меншикова:

> «В то время, когда в Севастополе все были убеждены, что неприятель немедленно будет атаковать Северную сторону, союзная армия неожиданно снялась… с тем, чтобы, переменив основание действии, атаковать Южную сторону». («Описание», стр. 223–224).

Союзная армия так неожиданно снялась именно вследствие того, что князь Меншиков «не удалился» от Севастополя, а зорко следил за ним и заботливо держал город в объятьях своих войск. Видя опасное положение Северного укрепления, князь поспешил предупредить нападение на него союзников появлением своим с действующей армиею у них в тылу. Для этого-то он, с 11-го на 12-е число, и выслал отряд генерала Кирьякова на позицию, фланкировавшую наступление противников к Северному укреплению, и, за сим, привел в исполнение свое фланговое движение.

> «От князя Меншикова все эти дни, как выше сказано, не было никакого известия и никто в Севастополе не знал, что делалось с нашею армиею и где она?» (См.

«Описание», стр. 243).

С первого же перехода, от князя к Корнилову являлся урядник с известием, что мы на Мекензиевой горе; со второго — в Севастополь приезжал капитан Лебедев; с третьего — лейтенант Стеценко и затем князь Меншиков занял четвертую позицию уже в виду Севастополя.

> «…на помощь армии защитники Севастополя рассчитывать не могли… Им оставалось одно — честная смерть». (См. «Описание», стр. 243).

Пылкий Корнилов, увлеченный лихорадочною заботливостью о судьбе Севастополя, сетовал на распоряжения Меншикова и осуждал его действия, подобно тому, как близкий родной трудно больного осуждает иногда способы течения, употребляемые опытным врачом, обвиняя его в медленности, а подчас и в незнании. Корнилов, не поняв преимущества Севастополя иметь, кроме гарнизона, еще свободный отряд вне укреплений под личным предводительством дальновидного и находчивого Меншикова, истолковал себе его маневрирование, отвлекавшее внимание союзников от города, совершенно в ином смысле против истинного и тем навел на гарнизон уныние, близкое к отчаянию. Мнение Корнилова, несправедливое в 1854 году, нельзя принимать за авторитет в 1863-м: в девять лет, критический взгляд на действия Меншикова мог и выясниться и стать на верную точку. В данном случае, личное мнение автора «Описания», как мнение очевидца и человека справедливого, имело бы гораздо более значения.

> «Тотлебен приступил к устройству оборонительной линии…» (См. «Описание», стр. 245).

Читатель, непосвященный в дело, может понять эти слова в том смысле, что, до Тотлебена, на оборонительной линии ничего не было сделано, тогда как Тотлебен, по предначертаниям, сообщенным ему князем Меншиковым, только *продолжал усиливать* оборонительную линию Севастополя. Именно для этого Тотлебен прозорливостью Александра Сергеевича и был посвящен во всё то, что следовало делать в крайние минуты для усиления линии. Слова: «приступил к устройству» тем несправедливее, что относятся к 14-му числу сентября 1854 года, когда союзники, в виду противопоставленных им укреплений Южной стороны, не решались атаковать их открытою силою. Впрочем, вышеприведенные слова противоречат предыдущим

словам самого же автора:

> «…так как все средства были сосредоточены на Северной стороне, то на Южной работы были почти прекращены». (См. «Описание», стр.234).

Следовательно, работы по оборонительной линии, до 14-го сентября, не только были начаты, но и доведены до известной степени силы, ранее, нежели Тотлебен приступил к устройству оборонительной линии.

Ограничиваясь этими выдержками из «Описания», позволю себе заметить, что подобные отзывы о князе Меншикове показались мне, как очевидцу его распоряжений, настолько для него обидными, что я возвратил книгу «Описание» в отсутствие Александра Сергеевича, дабы избежать разговора о ней. Вскоре после того, случилось мне, войдя в кабинет князя, застать у него Э. И. Тотлебена. Эдуард Иванович, очень смущенный, уже откланивался князю. По его уходе, Александр Сергеевич рассказал мне, что Тотлебен приходил к нему извиняться в чём-то просмотренном им в «Описании», и намерен оговориться во втором томе своего труда.

— Я просил его не беспокоиться, — заключил князь Меншиков, — что написано, то написано… Пусть так и остается!

XXVI

Неосновательные или ложные заключения о князе Меншикове военных писателей не очень его беспокоили и он не возмущался тем, что его заслуги приписывали другим. Считая всякие исторические суждения тогда преждевременными, он только улыбался, читая иные статьи. Писать возражений он не дозволял никому из своих близких и те, поневоле, должны были оставаться безмолвными слушателями многоразличных бредней, выдумываемых про Александра Сергеевича. Обвинения, на него возводимые, плодились и размножались, поощряемые нелепым афоризмом: «молчание — знак согласия»; но оно же бывает нередко знаком презрения, или негодования. Таково было и молчание князя.

Случилось, однако, что бывший генерал-квартирмейстер нашей армии, генерал Герсеванов, проживавший в Екатеринославской губернии, близко принимая к сердцу напраслины на князя, затеял писать статьи в его защиту. Нуждаясь в точных сведениях и документах, Герсеванов нарочно приехал в Петербург, явился к Александру Сергеевичу, умоляя его о снабжении этим сильным оружием против крикунов. Князь отказал ему наотрез и просил не возбуждать полемики. Огорченный Герсеванов возразил, что он, главным образом, намерен вступиться за честь князя, так почему бы Меншикову не дать ему документов?..

— Так вы для меня хлопочете? — сказал Меншиков. — В таком случае, попрошу вас — в особенное для меня одолжение и раз навсегда — не писать никогда и ничего в мою защиту. Этим-то именно вы и сделаете то, что мне будет приятно!

Герсеванов не успокоился: написал князю письмо; Александр Сергеевич поручил мне отвечать ему тем же отказом. Тогда Герсеванов засыпал меня письмами и, не отказываясь от своего намерения, опять приходил к князю, возобновляя неотступные просьбы. Александру Сергеевичу это наскучило и он приказал не принимать Герсеванова. Настойчивый проситель исчез, но вдруг, в 1867 году, от него доставили мне брошюру, напечатанную им в Париже, которую автор просил передать князю Александру Сергеевичу. Брошюры этой князь не принял; но так как Герсеванов уже получил разрешение ввезти произведение свое в Россию, то один экземпляр брошюры из министерства иностранных дел был препровожден к Меншикову. Князь нашел напечатанными в брошюре несколько документов из его официальной переписки времен Крымской войны и все они, до

некоторой степени, ограждали князя от несправедливых нареканий. Тем не менее, князь досадовал на заступничество Герсеванова.

Эта странная черта характера князя объясняется необыкновенно строгим его уважением к хранению в тайне государственной переписки. Даже у себя в кабинете князь диктовал подобные бумаги не иначе, как вполголоса и еще, из предосторожности, после обхода дверей и своеручного их затвора.

Домашний его секретарь, А. П. Иевлев, служивший при князе в последнее время, рассказывал мне, что заинтересованный, иногда, каким нибудь делом, он по выходе из кабинета записывал, себе для памяти, суждения или предположения князя по смыслу продиктованных им бумаг. Заметив, по временам, поздний свет в окнах домашней своей канцелярии, князь спросил у Иевлева, чем он занимается? Тот признался, что ведет для себя памятные записки о времени своего служения при князе.

— Принеси, батюшка; интересно прочитать! — сказал князь.

Иевлев исполнил желание Александра Сергеевича. Пересмотрев бумаги, князь бросил их в камин и сказал Иевлеву, чтобы впредь он подобных заметок не писал, так как они могут наделать беды.

К числу государственных тайн князь относил все распоряжения и учреждения по военному ведомству. Его всегда тревожили посещения иностранцами тех военных заведений или сооружений, которые могли бы давать случай посетителям выводить свои заключения о средствах и силах нашей государственной защиты. В особенности же он не любил когда иноземных гостей возили в Кронштадт, в адмиралтейство, в генеральный штаб и показывали им наши топографические карты. Узнавая о том, князь каждый раз выказывал свое неудовольствие, приметными лишь для его приближенных, нетерпеливыми движениями. Эти движения напоминают мне о том нетерпении, с каким князь Меншиков защищал свою коротко обстриженную голову от злейших врагов… каких бы вы думали? — мух! Кстати же о стрижке волос под гребенку. Имея всегда и издавна коротко остриженные волосы, князь заслужил этим особенное к себе уважение, бывшего в сороковых годах командиром образцовой пешей батареи, полковника Лазаревича, который, для вящего убеждения молодых офицеров носить короткие волосы, всегда прибавлял замечание — «что такая умная голова, как князя Меншикова, острижена совсем под гребенку, стало быть, и надобно ему подражать». Это маловажное, в сущности, замечание Лазаревича, произносимое им очень часто

и к тому же на своеобразном малороссийском наречии, невольно врезывалось в память молодых артиллеристов, так что через много лет, когда эти офицеры были уже сами батарейными командирами и некоторые из них привели свои батареи в Севастополь, то, помня поговорку Лазаревича об умной голове князя Меншикова, были первыми в числе войск его почитателями.

Правда и то, что тогдашние артиллеристы были развитее прочих частей войск и скорее других могли оценить достоинства князя и расположить его к себе, как бывшего артиллериста. По достоинству наших орудий, по знанию дела своего нашими артиллеристами, на их долю в эпоху Восточной войны выпало наиболее успехов и славы. Постояли артиллеристы и за себя и за Севастополь!

Артиллерия в Крыму действовала превосходно и князь, по-видимому, был ею совершенно доволен. Изредка только он замечал, что иная батарея, став на позицию, уж чересчур быстро выпускала свой запас снарядов, но, принимая в соображение, что неприятельские штуцера спешат перебить прислугу и лошадей, снисходил к запальчивости артиллеристов. Действительно, батарея, открывая огонь на расстоянии пушечного выстрела, имела против себя, кроме неприятельской артиллерии, еще и штуцерных, пули которых поражали орудийную прислугу и офицеров, на выбор, с такой дистанции, до которой далеко не достигали ружейные пули нашей пехоты. Следовательно, от своего прикрытия наши батареи не могли ожидать себе помощи и должны были стараться преодолеть врага учащенною пальбою. Снявшись с передков, они спешили, что называется, «откатать неприятеля на все корки» и убраться заживо, т. е. покуда было чем и кому сняться с позиции. Но как ни трудно приходилось нашей артиллерии, всё же она, одушевляясь задором пальбы, наносившей вред неприятелю, находила себе удовлетворение в видимо полезной деятельности, а выходя из дела — хотя нередко с большими потерями — утешалась тем, что не даром и понесла их.

Немного доставалось утешительного в сражениях на долю пехоты, не вооруженной штуцерами в той мере как неприятельская. Её участие в битвах было какое-то неопределенное, можно сказать — пассивное. Вступая в дело, пехота тотчас же встречалась со штуцерными пулями неприятеля невидимого и неуловимого: пули летели со всех сторон и из такой дали, что и глаз не достигнет до стрелков. Наши, изыскивая случай сблизиться с противником, неизбежно должны были во всё время своих поисков представлять собою вернейшую цель неприятелям, безнаказанно губившим нашу злосчастную

пехоту, которая, вступая в дело, порываясь из стороны в сторону, чтобы померяться силами с неприятельскою, в тщете своих порывов сознавалась лишь тогда, когда, по окончании дела, ей приходилось считать выбылых.

Князь Меншиков, понимая всю тягость подобных условий для участия нашей пехоты в сражениях, не мог рассчитывать на её опору в той степени, в какой она, по существу, должна была служить главнокомандующему. Это заставляло его смотреть на пехоту с безотрадной, мрачной точки зрения. Его не утешала самая её готовность принести себя в жертву: ему нужна была не жертва, а сила, и князь, недоумевая как извлечь эту силу, грустным, неприветливым взором встречал и провожал пехоту. Подобное настроение духа главнокомандующего перетолковывалось в дурную сторону, как войсками, не понимавшими Александра Сергеевича, так и лицами к нему недоброжелательными. «Князь Меншиков, — говорили они, — не любит войск; он на них сердится, не говорит с ними; не ценит их подвигов; редко здоровается; смотров не делает!»

Войскам, конечно, трудно было изучить особенности нрава этого своеобразного начальника, который видел во всём лишь сущность дела. На войска он смотрел серьезно потому, что серьезно понимал их значение и назначение. «Не говорил с ними» — потому, что не любил представительности, которая была ему просто невыносима. Для этого князю следовало обладать до некоторой степени сценическим талантом; в таковом же природа ему решительно отказала. Голос князя был такой дребезжащий, малозвучный, что когда он даже здоровался с войсками, то и головные части не всегда могли расслышать столь знакомую им, обыденную фразу: «здорово, ребята!» — и поэтому нерешительно отвечали, и князя это конфузило. Иногда он пробовал повторять — и то безуспешно; даже этой фразы он не мог произнести общепринятым тоном. Вследствие этого, в рядах войск сложилось мнение, что князь их не любит; что он на них сердится и не здоровается с ними. Кроме того, не имея командирской привычки, он пропускал голову встречной части и хотя здоровался с минующим его строем, но солдаты не узнавали главнокомандующего при его скромном виде и слабом голосе, им незнакомом. Доброе поведение и подвиги войск князь всегда ценили не пропускал случая свидетельствовать о них императору. Смотров прибывающим войскам он, правда, не делал, но зато всматривался в их быт и зорко следил за проявлениями в них должного духа.

Войска могли пребывать в недоразумении относительно князя; им это было простительно… Непостижимо и удивительно

то, что Михаил Дмитриевич Горчаков, называя себя другом князя Меншикова, мог писать о нём, в 1855 году, военному министру, по принятии Севастополя от князя:

> «Это пагубное наследство, которое я получил» (18-го марта).
>
> «Россия уже довольно *дорого* заплатила за его безрассудства и за его наглость» (3-го апреля).
>
> «Войска заслуживают удивления в высшей степени. Вот разница между мной и моим предшественником: он находил войско скверным и швырял его без разбору, как будто оно могло взять приступом небо; я, находя их превосходными, требую и буду требовать от них не более, как возможного» (5-го апреля).
>
> «Не знаю, за какое преступление — мое, или моих близких, досталось мне злополучное наследство, оставленное Меншиковым» (15-го апреля).

Вышеприведенные выражения князя М. Д. Горчакова свидетельствуют в одинаковой степени — и его жестокую несправедливость к князю Александру Сергеевичу, и его собственную неготовность встретить войну лицом к лицу, со всеми ужасами обороны Севастополя. Из того самообольщения, с которым князь М. Д. Горчаков ехал изгонять неприятелей из Крыма, очевидно, с каким легкомыслием он смотрел на тот пост, который заступал, и как мало понимал, как мало сочувствовал положению главнокомандующего морскими и сухопутными силами в Крыму. Нелегко было князю Меншикову находиться со своей армией в постоянной зависимости от южной армии, когда все подкрепления и снабжения можно было всего ближе ожидать от князя М. Д. Горчакова, измыслившего, будто осторожный и благоразумный князь Меншиков, «ненавидя войска, швыряет их без разбору, заставляя приступом лезть на небо».

Другое выражение князя М. Д. Горчакова: «Россия уже довольно дорого заплатила за его безрассудства и за его наглость» — лишенное всякого смысла, если его принять в значении переносном, положительно несправедливо даже и в буквальном смысле. Самый строжайший контроль без труда может засвидетельствовать, что в отношении *денежном* князь Меншиков стоил России гораздо менее князя Горчакова. В доказательство позволю себе привести фактическое свидетельство о способах расходования казенных денег князем Меншиковым. Привожу подлинный его отчет по экстраординарной сумме с 1-го апреля 1854 г. по 1-е апреля 1855 года. Суммы этой было получено Александром Сергеевичем 90 435 р. 40 к. При этом

следует принять в соображение, что на действующую армию в Крыму военное министерство смотрело как на не подлежащую его заботам. Довольствие армии провиантом, фуражом, мясными и винными порциями и порохом; устройство госпиталей и комплектование их медиками — всё это возлагалось на попечения одного главнокомандующего. Устройство путей сообщения, даже исправление непроездных дорог, нисколько не озабочивало подлежащие ведомства, которые, казалось, и не желали знать об этом. Мало того: например, на уборку павших по дорогам многих тысяч лошадей, волов и верблюдов не отпускалось вовсе денег, а предлагалось главнокомандующему приказывать их свозить в одно место и сжигать — а между тем дрова доходили в это время до 35 руб. сер. за сажень.

В июле 1855 года был представлен Меншиковым всеподданнейший отчет Государю Императору в расходовании вышеупомянутой экстраординарной суммы. Расходы, произведенные из неё, были следующие:

1) На прогоны разным лицам, посылаемым как с депешами, так и вообще по делам службы — 17 003 р. $96^1/_2$ к.

2) На вспомоществование бедным семействам при выезде их из Севастополя — 12 692 р.

3) На движение транспортов с порохом и артиллерийскими снарядами и принадлежностями — 9962 р. $1^1/_2$ к. (Из них возвращено было артиллерийским департаментом — 5267 р. 90 к. Остается израсходованных 4694 р. $11^1/_2$ к.).

4) На жалованье и содержание приглашаемым из Пруссии хирургам, профессорам и студентам университета св. Владимира — 5317 р. 65 к.

5) В пособие доктору Северо-Американских штатов Терпепенду — 500 р.

6) За медикаменты в Московской аптеке — 1172 р. 77 к.

7) За перевозку раненых и больных (устроенную А. Д. Крыловым во исполнение повеления Великого Князя Константина Николаевича) из Севастополя в разные места, а равно и на вспомоществование подводчикам, взявшим на себя эту перевозку — 3049 р. $67^1/_2$ к.

8) На устройство временных госпиталей — 4119 р. 97 к.

9) Колонистам в Крыму, в виде вознаграждения за содержание 1800 человек раненых и больных — 1500 р.

10) На приобретение топоров и лопат и за доставку их из Николаева — 945 р. 60 к.

11) Частным работникам за работы по оборонительной линии — 120 р.

12) За доставку от Симферополя до Севастополя амуниции,

сбруи и проч. в количестве 1655 пудов — 1267 р. 25 к.

13) За доставку полушубков — 1320 р.

14) На вознаграждение нижних чинов, участвовавших в вылазке при отражении приступов, за взятие в плен, за принесенное неприятельское оружие, и водолазам — 5345 р.

15) За поимку дезертиров — 18 р.

16) За купленный лес для устройства моста на Бельбеке — 770 р.

17) На устройство помещений для всех управлений главной квартиры, на наем подвод и фургонов, на устройство типографии, на приобретение типографских станков, на жалованье всем служащим в главном штабе и канцелярии и жалованья типографщикам, с возвратом из штатных сумм, которые не были высланы 10 477 р. $68^{3}/_{4}$ к.

18) На канцелярские принадлежности вообще — 1749 р. $18^{1}/_{2}$ к.

19) На пищу писарям — 440 р. 70 к.

20) Награды писарям — 385 р.

21) Порционные и суточные деньги топографам — 95 р. 94 к.

22) Заимообразно разным лицам — 200 р.

23) В пособие раненым — 350 р.

24) Проводнику — 120 р.

25) На устройство подводных мин — 40 р.

26) На изготовление патронов, собрание сведений о неприятеле, рекогносцировки, на устройство вагенбурга, на содержание проводников и проч. — 8761 р. $4^{1}/_{2}$ к.

27) На выдачу лазутчикам, проводникам и другого звания доверенным людям, употреблявшимся по секретным поручениям — 3202 р. 45 к.

Итого в год — 85 664 р. $^{3}/_{4}$ к.

Обратно представлено 4681 р. $39^{1}/_{2}$ к.

Как в денежном, так и во всяком ином отношении, князь Меншиков *недорого* обошелся России. Князь М. Д. Горчаков, за время бытности своей главнокомандующим в Крыму, израсходовал экстраординарной суммы 1 250 000 р. в 10 месяцев, да и результатами своего командования недешево обошелся России.

Необыкновенное уменье князя Меншикова предупреждать излишнее расходование казенных средств давало ему возможность быть неусыпным блюстителем государственного интереса и поэтому он был очень неподатлив на всякое расходование казенных сумм. Князь был чрезвычайно разборчив как к статьям расхода, так и к их цифрам. Как бы ни были скромны требования смет, Александр Сергеевич всегда находил

возможным сделать сокращения без всякого ущерба самому делу.

За это князь приобрел репутацию скупца, но не только не огорчался этим, а, напротив, старался поддерживать сложившееся о нём мнение, предупреждая, таким образом, различные домогательства. Князь был до того строг в сбережении казенного интереса, что нередко затруднялся разрешением выдачи пособия даже лицам, вполне того заслужившим. В подобных случаях он всего чаще, без всякой огласки, выдавал пособие из своих собственных денег.

В собственных своих расходах Александр Сергеевич был бережлив: от возбуждения вопросов о новых статьях расхода воздерживался, но единожды установленных расходов не отменял и не сокращал. Если ему кто-нибудь указывал на его рутинный способ ведения расходов, который мог быть и сокращен, князь отвечал, что промышленник уже привык получать от него известную сумму, так пусть же она так и остается в статьях расходов, чтобы торговец не был в убытке.

Долгов князь не любил, а если случалось ему задолжать кому-либо, то всегда спешил расквитаться, отдавая деньги лично, особенно если деньги были израсходованы по его поручению. Экстренные или неожиданные издержки были ему неприятны, не столько по трате денег, сколько по самому процессу выдачи и по определению цифры. Он всегда был доволен, если при этом ему кто-либо подсказывал размер суммы.

В жизни своей, князь, чрез близких ему лиц, сделал не мало благотворений, скрывая их от молвы и, по возможности, даже от самих благодетельствуемых.

Для оценки нравственных сторон и служебной деятельности, конечно, недостаточно сведений, сохранившихся в моих рассказах, тем более, что я знал князя лишь в последние 19 лет его жизни.

* * *

В 1867 году мои домашние дела разлучили меня с Александром Сергеевичем; в течение двух лет отсутствия моего из Петербурга, здоровье князя весьма расстроилось, чему много способствовала потеря внука, Николая Вадковского, нежно любимого князем. Внуку этому, которого князь взял к себе на воспитание, был 17-й год и он оканчивал курс в Пажеском корпусе; в 1868 году он был сражен тифом. Когда, в начале 1869 года, я посетил князя, которого застал дома, в кабинете, то меня поразила страшная перемена и в его наружности и в

расположении духа. Предупреждая тягостные для него расспросы о здоровье, Александр Сергеевич сказал мне, что он получил уже «три предостережения», намекая на три случившиеся с ним припадка, признанные докторами за паралитические.

При нашем последнем свидании, я застал князя за утренним кофе, на обычном его месте в кабинете. Взглянув на меня страдальческим взором, он проговорил:

— Плохо, братец!.. Страдаю жестоко… уж мне и мочи нет…

В этих словах звучала предсмертная истома; в тот же день князь перешел наверх, в свою спальню, и уже более не спускался в комнаты нижнего этажа. Долго он боролся и с недугом и с медицинскою помощью. Когда, во время агонии, ему подавали лекарство, он, слабо защищаясь от бесполезных микстур, говорил словами В. Л. Пушкина в его «Опасном соседе»:

«Ах, дайте отдохнуть и с силами собраться!»

Сильная натура князя склонилась, наконец, лишь под ожесточающимися припадками, и в ночь с 18-го на 19-е апреля 1869 года он скончался. Мне не удалось присутствовать при его последних минутах, так как, по распоряжению докторов, к страдальцу допускались весьма не многие. К пожеланию «вечной памяти», которою мы напутствуем усопшего, позволю себе присоединить другое, не менее искреннее: чтобы память князя Александра Сергеевича Меншикова была, наконец, совершенно очищена, в глазах потомства, от несправедливых нареканий — и если я, со своей стороны, настоящими рассказами сколько нибудь тому способствовал, — то цель их вполне достигнута.

notes

Примечания

1

При этом князь подробно рассказал мне о действиях наших войск, под предводительством Тотлебена, на Кавказе, но рассказ этот, к сожалению, совершенно изгладился из моей памяти. *А.П.*

2

То были остатки укреплений, возведенных, может быть, во время Крымских походов Миниха в 1736–1739 гг.

3

Сын Михаила Григорьевича Хомутова, наказного атамана войска Донского. *А.П.*

Мы, со своей стороны, надеемся, что голос почтенного автора не будет гласом вопиющим в пустыне: в этой надежде поддерживает нас благотворная деятельность нашего Общества Красного Креста. *Ред.*

5

(1789–1868 г.) Впоследствии генерал-губернатор Западной Сибири.

6

Достойно замечания, что эти оба храбреца были чиновники гражданской службы и по доброй охоте сопутствовали князю. *А.П.*

7

Двумя этими дивизионами Веймарских гусар командовал полковник Войнилович. *А.П.*

8

У светлейшего не было тогда под рукою никаких канцелярских принадлежностей. Нам, адъютантам, были розданы от него небольшие кожаные записные книжки, для занесения заметок и его приказании. Одна из таких книжек доныне сохраняется у меня. *А.П.*

9

Так рассказывали тогда, и я теперь не проверяю этого слуха, так как с достоверностью не знаю, какая именно часть союзной армии наткнулась на наш парк.

10

Говорили также, что Сент-Арно проезжал тут совершенно больной и что нападение на парк сделано было его конвоем. *А.П.*

11

Здесь, к слову, замечу, что зоркость у казаков так отлично развита степною жизнью, что они рассматривали отдаленнейшие предметы явственнее, нежели я мог видеть их с помощью моей карманной, зрительной трубки. *А.П.*

Этим объясняется назначение Моллера на такой трудный пост. *А.П.*

13

Светлейший, правда, писал, и не один раз, в Петербург о высылке ему карты большего масштаба, но получал в ответ, что таковой не имеется. Однако в карманах у убитых французов находили карты Крыма, лучше той, которою пользовался князь. Одною из таковых он, впоследствии, руководствовался. После воины, со съемки, сделанной полковником Бегевым в 1836, 1837 и 1838 годах, была, наконец, отлитографирована карта Крыма, в масштабе одна верста в дюйме, но только в 1855 году. *А.П.*

14

Эта простодушная насмешка, может быть, относилась к главной английской батарее, носившей имя королевы; но мне думается, что старик под общим именем «Виктории» разумел англичан вообще. *А.П.*

15

Во всё время службы кн. Меншиков был ранен три раза. Первый раз пулею в правую ногу, под Рущуком, в 1810 году; второй — пулею же в левое бедро, под Парижем, в 1814 г. От этой раны бок его остался на всю жизнь искривленным. Третий раз, при осаде Варны в 1828 году, князь получил жесточайшую рану ядром, которое, пролетев у него между ног, вырвало мускулы обеих лядвей. Более году он вылежал в постели и потом страдал всю жизнь; еще в 1854 г., в Крыму, для предохранения пораненных мест от прикосновения к седлу, пристегивал к ним лубки. Кроме того, организм его со времени получения раны был так потрясен, что князь подвергался частым и продолжительным кровотечениям. Этот хронический недуг сопровождался лихорадочными и другими припадками. В феврале 1855 г. развитие этой болезни лишило, наконец, князя возможности оставаться в Крыму. Он уехал и надобно еще подивиться, как его натура могла так долго бороться с нравственными и физическими потрясениями; как на бивуаках, в свои 68 лет, имея сломанными, в 1847 г., два ребра, с фонтанелями на обеих руках и подверженный наследственной подагре, кн. Меншиков так счастливо всё перенес. Даже в теплых покоях ему трудно было уберечься от приступов подагры, — тут же искать спасения было негде. Однако, во всё военное время подагра его не беспокоила, чему, вероятно, способствовала необыкновенно деятельная жизнь князя. *А.П.*

16

Камовский, с того времени, как, 2-го ноября, во время бури, упал в море, расстроил свое здоровье и всё хворал.

17

Федор Осипович Юшков, из адъютантов князя Меншикова, был перечислен к его высочеству.

18

Разрядкой напечатаны слова, подчеркнутые в подлиннике. *А.П.*

19

В подлиннике это слово два раза подчеркнуто. *А.П.*

20

По служению моему в лейб-гвардии уланском его высочества полку, я знавал Михалева унтер-офицером, исправлявшим должность писаря 3-го эскадрона. *А.П.*

21

В Евпаторийском деле участвовали: В правой колонне: 8-я дивизия 1-й бригады ген.-майора Замарина; полки: Забалканский — полк. Тимашева, Полтавский — ген.-м. Голвачевского; резервная уланская дивизия г.-м. Бобылева; полки: эрцг. австр. Леопольда — г.-м. Терпелевского, Новоархангельский — полк. Рословлева; две сотни казаков; батареи: пешая легкая № 3-й, 3-й бр. — полк. Федюхина, конная № 21-й — полк. Колобова, легкие: № 20-й — Эйлера, №19-й — шт.-кап. Колмыкова. В центральной колонне: 8-я дивизия 1-й бригады ген.-м. Тетеревнпкова; полки: Алексопольский — ген.-м. фон-Бусе, Кременчугский — барона Менгдена; одна сотня казаков; батареи: пешая № 3-й 2-й бр. — полк. Алексеева, легкие: № 4-й — подполк. Лаленевича, № 5-й — Минина. В левой колонне: 12-й дивизии Азовский пех. полк — г.-м. Криднера, 5-й и 6-й резервные батальоны Подольского полка, батальон греческих волонтеров, спешившиеся драгуны Московского полка — г.-м. Кроника, три сотни казаков № 61-й Жирова полка, одна сотня казаков № 55-й Филинова; батареи: пешая легкая № 3-й 11-й бр.-кап. Савича, №4-я — шт.-кап. Кореницкого, №4-й 12-й бр. — пор. Вейерлока, №3-й 14-й бр. — кап. Ельчанинова, №4-й — кап. Недосекина, конная легкая № 23-й — пор. Кузена — сводной бригадой Азовского и Подольского полков командовал ген.-м. Огарев 3-й; начальник всей пехоты ген.-лейт, князь Урусов. Начальники колонн: правой — ген.-м. Бобылев, средней — ген.-м. Тетеревников, левой — ген.-м. Огарев 3-й. Начальник всей артиллерии: полков. Шендеман. Начальники артиллерии: Правой колонны — полк. Колобов, средней — полк. Сегеркранц, левой — полк. Пущин.

22

Восточная долгота Петербурга (от Ферро) 47°58′13″, Севастополя 51°10'8"; разность в часах 12 минут 59 (почти 60) секунд, т. е. 13 минут. *А.П.*

23

Как этот документ, так и последующие, были напечатаны частью в недавно вышедшем сочинении М. И. Богдановича «Восточная война 1853–56 годов», частью гораздо ранее в других официальных изданиях, каковы: «Русский Инвалид», «Военный» и «Морской» Сборники. Тем не менее, они помещены здесь, по тесной связи их с излагаемыми событиями, причем печатаются по точным копиям, снятым с подлинников в свое время, с разрешения князя А. С. Меншикова, составителем рассказов.

24

Помню имена всех этих людей. Саперы: Лукьян Иванов, Максим Иванов, Иван Николаев, Сергеи Егоров. Казаки: лихой юнкер Хоперский, вестовые Шанин и Долгов; находившиеся при лошадях князя неразлучный со светлейшим Кузьма Кудрявцев, Осип Алимов, Григорий Попов и Корней Демин; из Балаклавского греческого батальона: Георгий Панаго, Семен Бамбук и Михаил Спаи. Последний был замечательный и опытный проводник. *А.П.*

25

Кто не имеет понятия о подобных липких грязях нашего южного края, тому рассказ наш покажется невероятным — однако же, он буквально правдив. *А.П.*

26

В одном письме, попавшемся в паши руки и адресованном пленному французскому офицеру его невестой, мы прочли, что она просит своего жениха прислать ей пуговицу с мундира князя Меншикова, когда французы возьмут в плен такого великого человека. Светлейший послал пуговицу французу, поручив ему сказать, что так как французам взять его в плен не удастся, то он, не желая лишить удовольствия невесту пленника, дозволяет ему послать эту пуговицу в Париж, французам на забаву, но что более этого он ничего не отдаст им. *А.П.*

Рисунок его напечатан в «Русской Старине» изд. 1875 г., т. XIV, стр. 267.

28

В этот самый день, в Севастополе, ядром оторвало голову незабвенному и незаменимому командиру Малахова кургана, адмиралу Владимиру Ивановичу Истомину. *А.П.*

29

Так называется служимая на кораблях литургия без совершения таинства. А. И.

30

В Тифлисе, как нам известно, книги были помещены, во предварительной их разборке просвещенным и горячо преданным науке — Адольфом Петровичем Берже. Должно надеяться, что библиотека покойного князя Меншикова со временем будет источником просвещения на нашем юго-востоке, если в столицах ей не умели приискать её достойного применения. Но утрата «Записок» князя А. С. Меншикова и вообще его рукописей — утрата невознаградимая в нашей отечественной истории. Здесь, к слову, мы не можем не посетовать на равнодушие потомков наших русских сановников к письменным памятникам деяний их предков. Нет правила без исключения: отрадное изъятие встретили мы в светлейшем князе Италийском, графе Александре Аркадиевиче Суворове-Рымникском, — предоставившем «Русской Старине» архивы знаменитого своего деда. Точно так же отнесся и Ф. К. Опочинин к архиву своего прадеда, светлейшего князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского, князь С. М. Воронцов — печатая архив своих предков, обогащает нашу историю… Высокий пример любви к отечественной истории и заботливости о её всесторонней разработке явил Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Константин Николаевич, соизволив на напечатание в нашем издании и в Сборнике И. Р. И. Общества исторических материалов, хранящихся в библиотеке дворца г. Павловска. Тем не менее, русская печать еще ожидает многих и многих рукописных материалов для истории, хранящихся под спудом, или — еще того прискорбнее — тлеющих по чердакам и подвалам барских домов. Еще ли высшие классы нашего общества не пришли к сознанию, что обнародование архивов — прямая польза истории нашей родины, прямой долг искренне любящих ее граждан? *Ред.*

31

Некоторые из анекдотов, шуток и острот кн. А. С. Меншикова, по видимому, действительно ему принадлежавших, были напечатаны в «Русской Старине» изд. 1875 года, том XII, стр. 638–652.

32

Ненависть Меншикова к герою Балкан, Кулевчей и Адрианополя вполне разделял покойный Денис Васильевич Давыдов — знаменитый наш партизан 1812 года. Вот что он говорит в оправдание этой ненависти в своих записках о Польской войне 1831 года. (См. «Русская Старина» изд. 1872 г., том VI, стр. 312–313): «Клеймо проклятия горит на его памяти в душе каждого россиянина, кто бы он ни был, — друг ли его или человек, им облагодетельствованный, если только честь и польза отечества дороже для него всех частных связей и отношений».

«Проступки его отразились на девственную честь и славу невинного в них российского воинства, а тут уже в душе моей нет пощады ни брату, ни отцу родному. Да, Дибич есть единственный оскорбитель гордости народа русского; единственный оскорбитель чести, славы и оружия богатырской нашей армии — недовершением победы её под Гроховым; нелепостью последующих предначертаний и действиями ощупью во всех предприятиях, потерей духа и разума во всех затруднительных обстоятельствах, а главное — принятием на себя, в столь важную эпоху, обязанности выше сил — он во всём этом не только виноват, но даже великий преступник».

Едва ли для произнесения окончательного приговора над Дибичем можно признать за авторитет отзывы о нём Д. В. Давыдова и князя А. С. Меншикова. Заметим, между прочим, что день смерти Дибича — 29-го мая — канун его победы при Кулевчах в 1829 году. Покойный К. В. Чевкин — убеждения которого, как видно, диаметрально были противоположны мнению Давыдова и Меншикова о графе Дибиче — ежегодно, 29-го мая, служил панихиду на могиле героя Забалканского на лютеранском немецком кладбище. Ныне эта могила не только забыта, но даже, неизвестно чьей рукой, на надгробном памятнике заглажены герб и изображение орденов графа Дибича. *Ред.*

Ф. К. Затлер находился тогда под следствием. *А.П.*

Спб. 1863 г., в больш. 8-ю д.л., VI–XXIX — 678 и 119 стр.